ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА: РОМАН ЙОЗЕФА РОТА "ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ"

ОЛДОС ХАКСЛИ В РУБРИКЕ "СТАТЬИ, ЭССЕ"

2015

9

РОМАН ПАТРИКА МОДИАНО "НОЧНАЯ ТРАВА"

Основан в 1955 году

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

denkmal, Москва

Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия

www.denkmal-moscow.com

14 - 16 октября 2015 г.

ВДНХ, павильон №75. Москва, Проспект Мира, 119

Основные разделы выставки:

- реставрация, консервация памятников истории и культуры;
- государственная и общественная деятельность по сохранению культурного наследия;
- материалы, оборудование, технологии и инструменты для реставрации, археологии, строительства;
- реставрация предметов искусства и дизайна;
- образование в сфере сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;
- популяризация исторического и культурного наследия (издательская деятельность, музейная и выставочная техника и технология, пр.);
- развитие туризма.

Выставка «denkmal, Москва» проводится под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы.

Партнеры выставки:
ВООПИиК, Союз московских архитекторов, компания Remmers

Организаторы выставки «denkmal, Москва»:
Leipziger Messe International GmbH,
АНО «Национальная Гильдия Хранителей Наследия»

Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству.
Контакты: denkmalmoscow@gmail.com, +7 966 157 61 11
Дополнительная информация: http://www.denkmal-moscow.ru

[9]
2015

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

	3	Патрик Модиано *Ночная трава.* Роман. Перевод с французского Тимофея Петухова
Вглубь стихотворения	81	Шинейд Моррисси *Шесть стихотворений.* Переводы с английского. Вступление Лидии Хесед
Из классики XX века	98	Йозеф Рот *Исповедь убийцы.* Роман. Перевод с немецкого Веры Менис
Юбилей	201	Ян Твардовский *Стихи.* Переводы с польского. Вступление Игоря Баранова
Документальная проза	208	Чарльз Мур *Любовь и война в Оксфорде.* Глава из книги *Маргарет Тэтчер.* Перевод с английского Екатерины Живовой
Статьи, эссе	235	Олдос Хаксли *Фантазии на тему Эль Греко.* Перевод с английского Ксении Атаровой
	242	Ксения Атарова *Фантазии на тему Олдоса Хаксли*
Возвращаясь к напечатанному	247	Александр Мелихов *Демократия и мертвецы*
Письма из-за рубежа	254	Глеб Шульпяков *Немецкий дневник*
Анкета-2014	274	Лариса Васильева *Авторы "ИЛ" – писатели рисующие.* Итоги конкурса
БиблиофИЛ	280	Александр Ливергант *Роман без героя*
Авторы номера	281	

© "Иностранная литература", 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Г. М. Кружков
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн
Януш Гловацкий
Милан Кундера
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Патрик Модиано

Нобелевская премия 2014 года

Ночная трава

Роман

Перевод с французского Тимофея Петухова

ВСЕ было, было взаправду. Порой я замечаю, как говорю это посреди улицы, но голос мой будто звучит со стороны. Звучит тускло, бесцветно. Всплывают имена, лица, отдельные черты. Но нет того, с кем можно говорить об этом. Должно быть, еще живы два-три свидетеля тех событий, но и они, верно, давно все позабыли. Порой начинаешь думать, что их никогда не существовало.

Но все и вправду было. И доказательством тому — черный блокнот для заметок, исписанный моей рукой. Когда идешь сквозь туман, ищешь твердую почву, потому я сверяю со словарем каждое важное слово: “Заметка — короткая запись с целью позднее напомнить о чем-либо”. Листы блокнота пестрят именами, телефонами, датами встреч и набросками, из которых часть, возможно, даже литературного толка. Но как назвать их? Дневник? Разрозненные воспоминания? Среди прочего, около сотни объявлений, списанных из газет. Потерянные щенки. Меблированные комнаты. Вакансии и объявления о найме. Гадалки.

© Patrick Modiano, 2012
© Тимофей Петухов. Перевод, 2015
Полностью роман выйдет в издательстве “Текст”.

Некоторые отдаются в памяти громче других. Особенно когда вокруг — тишина. Телефон уже давно молчит. И никто не стукнет в дверь. Должно быть, все решили, что я мертв. Так сидишь один, напрягая внутренний слух, точно ловишь слабые звуки морзянки, которые шлет издалека неведомый собеседник. Часть их смешалась и смолкла навсегда — как ни старайся, уже не услышишь. Но отдельные имена вдруг проступают в тишине — и на белых листах блокнота.

Данни, Поль Шастанье, Агхамури, Дювельц, Жерар Марсиано, "Жорж", отель "Юник", улица Монпарнас... Помню, в этих кварталах мне всегда было не по себе. Я проходил там на днях, и у меня возникло странное чувство. Не оттого, что прошло много времени, нет, — мне вдруг показалось, что другой я, мой близнец, по-прежнему живет здесь; он все так же молод и день за днем продолжает жить так, как жил то недолгое время я, вплоть до мельчайших подробностей.

Отчего прежде мне было здесь не по себе? Неужели всему виной кладбище и вокзал — от них здешние улочки всегда стояли в тени? Теперь они кажутся безобидными. Фасады зданий перекрасили в светлые тона. Словом, ничего необычного. Нейтральные воды. Возможно ли, чтоб мой двойник до сих пор ходил этими улицами, следуя старому моему расписанию? Чтоб повторял без конца каждый случайный мой жест? Нет, здесь ничего не осталось от нас. Время зачистило доску. Передо мной — новый квартал, свежий и стерильный, будто выстроенный заново на месте прежнего разносчика заразы. И хоть большая часть домов сохранилась, на них глядишь, как на чучело собственного пса, которого любил, когда он был еще жив.

Я очень жалел, что не взял с собой черный блокнот, когда бродил здесь в то воскресенье, поэтому старался припомнить отдельные записи так. Во столько-то встреча с Данни. Телефон отеля "Юник". Имена тех, с кем виделся там. Шастанье, Дювельц, Жерар Марсиано. Телефон Агхамури в марокканском корпусе студенческого городка. Короткие очерки о разных уголках здешних кварталов, которые я планировал позже озаглавить "Замонпарнасье", пока не узнал, что некто Озер Варшавский уже использовал это заглавие.

Был октябрь, воскресенье, почти вечер, и ноги сами завели меня сюда — в любой другой день я обошел бы район стороной. Нет, тут не паломничество. Просто по воскресеньям, особенно под вечер, время часто дает брешь. Нужно только уметь скользнуть в нее. Чучело пса, которого любил прежде. Проходя мимо одиннадцатого дома по улице Одессы и глядя

на его грязноватые бело-бежевые бока – а шел я по другой стороне, – я вдруг почувствовал, что брешь раскрылась предо мной: будто щелкнуло что-то. Какое-то время я молча смотрел на дом, с трех сторон обступивший маленький дворик. Здесь парковал машину Поль Шастанье, когда жил в отеле "Юник". Как-то раз я спросил, почему он не ставит ее перед отелем. Он смущенно улыбнулся и ответил: "На всякий случай".

Красная "ланчия". Конечно, она привлекала внимание. Но зачем же покупать такую модель, да еще такого цвета, если хочешь быть незаметным... Позже он объяснил мне, что в том доме живет его приятель, и он часто дает ему машину. Да, потому она там и стоит.

"На всякий случай" – вот его слова. Я довольно быстро понял, что у Поля Шастанье, тщательно следившего за собой сорокалетнего брюнета, которого я видел не иначе как в сером костюме или темно-синем пальто, нет определенной профессии. Иногда по вечерам, в отеле "Юник", я слышал, как он говорит по телефону, но стены там толстые, и уловить нить разговора я не мог. Слышен был только его значительный, а порой резкий голос. И долгие паузы. Я познакомился с Шастанье в отеле "Юник", тогда же, когда и с остальными: с Жераром Марсиано, с Дювельцем – забыл, как его звали... Их образы расплылись в моей памяти, а голоса смешались. Поль Шастанье вспоминается четче других из-за цвета: очень черные волосы, темно-синее пальто, красная машина. Думаю, он тоже сидел в тюрьме, как Марсиано и Дювельц. Он был старше их и наверняка уже давно умер. Вставал он поздно и встречи назначал довольно далеко, где-нибудь за товарной станцией – тот район я тоже знал неплохо: улицы Фалгьер, Альре и даже немного дальше, до улицы Фаворит... Он звал меня туда несколько раз, и мы сидели в каком-нибудь безлюдном кафе, где, как ему казалось, его точно не выследят. Меня часто подмывало спросить: может, ему запрещен въезд? – но я не смел и молчал. Опять же почему тогда он парковал свою красную "ланчию" прямо перед кафе? Ведь безопаснее было пойти пешком. Тогда я часто бывал в тех краях: район начинали сносить, и приходилось шагать вдоль пустырей, мимо низких домов с заделанными кирпичом окнами и гор строительного мусора – точно после бомбежки. И среди всего этого – красная машина, запах кожи в салоне – вот то яркое пятно, вокруг которого память... Память ли? Нет. В то воскресенье я окончательно убедился, что время – недвижно, и если скользнуть в брешь, то найдешь все нетронутым, на прежних местах. Хотя бы даже красную ма-

шину. Так я решил дойти до улицы Вандам. Там было кафе, где у нас с Шастанье состоялся самый откровенный разговор. Мне даже казалось, что еще немного, и он раскроется совсем. Намеками он предлагал мне "работать" на него. Я отвечал уклончиво. Он не настаивал. Я был тогда очень молод, но и очень осторожен. Позже я заходил в это кафе с Данни.

Уже стемнело, когда я добрался в то воскресенье до проспекта Мэн. Я пошел по четной стороне, вдоль новых высотных домов, идущих единым фасадом. Ни одного светлого окна. Нет, все ведь и вправду было. И улица Вандам выходила на проспект где-то здесь, но в этот вечер дома стояли плотно, единой стеной, и нигде не было даже зазора. Оставалось только смириться с фактом: улицы Вандам больше нет.

Я подошел к стеклянной двери одного из зданий, примерно там, где мы прежде сворачивали на улицу Вандам. Внутри — неоновый свет. Длинный и широкий коридор, а по бокам, за стеклянными стенами, — офисы. Может, какая-то часть улицы Вандам еще сохранилась там, внутри квартала, и теперь зажата меж новых высоток. Я подавил нервный смешок от этой мысли. Продолжая вглядываться вглубь коридора, я понял, что не вижу конца. От неона хотелось моргать. Вероятно, этот коридор просто повторяет русло улицы Вандам. Решив так, я закрыл глаза. Кафе находилось в самом ее конце, где она переходила в тупик, упираясь в стену вагоноремонтных мастерских. Там Поль Шастанье ставил свою машину — у самой черной стены. Прямо над кафе была гостиница "Персеваль" — так называлась одна улица неподалеку, — но теперь и она погребена под многоэтажными домами. В черном блокноте записано все.

Ближе к концу Данни стало "не по себе" в отеле "Юник", как выразился Поль Шастанье, и она сняла комнату здесь, в гостинице "Персеваль". Она явно избегала кого-то, но не хотела, чтоб я знал, кого именно: Шастанье? Дювельца? Жерара Марсиано? Чем чаще я думал об этом впоследствии, тем больше убеждался, что беспокойство стало в ней заметно после того, как за стойкой регистрации появился незнакомый мужчина, — Шастанье сказал мне тогда, что это управляющий отелем, некто Лахдар. В блокноте после его фамилии в скобках стоит: Давэн.

* * *

Я познакомился с ней в столовой университетского городка, куда часто ходил побыть один. Она жила в американском корпусе, и я не мог понять, с какой стати: ни американкой, ни студенткой она не была. Вскоре после нашей первой встречи она

съехала. Дней через десять, наверное. Я боюсь писать здесь полностью ее имя и фамилию, как записал тогда в блокнот: Данни Р., американский корпус, бульвар Журдан, 15. Вдруг она еще жива и, сменив множество имен, вернулась к прежним — в таком случае я бы не хотел привлекать к ней внимание. Впрочем, прочти она в книге фамилию, некогда принадлежавшую ей, она, быть может, вспомнила бы обо мне и послала весточку. Но я не слишком обольщаюсь на этот счет.

При первой нашей встрече я записал ее имя как Дани, но она взяла у меня ручку и исправила на Данни, своей рукой, прямо у меня в блокноте. Позже я обнаружил, что так — Данни — называется стихотворение одного поэта, которого я тогда любил, — я даже видел пару раз, как он выходит из отеля "Таранн" на бульваре Сен-Жермен. Удивительно, какие бывают совпадения.

Она съезжала в воскресенье и попросила меня приехать помочь с вещами. Когда я подошел к американскому павильону, Данни уже ждала внизу с двумя дорожными сумками. Она сказала, что нашла недорогую комнату в отеле, где-то на Монпарнасе. Сумки оказались нетяжелыми, и я предложил дойти пешком.

Мы пошли по проспекту Мэн. Как и в то воскресенье много лет спустя, здесь не было ни души. Она сказала, что с комнатой ей помог друг из марокканского корпуса, тот самый Агхамури — она познакомила меня с ним еще в первую нашу встречу.

На перекрестке возле кладбища мы присели на скамейку. Данни порылась в сумках: проверить, все ли взяла. Потом двинулись дальше. Как она объяснила, у Агхамури была комната в том отеле, потому что хозяин — марокканец. Так почему тогда сам он живет в студенческом городке? Потому что он студент. К тому же у него в Париже есть и другое жилье. А она, что, тоже студентка? Агхамури помог записаться на факультет в Санзье[1]. Последние слова она произнесла нетвердо, едва шевеля губами. Хотя как-то раз я и правда ездил с ней до Санзье на метро, по прямой от Дюрок до Монж. Когда мы поднялись в город, накрапывал дождь, но нас это не испугало. Как и велел Агхамури, мы пошли по улице Монж и через какое-то время прибыли на место: перед нами была обширная площадь или, лучше сказать, пустырь, окруженный низкими полуразрушенными домами. Под ногами хлюпала глина и, так как

1. Речь идет о построенном в 1964 г. корпусе Новой Сорбонны (Париж III), где обучение производится по дисциплинам, в основном связанным с литературой и искусством. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

уже темнело, приходилось особенно осторожно обходить лужи. На той стороне виднелось новое здание, очевидно, только недавно построенное — кое-где еще торчали леса... Агхамури ждал нас у входа, и свет из холла подсвечивал его со спины. Мне показалось, что взгляд его был спокойнее, чем обычно, будто само крыльцо корпуса Санзье придавало ему уверенности, несмотря на дождь и мрачный вид пустыря. Все это вспоминается вразброс, рывками, и то и дело гаснет, мерцая. Совсем другое — четкие записи в блокноте. Они нужны мне, чтоб заново склеить киноленту из разбежавшихся в стороны кадров. Но есть в блокноте и другие записи: они касаются исследования, которым я занимался тогда же, и предмет его уводит вглубь XIX, а то и XVIII столетия, как ни странно, они кажутся мне более понятными и прозрачными, хоть я и не жил во времена упомянутых в них событий. И даже имена тех персонажей — баронесса Бланш, Тристан Корбьер, Жанна Дюваль и еще Мари-Анн Леруа, казненная на гильотине 26 июля 1794 года в возрасте 22 лет, — звучат привычнее имен моих современников.

Уже вечерело, когда мы добрались тем воскресеньем до отеля "Юник". В холле Данни ждал Агхамури, в компании Дювельца и Жерара Марсиано. Тогда я и познакомился с ними. Они настояли, чтоб мы пошли смотреть сад, начинавшийся за отелем, где были расставлены столики с зонтиками от солнца. "Твои окна выходят на эту сторону", — сказал Агхамури, но Данни, казалось, было все равно. Дювельц. Марсиано. Я изо всех сил стараюсь воскресить их образы, нащупать что-то, что заставило бы их после стольких лет проявиться во всей полноте и жизни, чтоб я снова ощутил их присутствие. Даже не знаю... Запах? Дювельц всегда выглядел аккуратно: ровные светлые усы, галстук, серый костюм. Он пользовался одной и той же туалетной водой — много лет спустя я узнал ее название, когда нашел в гостиничном номере забытый кем-то флакон. "Pino Silvestre", "лесная сосна" по-итальянски. На пару секунд запах "Pino Silvestre" позволил мне увидеть со спины блондина, грузно шагавшего вниз по улице Монпарнас: это Дювельц. И — все исчезло. Так, проснувшись, мы часто не помним сна — остается лишь легкий отпечаток, который тает с приходом дня. Жерар Марсиано, напротив, был брюнетом с очень белой кожей, роста невысокого и с характерным взглядом: он смотрел как бы в глаза, но не видел собеседника. Лучше всех из них я знал Агхамури. Мы много раз сидели в кафе на площади Монж по вечерам, после его занятий в Санзье. И каждый раз мне казалось, что он хочет сооб-

щить что-то важное — иначе зачем было звать меня сюда, подальше от остальных. Зимой по вечерам здесь было тихо, и мы засиживались одни в дальнем углу, будто в укрытии. Черный пудель смотрел на нас, положив морду на табурет, и моргал глазами. Бывает, отдельные моменты сопрягаются в моей памяти с какими-то строками, и после я подолгу ищу, кто их автор. Так, думая о вечернем кафе на площади Монж, я всегда вспоминаю строки: “Когтистые пуделя лапы царапали ночи гранит”.

После мы шли пешком до Монпарнаса. По пути Агхамури рассказывал кое-что о себе, а это вообще случалось редко. Не так давно его выгнали из марокканского корпуса, но я так и не узнал, по политическим причинам или нет. Друзья устроили его в небольшой квартирке в Шестнадцатом округе, рядом с Домом радио, той круглой махиной. Но ему больше нравилось в отеле “Юник”, где распорядитель, “приятель из Марокко”, оставил ему комнату. Почему бы тогда не съехать с квартиры в Шестнадцатом округе? — “Там живет моя жена. Да, я женат”. — Тут я почувствовал, что больше он не скажет ни слова. Впрочем, на расспросы он никогда не отвечал. То немногое, что он доверил мне — хотя доверием это назвать трудно, — говорилось по пути от площади Монж до Монпарнаса: мы подолгу шли молча, будто ходьба помогала ему собраться с духом, прежде чем что-то сказать.

Одно не давало мне покоя. Был ли он студентом на самом деле? Я как-то спросил, сколько ему лет, и он ответил: тридцать. Потом, кажется, пожалел, что сказал. Разве можно быть студентом в тридцать лет? Я не решился задать ему этот вопрос, боясь задеть. А Данни? Ей-то зачем хотелось в студентки? И неужели можно так вот запросто взять и записаться на этот факультет? Когда я смотрел на них обоих, в отеле “Юник”, они совсем не походили на студентов, и мне порой казалось, что та огромная, недостроенная громада факультета у пустыря где-то рядом с Монж на самом деле стоит в другом городе, в другой стране, в другой жизни. Может, причиной тому Поль Шастанье, Дювельц, Марсиано и те люди за стойкой регистрации? Мне вечно было не по себе в здешних переулках. В самом деле, вид у них мрачноватый. Они вспоминаются мне всегда под дождем, хотя другие районы Парижа я представляю скорее залитыми солнцем. Мне кажется, после войны Монпарнас выцвел. “Ля Куполь” и “Ле Селект” еще сверкали редкими огнями на том конце бульвара, но квартал утратил свой дух. Душа и талант покинули здешние места.

Как-то в воскресенье под вечер я шел здесь с Данни — там, где кончается улица Одессы. На улице никого не было, начи-

нался дождь. Прячась от него, мы забежали в кинотеатр "Монпарнас" и уселись в глубине зала. Мы попали в антракт, поэтому не знали, как называется фильм. В огромном полузаброшенном кинотеатре мне было так же неуютно, как и на здешних улицах. Пахло электричеством, как из отдушин метро. Среди зрителей попадались солдаты-отпускники — когда стемнеет, поезда повезут их в Бретань, Брест или, скажем, в Лорьян. По укромным углам ютились парочки, и, когда звук фильма затихал, были слышны их стоны, вздохи и все нарастающий скрип кресел... Я спросил Данни, надолго ли она решила остаться в этом районе. Нет. Ненадолго. Вообще, ей бы лучше снять комнату попросторнее, в Шестнадцатом округе. Там спокойно, и никто тебя не знает. И уж точно никто не найдет. "А тебе что, нужно скрываться?" — "Нет. Вовсе нет. А тебе как, нравится район?"

Ясно было, что она хочет уйти от неудобного вопроса. Что мне было отвечать? Нравится мне район или нет — это не имело значения. Мне теперь кажется, что я проживал тогда две жизни сразу: внутри одной, будничной, текла другая. Точнее, эта вторая, яркая, жизнь каким-то образом соединялась с повседневной, тусклой жизнью, придавая ей особое таинственное свечение, которого на самом деле в ней не было. Так бывает во сне, когда нам являются места, где мы бывали много лет назад: они вдруг принимают необычный вид, как та унылая улица Одессы или пахнущий метро кинотеатр.

В тот вечер я проводил ее до отеля "Юник". Там она встречалась с Агхамури. "Ты знакома с его женой?" — спросил я. Данни была очень удивлена, что я знаю о ее существовании. "Нет, — ответила она. — Они почти не видятся. Разошлись, или вроде того". То, что я так точно воспроизвел здесь ее слова, — не моя заслуга: они есть в блокноте, прямо под именем Агхамури. Ниже на той же странице идут записи, уже не имеющие никакого отношения ни к угрюмым кварталам Монпарнаса, ни к Данни, ни к Полю Шастанье и Агхамури. Они посвящены Тристану Корбьеру и еще Жанне Дюваль, любовнице Бодлера. Похоже, я узнал, где они жили, так как в блокноте написано: "Корбьер, ул. Фрошо, 10; Жанна Дюваль, ул. Соффруа, 17 — ок. 1878". А дальше — целые страницы исписаны заметками о них, из чего можно сделать вывод, что они оба играли в моей жизни гораздо более важную роль, чем те из моих современников, с кем я тогда пересекался.

В тот вечер я оставил Данни у дверей отеля. Я заметил, что Агхамури ждал ее посреди холла в бежевом плаще. И это я тоже записал в блокнот: "Агхамури, бежевый плащ". Наверное, чтобы потом иметь какую-то опору, ориентир для памяти, — в

тот короткий, сумрачный период моей жизни я старался записать как можно больше таких случайных, незначительных деталей. “Ты знакома с его женой?” — “Нет, они почти не видятся. Разошлись, или вроде того”. Обрывки разговора, какие слышишь мимоходом, посреди улицы. И никогда не узнаешь, о ком шла речь. Так поезд проезжает мимо станции быстрее, чем успеваешь прочесть название, — и тогда, опершись лбом о стекло, глядишь на мост через реку, на деревенскую часовню, на корову, замечтавшуюся под деревом на фоне далекого стада. Надеешься, что на следующей станции прочтешь табличку, и тогда станет ясно, в каких ты краях. Я больше никогда не видел тех, чьи имена остались в черном блокноте. Они, похоже, были чем-то мимолетным в моей жизни, и я едва вспоминаю даже, как их зовут. Обычные встречи, но неизвестно, случайные ли. Есть в жизни такое время, когда ты стоишь на перекрестке и пока еще можешь выбирать, куда идти. Время для встреч, как было написано на обложке одной книжицы, как-то попавшейся мне на набережной, на книжном развале. Вот и тогда, оставив Данни с Агхамури, я побрел, сам не знаю зачем, по набережной Сен-Мишель. Я снова прошел по бульвару, и он был так же мрачен, как Монпарнасский, — наверное, оттого, что в будни здесь почти не было прохожих и не горели окна в домах. Поднявшись до того места, где в него впадает улица Мсье-Ле-Пренс, после ступеней и железных перил, я заметил, что в кафе, террасой выходящем на ограду Люксембургского сада, ярко светится стеклянная задняя дверь. Во всем зале было темно, и только за этой дверью завсегдатаи, как обычно, допоздна засиживались вокруг полукруглой барной стойки. Но на этот раз, проходя мимо, я заметил среди них две знакомые фигуры: Агхамури — он стоял в своем бежевом плаще — и Данни, сидевшую на барном табурете.

Я подошел ближе. Можно было толкнуть дверь и войти, но я не стал, боясь оказаться лишним. Да и в то время я всегда держался в стороне, на положении зрителя, я бы даже сказал “Ночного зрителя”[1], как тот любимый мною писатель XVIII века, о котором в черном блокноте исписано столько страниц. Поль Шастанье заметил однажды, когда мы гуляли близ улицы Фалгьер или, может, улицы Фаворит: “Странно... Вы всегда слушаете очень внимательно... но вы где-то не здесь”. В чересчур ярком неоновом свете за стеклом Данни

1. “Парижские ночи, или Ночной зритель” — книга очерков Никола Ретифа де ла Бретонна о жизни Парижа в предреволюционную и революционную эпоху, во многом основанная на автобиографическом материале.

казалась блондинкой, а не светло-русой, ее веснушчатая кожа была еще бледнее, чем обычно, — почти молочного цвета. Во всем баре сидела только она. Трое или четверо стояли с бокалами в руках прямо за ней и Агхамури. Агхамури, склонившись, шептал ей что-то. Потом поцеловал ее в шею. Она рассмеялась и отпила из бокала — судя по цвету, это был куантро, она всегда заказывала его, когда мы заходили с ней в кафе.

Я думал, сказать ли ей завтра: я видел вас с Агхамури вчера ночью, в кафе "Люксембург". Я не знал, в каких они отношениях. По крайней мере, в отеле "Юник" у них были разные комнаты. Я попытался разобраться, что объединяло их всех. Судя по всему, Жерар Марсиано и Агхамури — давние друзья, и последний познакомил друга с Данни, когда оба еще жили в студенческом городке. Поль Шастанье и Марсиано были на "ты", несмотря на разницу в годах. То же самое и Дювельц. Но ни Шастанье, ни Дювельц не были знакомы с Данни до ее переезда в отель "Юник". И, наконец, Агхамури явно был близко знаком с распорядителем отеля, уже упомянутым Лахдаром, — тот появлялся через день и сидел за стойкой регистрации. Часто в компании некоего Давэна. Оба они, казалось, давно знали и Поля Шастанье, и Марсиано, и Дювельца. Все это я расписал в блокноте, пока однажды днем дожидался Данни, — так, бывает, решаешь кроссворд или делаешь набросок.

* * *

Позже меня допрашивали о них. Мне вручили вызов в полицию за подписью некоего Ланглэ. В десять утра я пришел в отделение на набережной Жевр и долго прождал в кабинете. Я глядел в окно, на цветочный рынок и на фасад больницы Отель-Дье по ту сторону Сены. Стояло яркое осеннее утро, набережные были залиты солнцем. В кабинет вошел сам Ланглэ, он оказался шатеном, среднего роста и, несмотря на большие голубые глаза, сперва произвел на меня впечатление человека довольно черствого. Тут же, не здороваясь, он строгим тоном начал задавать мне вопросы. Но оттого, что я отвечал спокойно, он скоро смягчился, догадавшись, что я ни в чем не замешан. Я же думал, что, возможно, сижу сейчас в здании, построенном на том самом месте, где повесился Жерар де Нерваль[1]. И если спуститься в подвалы, в одном из

1. Поэт-романтик (р. 1808, Париж). 26 января 1855 г. был найден повешенным в небольшом переулке (ул. Старого Фонаря). Наиболее распространенная версия смерти — самоубийство, вызванное нуждой и психическим расстройством.

них окажется кусок улицы Старого Фонаря. На многие вопросы Ланглэ я не мог ответить определенно. Он назвал имена Поля Шастанье, Жерара Марсиано, Дювельца и Агхамури и спросил, в каких отношениях с ними я состоял. Именно тогда я и понял: нет, все-таки особой роли в моей жизни они не сыграли. Роль третьего плана. Я думал о Нервале и об улице Старого Фонаря, на которой когда-то построили это здание, где мы сейчас сидим. Знает ли об этом Ланглэ? Я чуть было не спросил его. В ходе допроса он много раз упоминал некую Мирей Сампьерри, которая "часто бывала" в отеле "Юник", но я ее не знал. "Вы уверены, что ни разу не виделись с Мирей Сампьерри?" Это имя ни о чем мне не говорило. Должно быть, он понял, что я не лгу, и больше о ней не спрашивал. Тем же вечером я записал в блокноте: "Мирей Сампьерри", а ниже, на той же странице: "наб. Жевр, 14. Ланглэ. Нерваль. Улица Старого Фонаря". Я удивился, что во время допроса он ни разу не упомянул о Данни. Видимо, каким-то чудом в их деле не оказалось ее следов. Тем лучше для нее. Говорят же, иная рыба и из сети ускользнет — так, наверное, ушла и Данни, растворилась без следа. Той ночью, когда я смотрел на них с Агхамури сквозь стеклянную дверь кафе "Люксембург", я под конец уже не мог различить ее лица из-за резкого неонового света, и вся она слилась для меня в единое светящееся пятно, как на передержанном снимке. Белое пятно. Может, таким же образом она исчезла из поля зрения Ланглэ. Но нет, я ошибался. Как выяснилось на втором допросе, куда меня вызвали через неделю, он знал о ней более чем достаточно.

Как-то ночью, когда Данни еще жила в студенческом городке, я провожал ее до Люксембургского вокзала. Ей не хотелось идти одной от метро до американского корпуса, и она попросила меня проехаться с ней. Но едва мы спустились в метро, как последний поезд отъехал от платформы. Мы могли бы дойти пешком, но стоило мне представить бесконечную улицу Санте в этот час, а потом еще забор тюрьмы и ограду больницы Святой Анны, вдоль которых лежал путь, как по сердцу прошел холодок. Но тут Данни повела меня к устью улицы Мсье-Ле-Прэнс, и скоро мы оказались у той самой барной стойки в форме дуги, где другой ночью она была с Агхамури. Она сидела на табурете, а я стоял рядом, и со всех сторон на нас напирали, прижимая друг к другу, толпы посетителей. Свет был до того ярким, что я постоянно моргал, а от стоящего вокруг гомона мы не могли толком разговаривать. Потом все эти люди ушли, один за другим. Кроме нас, за стойкой остался единственный посетитель — он си-

дел, тяжело облокотившись на нее, так что нельзя было понять, спит он или настолько пьян. Свет был все таким же резким и белым, но теперь мне казалось, будто освещенное пространство сузилось и мы — в центре выхваченного прожектором круга. Когда мы вышли на воздух, тьма по контрасту показалась полной, как при светомаскировке, и я понял, как чувствует себя мотылек, который избежал манящего и гибельного света лампы.

Было где-то часа два или три. Она сказала, что часто опаздывает на метро, потому и приметила это кафе — она называла его "66" — близ Люксембургского вокзала, только оно и работает всю ночь. Как-то раз, поднимаясь поздним вечером по бульвару Сен-Мишель, уже после допроса у Ланглэ, я издали заметил полицейский фургон, припаркованный прямо перед тем кафе, — он заслонял идущий из стеклянной двери свет. Клиентов заводили внутрь фургона. Да, именно это я и предчувствовал, стоя рядом с Данни за барной стойкой. Мотыльки, прельстившись, слетелись на свет, но не разглядели западни. Мне кажется, когда мы вышли, я даже сказал ей на ухо: "западня" — и она улыбнулась.

В то время в ночном Париже было немало ярких огней, служивших приманкой, и я старался обходить их стороной. Когда же мне это не удавалось, я всегда был начеку и порой, заходя в бар, полный странного вида людей, сразу искал глазами пути к отступлению. "Ты не на Пигаль", — сказала Данни. И я удивился, как привычно прозвучало в ее устах название этого злачного района. Мы шли вдоль ограды Люксембургского сада. "Пигаль", — повторил я и прыснул со смеху. Она тоже. Вокруг было тихо, и мы слышали, как в темноте за оградой шелестят деревья. Вокзал был закрыт, первый поезд отходил только в шесть утра. Сзади, в кафе "66", погасили свет. Можно было пойти пешком — я уже был готов к встрече с длинной и зловещей улицей Санте, рука об руку с Данни.

По дороге мы решили срезать и заблудились в маленьких улочках, где-то около Валь-де-Грас. Тишина здесь была еще гуще, и мы слышали звук собственных шагов. Мне даже подумалось, что, может быть, мы не в Париже, а в одном из тех небольших провинциальных городков — Анже, Вандоме, Сомюре, — о которых я не знаю ничего, кроме названия, но чьи тихие улочки наверняка похожи на улицу Валь-де-Грас, с садовой оградой в конце.

Данни взяла меня под руку. Впереди показался свет, но не такой яркий, как в кафе "66", — он шел из первого этажа многоэтажного дома.

Гостиница. Застекленные двери были отворены наружу, и свет из холла, где прямо посередине спал пес, положив морду на плиточный пол, падал на тротуар. В глубине за стойкой регистрации стоял лысый мужчина — ночной портье — и листал журнал. Стоя перед распахнутыми дверьми, я понял, что уже не в состоянии идти вдоль тюрьмы, а потом больницы, и тем более не готов к улице Санте, у которой ночью не видно конца.

Не знаю, кто из нас двоих потянул другого внутрь. Мы перешагнули через пса в холле, не разбудив его. Пятый номер был свободен. Я запомнил цифру "5", хотя всегда забывал номера гостиничных комнат и какого цвета там стены, мебель или занавески, будто нужно было, чтобы та моя жизнь понемногу растворилась в памяти. Однако стены пятого номера я помню — на них были обои с бледно-голубым узором, а окно закрывали черные шторы из плотной ткани, не пропускавшие ни малейшего света, — как я позже узнал, они остались еще с войны и потому соответствовали всем требованиям "пассивной обороны".

Позже в ту ночь я почувствовал, что Данни хочет сказать мне что-то важное, но не решается. С чего вдруг студенческий городок, американский павильон, когда она не студентка и не американка? Хотя, наверное, настоящие встречи — это когда оба ничего не знают друг о друге, даже проводя ночь в одном гостиничном номере. "Странные посетители были сегодня в этом "66", — сказал я ей. — Хорошо еще, обошлось без облавы". Правда, что забыли посреди ночи в тихом Латинском квартале все эти люди, шумевшие вокруг нас под ярким неоновым светом? "Слишком много вопросов", — ответила она шепотом. Часы били каждые пятнадцать минут. Где-то залаял пес. Мне снова подумалось, что мы далеко от Парижа, — я даже, казалось, слышал далекий стук копыт перед самым рассветом. Сомюр? Уже много лет спустя, когда я снова оказался в окрестностях улицы Валь-де-Грас, я попытался отыскать эту гостиницу. В тот раз я не записал ни ее адреса, ни названия, как не пишут о самом сокровенном, боясь, что, попав на бумагу, оно перестанет нам принадлежать.

Когда я снова оказался в кабинете Ланглэ на набережной Жевр, он спросил меня: "Вы снимали комнату в отеле "Юник"?" — Он сказал это небрежно, точно уже знал ответ, а от меня требовалось только его подтвердить. "Нет". — "А в кафе "66" часто бывали?" На этот раз он смотрел мне прямо в глаза. Я удивился, что он сказал именно "66". До сих пор мне казалось, что так называла его только Данни. Мне и самому

случалось давать каким-то кафе другие имена, например, брать старинные парижские названия и говорить: “Встречаемся у ‘Тортони’” или “В девять в ‘Роше де Канкаль’”.

— Говорите, “66”? — Я сделал вид, будто пытаюсь припомнить. “Ты не на Пигаль”, — глухо прозвучал в голове голос Данни.

— Это на Пигаль, да? — как бы задумчиво спросил я.

— Вовсе нет. Это кафе в Латинском квартале.

Может, и не стоило хитрить с ним.

— А, ну да... Кажется, заходил туда пару раз...

— Ночью?

Я медлил с ответом. Возможно, безопаснее было сказать: днем, когда работал основной зал и посетители сидели на террасе, глядя на решетку Люксембургского сада. Днем это кафе ничем не отличалось от прочих. Но зачем лгать?

— Да. Ночью.

Я вспомнил зал, погруженный во тьму, и узкое пространство света в глубине — тайное убежище после закрытия. И это название — “66” — из тех, что произносят шепотом, в кругу посвященных...

— Вы были один?

— Да. Один.

Он сверился с лежавшей на столе бумагой — как мне показалось, это был список имен. Я надеялся, что Данни там нет.

— И никого из завсегдатаев кафе “66” вы не знаете?

— Никого.

Он по-прежнему смотрел в список. Мне хотелось, чтоб он зачитал имена этих “завсегдатаев кафе ‘66’” и объяснил мне, что это за люди. Может, Данни и знала кого-то из них. Или Агхамури. Ни Жерар Марсиано, ни Дювельц, ни Поль Шастанье, по-видимому, не посещали это кафе. Хотя я уже ни в чем не был уверен.

— Думаю, это обычное студенческое кафе, таких в Латинском квартале много, — сказал я.

— Днем — да. Но не ночью.

Голос его теперь звучал строго, почти угрожающе.

— Знаете, — начал я самым мягким и примирительным тоном, на какой был способен, — ведь я никогда не был “завсегдатаем” ночного “66”.

Он поднял на меня свои большие голубые глаза, и в них не было угрозы — это был усталый и, в общем, доброжелательный взгляд.

— Во всяком случае, в списке вас нет.

Через двадцать лет, когда благодаря этому самому Ланглэ мне в руки попала папка с делом — оказалось, он не забыл про

меня; наверное, на всяком перекрестке в нашей жизни стоит свой часовой, — в ней обнаружился список "завсегдатаев кафе '66'", во главе с неким Вилли с улицы Гобелен. Я потом перепишу его, когда будет время. И перепишу другие материалы дела, потому что они дополняют и подкрепляют записи в моем черном блокноте. Буквально вчера я забрел в тот район, где было кафе "66", чтоб посмотреть, сохранилось ли оно. Я толкнул стеклянную дверь, вошел и сел за полукруглую барную стойку, ту самую, за которой мы сидели с Данни и за которой я видел ее с Агхамури, сквозь дверное стекло, в резком и белом неоновом свете. Был шестой час, и все посетители сидели на террасе, выходящей на Люксембургский сад. Бармен очень удивился, когда я заказал куантро, — я сделал это в память о Данни и чтобы выпить за неизвестного мне Вилли с улицы Гобелен, первого в списке.

— Вы все так же работаете допоздна? — спросил я у бармена.

Он нахмурил брови. Похоже, он не понял вопроса. Молодой парень, лет двадцати пяти.

— Мы закрываемся в девять, мсье. Каждый день.

— Это ведь кафе "66"? — спросил я загробным голосом. Он поглядел на меня с опаской.

— Почему "66"? Кафе называется "Люксембург", мсье.

Я подумал о списке, который еще как-нибудь перепишу. Но некоторые имена в тот вечер вспомнились, итак: Вилли с улицы Гобелен, Симон Ланжеле, Орфанудакис, доктор Лукашек, он же Доктор Жан, Жаклин Жилуп и та самая Мирей Сампьерри, о которой Ланглэ спрашивал на первом допросе.

На террасе и в большом зале за моей спиной сидели туристы и студенты. За соседним столиком что-то отмечала компания ребят из Горной школы, и я рассеянно слушал их разговор. Должно быть, праздновали начало каникул. То и дело фотографировали друг друга на айфоны при тусклом свете сегодняшнего дня. Самый обычный день, начало вечера. И на этом же самом месте мы сидели с Данни, и я моргал от резкого света, и мы едва слышали друг друга из-за гула разговоров, которые вели между собой Вилли с улицы Гобелен и другие обступившие нас тени со страниц списка, и смысл их слов утерян навсегда.

* * *

Если память меня не подводит, кафе "66" мало чем отличалось от отеля "Юник" или от других парижских мест, где я побывал в те годы. Повсюду в воздухе витала опасность, и это придавало жизни особый тон. Так было везде, даже за горо-

дом. Как-то раз Данни попросила съездить вместе с ней в загородный дом. В черном блокноте записано: "Загородный дом, с Данни". И больше ничего. А страницей раньше другая запись: "Данни, просп. Виктора Гюго, жилой дом с двумя выходами. В 19 ч. у заднего крыльца, с ул. Леонардо да Винчи".

Я ждал ее там несколько раз, всегда в одно время, всегда у заднего крыльца. Тогда мне виделась какая-то связь между жившей здесь дамой, которой Данни "наносила визит" — странно было слышать от нее этот старинный оборот, — и тем загородным домом. Да, если мне не изменяет память, она говорила, что дом принадлежит даме с проспекта Виктора Гюго.

"Загородный дом, с Данни". Я даже не записал, как называлась деревня. Когда я листаю черный блокнот, во мне встают два противоречивых чувства. Если я вдруг не нахожу каких-то деталей, мне думается, что просто в то время я был готов ко всему и ничто не казалось мне удивительным. Беспечность молодости? Но потом я перечитываю отдельные фразы, имена, заметки, и мне начинает казаться, будто это сигналы морзянки, которые я слал тогда себе в будущее. Да, будто я пытался делать засечки, метки чернилами на бумаге, которые позже выведут меня на нужный путь и помогут распутать и разъяснить все то, что я проживал тогда, не понимая. Точки и тире, посланные вслепую, в минуты глубочайшей растерянности. И пройдут годы, прежде чем я смогу их расшифровать.

На той же странице, где черными чернилами выведено "Загородный дом, с Данни", синей шариковой ручкой приписаны названия деревень, целый список, — уже лет десять как я пытаюсь отыскать тот самый "загородный дом". Где он, в пригородах Парижа или дальше, в сторону Солони? Не знаю, почему из всех названий я выбрал именно эти — должно быть, они звучат похоже на название той деревни, куда мы заезжали заправиться. Сен-Леже-дез-Обе. Вокуртуа. Дормель-на-Орвенне. Ормуа-ля-Ривьер. Лорре-ле-Бокаж. Шеври-ан-Серен. Буаземон. Ашер-ля-Форе. Ля Сель-ан-Эрмуа. Сен-Венсан-де-Буа.

Я даже купил дорожную карту Мишлен, на которой написано: "150 км от Парижа. Север—юг", — она у меня сохранилась. Потом купил подробную карту района Солонь, из Большого атласа Франции. Несколько вечеров я провел, согнувшись над картами, в попытках просчитать, каким маршрутом мы ехали тогда с Данни на машине, которую дал нам Поль Шастанье, — не на той красной "ланчии", а на другой, скромного серого цвета. Из Парижа мы выехали через Порт-

де-Сен-Клу, по туннелю и на автомагистраль. И зачем было выезжать в западном направлении, если деревня где-то в Солони, на юге?

Позже я случайно обнаружил на странице с заметками о Тристане Корбьере втиснутую между строк карандашную запись "Фёйёз" и номер телефона. Вот так, название деревеньки чуть не затерялось навсегда среди убористых строк о Корбьере. Фёйёз. 437—41—10. Ну конечно, как-то раз я приезжал к ней, когда она была уже там, — вот откуда у меня телефон. Я сел тогда на междугородний автобус у Порт-де-Сен-Клу. Он привез меня в небольшую деревушку. Из кафе я позвонил по номеру, который дала мне Данни, и она приехала за мной — на той самой серой машине, которую одолжил нам Поль Шастанье. "Загородный дом" находился в двадцати километрах оттуда. Когда я нашел Фёйёз на карте, оказалось, что это вовсе не в Солони, а в Эр-и-Луар.

437—41—10. Гудки тянутся один за другим, и никто не берет трубку — я вообще был удивлен, что номер еще существует, спустя столько лет. Однажды вечером, когда я в очередной раз набрал 437—41—10, вместо гудков я услышал потрескивание и чьи-то далекие голоса. Наверное, эта линия уже давным-давно была заброшена, как и десятки других. И, возможно, какая-нибудь подпольная организация использует ее теперь для тайных разговоров? Наконец, я различил женский голос, с механической монотонностью говоривший что-то, чего нельзя было разобрать. Служба точного времени? Или, быть может, голос Данни дошел до меня сквозь годы из затерянного где-то загородного дома?

Я заглянул в телефонный справочник Эр-и-Луар, который отыскал на блошином рынке в Сент-Уан среди целого развала прочих. В Фёйёзе оказалось всего с десяток абонентов, в том числе и нужный мне номер, отворявший "Врата прошлого". Так назывался детективный роман, который я нашел на книжных полках того загородного дома, и мы с Данни оба прочли его. Фёйёз (Э. и Л.), кантон Сенонш, имение Барбери, мадам Дорм. 437—41—10. Кто такая эта мадам Дорм? Упоминала ли Данни при мне ее имя? Может, она еще жива. Тогда нужно как-то связаться с ней, она должна знать, что сталось с Данни.

Я позвонил в справочную и спросил, какой теперь номер в имении Барбери, коммуна Фёйёз в Эр-и-Луар. И снова голос мой зазвучал, будто из могилы, — как в тот раз, когда я говорил с барменом в кафе "Люксембург". "Фёйёз через 'и' краткое?" — Я повесил трубку. Что толку? За столько лет мадам Дорм наверняка исчезла из телефонных книг, да и дом не раз

менял хозяев и перестраивался, так что я даже не узна́ю его теперь, если увижу. Я разложил на столе карту пригородов Парижа, с досадой убирая карту Солони, над которой провел весь день. Благозвучное "Солонь" сбило меня с толку. И то, что рядом с домом были пруды, тоже наводило на мысли о том регионе. Но что мне до карты? В моей памяти загородный дом всегда будет стоять в несуществующем краю где-то в Солони.

Вчера вечером я сидел и водил пальцем по карте, следуя нашему тогдашнему маршруту из Парижа в Фёйёз. Я взбирался вверх по течению времени. Настоящее, где в тусклом свете один день сменяет другой, ничем не отличный от первого, так что начинает казаться, что уже пережил сам себя, — это настоящее было мне безразлично. Я верил, что вновь отыщу тот ровный ряд деревьев и белую ограду. И снова пес медленно пойдет мне навстречу по аллее. Я много раз думал о том, что, не считая нас с Данни, этот пес — единственный житель дома; может, даже единственный его хозяин. Перед каждым нашим отъездом в Париж я говорил Данни: "Надо бы взять его с собой". Он приходил и устраивался против машины, провожая нас. И едва мы садились, хлопали дверцами и заводили мотор, как он вставал и шел к сараю, где хранились дрова, — там он обычно спал в наше отсутствие. И всякий раз мне было жаль возвращаться в Париж. Я как-то спросил Данни: можем ли мы с ней пожить в этом доме какое-то время? "В принципе, да, — сказала она, — но только не сейчас". Я неправильно понял, та "дама", которую навещала Данни на улице Виктора Гюго, никак с этим домом не связана. Хозяйка дома — а это действительно женщина — сейчас за границей. Они познакомились в прошлом году, когда Данни искала работу. Правда, она не уточнила, какого рода "работу" искала. Ни Агхамури, ни остальные из "Монпарнасской шайки", как я ее окрестил — Поль Шастанье, Жерар Марсиано, Дювельц, — не знали о доме. "И к лучшему", — сказал я. Она улыбнулась. Она явно думала так же. Однажды вечером, когда мы разожгли камин и уселись перед ним на огромном диване, а пес лег у нас в ногах, Данни вдруг сказала, что напрасно мы взяли машину у Шастанье, и вообще, она больше не хочет иметь ничего общего с этой "кучкой тупиц". Меня удивил ее тон, и что она, обычно молчаливая и сдержанная в суждениях, выбрала именно такое слово. Но и в этот раз мне не хватило духу спросить, что же связывало ее с теми "тупицами" и почему она переехала в отель "Юник" под влиянием Агхамури. Да и, признаться, сидя так, в доме, скрытом от всех плотным рядом деревьев и белой изгородью, мне не хотелось задавать лишних вопросов.

Но вот однажды мы возвращались после прогулки, со стороны Этрельской мельницы — одно из тех названий, которые, казалось бы, давно позабыты или которые мы не произносим вслух, боясь расчувствоваться, но память послушно хранит их, пес бежал перед нами, в небе светило осеннее солнце. Только мы вошли в дом, послышался шум мотора. Звук приближался. Данни схватила меня за руку и повела в спальню, на второй этаж. Жестом она показала, чтоб я сел куда-нибудь, а сама прижалась к стене у окна. Снаружи заглушили мотор. Хлопнула дверца. Было слышно, как кто-то идет к крыльцу по усыпанной гравием аллее. “Кто это?” — спросил я шепотом. Данни не ответила. Тогда я тихо скользнул к другому окну. Снаружи стоял большой черный автомобиль какой-то американской марки, и мне показалось, что кто-то остался за рулем. Раздался звонок. Потом еще два. Еще три. Внизу залаял пес. Данни стояла, вцепившись рукой в занавеску, и не двигалась. “Есть тут кто-нибудь? Кто-нибудь дома? Вы меня слышите?” — Голос громкий, с едва заметным акцентом: бельгийским, швейцарским или общим акцентом тех людей, про которых не знаешь, какой язык считать их родным, — они и сами этого не знают. “Есть тут кто-нибудь?”

Пес лаял все громче. Он остался в прихожей, и, если дверь была закрыта неплотно, он легко откроет ее лапой. “Как думаешь, он может войти внутрь?” — прошептал я. Данни отрицательно покачала головой. Она присела на спинку кровати, скрестив руки на груди. На лице читалась скорее досада, чем страх, и она сидела не шевелясь, опустив голову. А я представлял себе, как тот тип сейчас войдет в дом и сядет ждать нас в гостиной, так что будет непросто выскользнуть незамеченными. Но я сохранял спокойствие. Мне не раз случалось избегать нежелательных встреч со знакомыми, когда я внезапно понимал, что у меня нет сейчас сил разговаривать с ними. Увидев впереди одного из них, я переходил на другую сторону или скрывался в первом попавшемся подъезде. Однажды мне даже пришлось вылезать через окно первого этажа, чтоб разминуться с приятелем, который неожиданно решил заглянуть ко мне. Я знал много домов с черными ходами, их адреса даже записаны в моем блокноте.

В дверь больше не звонили. Пес утих. В окно я увидел, как высокий брюнет в пальто с меховым воротником идет к машине, припаркованной напротив крыльца. Вот он нагибается и говорит что-то в опущенное стекло, но, кто за рулем, мне не видно. Потом садится, и машина отъезжает по аллее.

Вечером Данни сказала, что сегодня свет лучше не зажигать. Она задернула шторы в гостиной и в той комнате, где

мы ели. Так что мы сидели при свечах. “Думаешь, они могут вернуться?” — спросил я. Она пожала плечами. Это, наверное, был один из друзей хозяйки. Она старалась держаться от них подальше, иначе “насядут, и не отвяжешься”. Порой в ее безупречно чистую и грамотную речь закрадывались выраженьица вроде этого. В полутьме за плотно задернутыми шторами мне казалось, что мы воры, тайно проникшие в дом. Но, как ни странно, это совершенно меня не тревожило — видно, настолько притупилось во мне в то время чувство законности, знакомое каждому, кто вышел из добропорядочной семьи и твердо знает свое место в обществе. Мы сидели при свете единственной свечи, разговаривали шепотом, чтобы не было слышно снаружи, и нам обоим это казалось нормальным. Я почти ничего не знал о Данни, но чувствовал, что между нами есть что-то общее, что мы с ней — из одного мира. Но я едва ли смог бы сказать какого.

Дня два или три мы не включали электричество. Данни в двух словах объяснила мне, что на самом деле была здесь не совсем “по праву”. Просто у нее остались ключи еще с прошлого года. И “хозяйка” не в курсе, что Данни решила немного пожить в доме. Нужно будет еще объясниться с садовником, который ухаживал за парком и должен был появиться здесь со дня на день. Да, дом не был брошен, как мне сперва показалось. Прошло несколько дней. Садовник не удивился нам, когда пришел. Невысокий седеющий мужчина, в охотничьей куртке и вельветовых брюках. Данни ничего ему не объясняла, а он ни о чем не спрашивал. Напротив, даже сказал, что, если нам что-нибудь нужно, он может привезти. Несколько раз он возил нас, вместе с псом, за покупками в Шатонеф-ан-Тимерэ. И поближе, в Майбуа и Дампьер-сюр-Блеви. Эти названия дремали где-то в моей памяти, но не исчезли совсем. А вчера вечером они вышли на поверхность. За пару дней до того, как мы поехали в Фёйёз, Данни снова решила наведаться к той даме с улицы Виктора Гюго. Но когда я дошел с ней до нужного дома, она попросила, чтоб на этот раз я подождал не на заднем крыльце, с улицы Леонардо да Винчи, а в кафе неподалеку, на площади, потому что она не знала, сколько пробудет там. Я ждал ее около часа. В кафе она вошла бледная. Тут же заказала куантро и выпила его залпом — чтоб “встряхнуться”, как она выразилась. Расплатилась она купюрой в пятьсот франков, которую вытащила из перевязанной красной бумажной лентой пачки. На пути сюда этой пачки у нее не было — мы едва наскребли на два билета.

Барбери. Этрельская мельница. Фрамбуазьер. Слова проступают, нетронутые, как тела тех молодоженов, найденных

в горах, в глыбе льда, — прошли сотни лет, а они все так же молоды. Барбери. Так назывался тот дом. Я до сих пор вижу его симметричный белый фасад за листвой аллеи. Три года назад я ехал в поезде и листал газету, пробегая глазами объявления; их теперь куда меньше, чем было раньше, когда я переписывал их на страницы черного блокнота. Нет больше вакансий, ни объявлений о найме. Нет пропавших собак. Нет гадалок. Ни одного загадочного сообщения, вроде: "Мартина! Позвони нам. Мы с Ивоном и Хуанитой очень волнуемся". Но одно объявление привлекло мое внимание. "Продается старинный особняк. Эр-и-Луар. Поселок между Шатонеф и Брезоль. Парк. Пруды. Конюшни. Тел. 02–07–33–71–22, агентство Паккарди". Мне казалось, я узнал тот дом. Я переписал объявление в черный блокнот, на последнюю странице внизу, как заключение. Правда, конюшен я припомнить не мог.

Пруды там точно были — вернее, прудики, в которых плескался пес во время наших прогулок. На самом деле, так: Барбери — назывался весь поселок, а не только дом — в прежние времена он явно был господской усадьбой. Поблизости сохранились обломки старых стен, погребенные под вьюнком, останки старинной часовенки, и, кто знает, может, там были и конюшни. Однажды, выгуливая пса, — это он вывел нас на эти развалины, как те собаки, обученные искать трюфели, — мы представляли, как все здесь восстановим, точно были хозяевами. А может, и правда предки Данни владели этой землей, но она боялась признаться мне, что в ней течет дворянская кровь Барбери, и теперь она тайно посещала имение, принадлежавшее некогда ее роду. По крайней мере, мне нравилось так думать.

Там, в Барбери, я забыл рукопись примерно в сто страниц — черновик работы, которую я писал по заметкам из черного блокнота. Или скорее я оставил ее в гостиной на столе, где работал, рассчитывая продолжить, когда вернемся через неделю. Но мы больше не вернулись в тот дом, так что и рукопись, и пес остались там навсегда.

Все эти годы я то и дело думал о рукописи, надеясь все же найти ее, как мы находим где-нибудь засушенный цветок, четырехлистный клевер и прочие памятные нам вещи. Но где стоит тот самый загородный дом, я уже не знал. А штудировать страницы блокнота было лень, да и стоило вспомнить, сколько времени я потратил, чтоб отыскать в нем втиснутое крошечными буквами название деревни и телефон, как я начинал глядеть на блокнот с опаской.

Но я больше не боюсь его открывать — листая черный блокнот, я склоняюсь над своим прошлым. Этот оборот вызывает у меня улыбку. “Человек над своим прошлым”[1] — так называлась книга, которую я нашел в гостиной Барбери, на стеллаже возле окна. Но прошлое ли это? Нет, не о прошлом я говорю, а о моментах того вневременного, чистого бытия, которое я страница за страницей извлекаю из плоского и тусклого настоящего, чтоб заиграли в нем свет и тени. Сегодня день, идет дождь, и все тонет в серых тонах, люди, вещи, — и я с нетерпеньем жду ночи, когда у предметов прорежутся грани, проступят в контрасте света и тени.

В другой день я ехал на машине по ночному Парижу, и многочисленные фонари вдоль проспектов и в углах улиц завораживали меня отсветами и тенями, будто тайными сигналами, посланными мне. Нечто похожее чувствуешь, глядя с улицы на освещенное окно: ты будто и там, и не там. В комнате за стеклом никого нет, но горит оставленная кем-то лампа. Для меня никогда не было прошлого и настоящего. Все сливалось, как в той пустой комнате, где забытая лампа горит ночами напролет. Мне часто снится, как я нахожу рукопись. Как вхожу в гостиную, иду по черно-белому плиточному полу к стеллажу с книгами и роюсь на нижних полках. Или как кто-то пересылает мне ее почтой, но я не могу разобрать имя в графе “отправитель”. И на посылке стоит тот год, когда мы с Данни ездили в загородный дом. Но меня не удивляет, что посылка шла так долго. Определенно, не существует ни прошлого, ни настоящего. По записям в черном блокноте я могу восстановить из той работы несколько глав, где говорилось о баронессе Бланш, о Мари-Анн Леруа, погибшей на гильотине 26 июля 1794 года в возрасте 22 лет, о том, что представлял собой в годы Революции отель “Радзивиль”, о Жанне Дюваль, о Тристане Корбьере и его друзьях: Рудольфе де Баттине и Эрминии Куччиани... Среди исписанных заметками страниц нет ни одной о XX веке, в котором я жил. Но стоит начать читать, как все те дни и ночи, когда я заполнял записями свой черный блокнот, оживают передо мной в красках, звуках, запахах. Судя по тому, что написано там об отеле “Радзивиль”, он должен был напоминать отель “Юник” на улице Монпарнас: такое же сомнительное место. Мне теперь кажется, что и у Данни есть что-то общее с баронессой Бланш. Очень трудно было отыскать ее след, хотя пару раз она промелькнула на страницах

1. Наиболее известный авантюрный роман Мориса Константэна-Вейера, за который он получил Гонкуровскую премию в 1928 г.

дневника Казановы, который я читал тогда, да еще в отчетах полицейских инспекторов Людовика XV. Интересно, а они-то изменились с XVIII века? Однажды Дювельц и Жерар Марсиано шепотом сообщили мне, что отель "Юник" находится под прикрытием и одновременно под надзором одного инспектора из отдела нравов. И он наверняка тоже писал отчеты. А когда двадцать лет спустя Ланглэ передал мне ту папку, — я и правда очень удивился, что там есть что-то про меня, на что он улыбнулся: "Да-да, я следил за вами, только 'издалека'", — среди прочих бумаг в ней нашелся детальный отчет о Данни, не уступавший по части подробностей тем, какие писали пару веков назад о баронессе Бланш.

В сущности, я не жалею, что потерял тогда рукопись. Если б она не пропала, я бы не сел писать эти строки. Время исчезло, и все теперь заново: в руке у меня все та же ручка, и снова я заполняю листы своим почерком, то и дело поглядывая в черный блокнот. Мне понадобилась почти вся моя жизнь, чтоб вернуться к тому, с чего начинал.

Прошлой ночью мне снова приснилось, что я иду на почту. Подав в окошко извещение на свое имя, я получаю бандероль и уже заранее знаю, что внутри. Но на этот раз мне удается прочесть имя "отправителя": мадам Дорм. Барбери. Фёйёз. Эр-и-Луар. А на почтовой бумаге штамп: 1966 год. Пакет я вскрываю уже на улице, и внутри действительно рукопись. Я и забыл, что писал тогда на клетчатых листах, вырванных из блоков с рыжей обложкой фирмы "Rhodia". Чернила были холодного, голубого цвета, и это я тоже забыл. Девяносто девять страниц, последняя исписана не до конца. Почерк убористый, много помарок.

Я иду, никуда не сворачивая, и крепко держу рукопись под мышкой, боясь потерять. Летний вечер. Я иду все прямо по улице Конвента, в сторону больницы Бусико, ее темного фасада и железной ограды.

Проснувшись, я вспомнил, что именно в это отделение почты я часто ходил с Данни за компанию. Туда ей присылали письма. Я спросил, зачем она просит писать до востребования, в отделение на улице Конвента. Она ответила, что какое-то время жила неподалеку, а с тех пор постоянного места жительства у нее нет.

Писем она получала мало. Каждый раз это было одно-единственное письмо. Потом мы заходили в кафе у самого метро, на перекрестке с проспектом Феликса Фора, и она читала его при мне. Потом складывала и опускала в карман пальто. Когда мы сидели так в первый раз, она сказала: "Это от родственника из глубинки".

Мне казалось, она жалеет, что переехала отсюда. Как я понял с ее слов, — хотя порой она противоречила сама себе, видимо, не сохранив в памяти четкой хронологии событий, — здесь было первое ее пристанище по приезде в Париж. Она прожила тут недолго. Пару месяцев. Я чувствовал, что она нарочно не говорит, из какого города и края она приехала. В другой раз она сказала: “Когда я прибыла в Париж, на Лионский вокзал...” Эта фраза, видимо, так поразила меня, что я записал ее в черный блокнот. Такие точные сведения о себе она сообщала крайне редко. Это было в тот день, когда мы поехали на почту позже обычного. Уже темнело, и мы едва успели до закрытия. Потом мы сели в кафе, и официант, который, наверное, помнил ее еще с тех времен, когда она жила неподалеку, молча подал ей бокал куантро. Дочитав, она сунула письмо в карман.

“Когда я прибыла в Париж, на Лионский вокзал...” Она сказала, что села в тот день на метро и после кучи пересадок вышла здесь, на Бусико. Через стекло она указала на выход со станции. Сперва она, правда, запуталась, и уехала не туда — на Мишель-Анж-Отей. Я не перебивал ее, потому что знал, как она избегает вопросов: просто меняет тему, как будто задумалась о другом и не слышала, что сказал собеседник. И все же я вставил тогда: “И никто тебя не встречал на Лионском вокзале?” — “Нет. Никто”. — Она договорилась о квартире, совсем рядом, на проспекте Феликса Фора. И прожила там несколько месяцев. Это еще до студенческого городка. Я молча кивал. Любое слово, просто пристальный взгляд мог сбить ее, и она бы замолчала. “Я покажу тебе дом, где жила”. — Я удивился и самому предложению, и тому, каким печальным тоном она это сказала, будто корила себя за то, что съехала отсюда. Вдруг она ушла в свои мысли. Да, у нее был вид человека, который понял, что давно уже идет не той дорогой и хотел бы вернуться назад, на развилку. Она опустила письмо в карман. По сути, единственное, что связывало ее теперь с этим кварталом, — это почта на улице Конвента, отдел “до востребования”.

В тот вечер мы пошли вниз по улице Конвента, к набережной Сены. Потом мы еще пару раз ходили тем же маршрутом, если Данни надо было встретиться с кем-то на проспекте Виктора Гюго, на правом берегу, после того как мы заберем ее письмо. По пути она показала мне церковь Святого Христофора в Жавель, куда часто ходила, когда жила здесь, чтобы, как она сказала, поставить свечку — не то чтоб она верила в Бога, скорее из суеверия. Так было в начале ее парижской жизни. Из-за этой детали старая кирпичная цер-

ковь чем-то трогала меня, когда я проходил мимо, и мне хотелось зайти внутрь и тоже поставить свечку. Вот только зачем?

В тот вечер мы не сели в метро на станции Жавель, как делали, когда нужно было на правый берег. Мы дали крюк и потом вернулись назад по улице Конвента. Данни твердо решила показать мне дом, в котором жила. Дойдя до кафе, мы свернули на проспект и пошли по правой стороне. Когда мы дошли до многоэтажного дома, Данни сказала: “Я покажу тебе квартиру... У меня остался ключ”. Она явно продумала все это заранее — ключ был у нее с собой. Мельком глянув на темное окошко консьержки, она сказала: “В это время ее не бывает, но на лестнице не шуми”. Свет в подъезде включался кнопкой на таймере, но Данни не стала ее нажимать. На первом этаже горела дежурная лампочка, и благодаря ее тусклому свету мы могли различать ступени. Данни крепко держала меня под руку, мы поднимались, прижавшись друг к другу. Мне вдруг вспомнилось выражение “Красться по-волчьи”, и я чуть не прыснул. В темноте она открыла дверь и осторожно прикрыла ее за нами. Потом нашарила выключатель, и желтый свет полился в прихожую из плафона под потолком. Данни предупредила: говорить можно только шепотом и свет нигде больше не зажигать. Сразу направо была полуприкрытая дверь, как сказала Данни, — в ее бывшую комнату. Мы прошли дальше по освещенному коридору. В комнате слева стоял стол и буфет. Столовая? Справа был большой зал, “гостиная”, судя по дивану и костяным фигуркам за стеклом в серванте. Так как шторы были задернуты, Данни включила лампу на круглом журнальном столике, и она дала такой же приглушенный, желтый свет, как и плафон в прихожей. За самой дальней дверью оказалась спальня: огромная кровать с медным решетчатым изголовьем, обои небесных тонов. На ночном столике с одной из сторон кровати стопкой лежало несколько книг. Мне вдруг стало страшно, что вот сейчас хлопнет входная дверь, и хозяин квартиры застанет нас здесь. Данни один за другим выдвигала ящики в столах и рылась в них. Время от времени она находила какую-то бумагу, и клала ее в карман пальто. А я стоял и смотрел на нее, весь в напряжении, и ждал, что хлопнет дверь. Она открыла зеркальную створку шкафа, стоявшего напротив кровати, но полки были пусты. Тогда она закрыла ее обратно. “А точно никто не придет сюда?” — спросил я шепотом. Данни пожала плечами. Она пробежала глазами заголовки книг на ночном столике. Затем взяла одну, в красной обложке, и книга тоже скользнула в карман пальто. Должно

быть, она знакома с тем, кто здесь живет, раз замок не сменили. Данни погасила настольную лампу, и мы вышли из спальни. В гостиной и в прихожей все еще горел зажженный нами свет, и в его желтых лучах было особенно заметно, насколько все здесь старомодно: сервант темного дерева, костяные фигурки за стеклом, потертые ковры... "Ты знаешь тех, кто здесь живет?" — спросил я. Она не ответила. Это точно не родители — она ведь приехала не то из провинции, не то из-за границы: на Лионский вокзал. Кто-то, кто живет один, но сдавал ей комнату?

Она повела меня в ту комнату, налево, перед самой прихожей. Лампу зажигать не стала, но оставила дверь открытой настежь. Света из прихожей было достаточно, чтобы все разглядеть. Здесь тоже стояла кровать, но гораздо меньше, чем в дальней комнате, и без матраса, голая сетка. Шторы были опущены — те же черные шторы, что и в гостинице около Валь-де-Грас, куда мы случайно забрели. Слева у стены, прямо напротив кровати, на треногом столике стоял граммофон в кожаном чехле и лежала пара пластинок на 33 оборота. Рукавом она стерла с конверта слой пыли. Потом сказала: "Подожди, я сейчас". Я уселся на край кровати. Скоро она вернулась с большой хозяйственной сумкой, куда положила проигрыватель и пластинки. Потом села на кровать рядом со мной и задумалась, будто вспоминая, не забыла ли чего. "Жалко, — сказала она вдруг громче, — что мы не можем остаться в этой комнате". — И улыбнулась немного натянуто. В пустой квартире голос ее отдавался странно. Мы закрыли за собой дверь в комнату. Я нес сумку с граммофоном и пластинками. Когда, погасив свет в прихожей, мы отперли входную дверь, Данни сказала: "Консьержка, наверное, уже вернулась. Надо пройти мимо как можно быстрее". Спускаясь по темной лестнице, я все боялся задеть сумкой за ступени и споткнуться. Я шел впереди и первым проходил пролет. Вдруг зажегся подъездный свет, и мы замерли на площадке второго этажа. Хлопнула дверь. Данни прошептала мне на ухо, что это у консьержки. Мы стали спускаться дальше, уже при ярком свете, так резко отличавшемся от полумрака квартиры. Через стекло в двери привратницкой было видно, что там горит лампа. Теперь надо нажать кнопку, которая открывает подъездную дверь. А что, если дверь не откроется? Сумка у меня в руках была слишком большой и тяжелой, чтобы ее можно было спрятать, а с ней я походил на грабителя. Дверь не открывается, консьержка звонит в полицию, и вот нас с Данни загоняют в фургон. Да, никуда не деться от этого чувства собственной виновности, раз не приучили нас с детства

наши честнейшие и достойнейшие родители в любой ситуации знать, что ты в своем праве, и держаться с превосходством. Оказавшись на улице, я не мог сдерживать шаг, и Данни шла рядом также быстро. Может, она боялась пересечься с хозяином.

Когда мы подошли к улице Конвента, я был уверен, что сейчас мы спустимся в метро, но Данни повела меня в то самое кафе, где мы обычно сидели после похода на почту. В такое время в кафе не было ни души. Мы сели за самый дальний столик. Официант принес ей куантро, и я подумал, что являться сюда сразу после нашего тайного визита в ту квартиру, было, наверное, не слишком разумно. Я спрятал сумку под столиком. Данни достала из карманов пальто книгу и прочие бумаги. Позже она говорила мне, что очень обрадовалась, когда нашла эту книгу в квартире, потому что она с ней уже много лет — подарили еще в детстве; она много раз теряла ее, но всегда потом отыскивала, как бывает с вещами, которые верны нам и не хотят нас покидать. Это был роман Энтони Хоупа "Месть Руперта", старое издание в потрепанной красной обложке. Среди бумаг на столе, которые она теперь просматривала, попадались письма, визитные карточки, старый паспорт... Было уже девять вечера, но официант, как и хозяин кафе, говоривший по телефону за стойкой, казалось, забыл о том, что мы сидим здесь. "Мы не погасили свет в гостиной, — вдруг сказала Данни. Но в ее голосе вместо тревоги звучала скорее грусть — возможно оттого, что она не может теперь спокойно вернуться домой даже для того, чтобы просто выключить свет. — Знала же, что что-то забыла... Надо было проверить шкаф в моей комнате — одежду забрать..." Я сказал ей, что, если, конечно, она доверит мне ключ, я могу вернуться и выключить свет, а заодно забрать ее вещи, какие она скажет. Но даже ключ мне, пожалуй, и не понадобится, ведь хозяин квартиры наверняка уже вернулся, так что я просто позвоню в дверь и объясню ему, что пришел от твоего имени. Я говорил так, будто это само собой разумеется, надеясь, что вызову ее на объяснения. Я уже понял, что ей нельзя задавать прямых вопросов. "Нет, так не выйдет, — сказала она спокойно. — Нужно, чтоб они думали, будто я умерла". — "Умерла?" — "Да... Ну, словом, исчезла...". — Она улыбнулась, чтоб как-то смягчить серьезный тон последних фраз. Я заметил, что, как бы то ни было, "они" явно заметят включенный свет и пропажу документов, книги, граммофона с пластинками... Она пожала плечами. "Они решат, что это мой призрак". — Она громко и коротко рассмеялась. Казалось, к ней наконец вернулась легкость после вспышки беспокойства, колебаний и

грусти, так ей не свойственных. “Там живет старушка, у которой я снимала комнату, — сказала она. — Она бы не поняла, скажи я ей, что со дня на день съеду. А я не люблю рассусоливать. И долгих прощаний не люблю”. — Я не мог понять, правда это или Данни просто решила успокоить меня и избежать расспросов. Почему же тогда, если речь шла о “старушке”, она сперва сказала “они”? Да какая разница. Там, в кафе, я ни о чем не хотел ее спрашивать. Вместо того чтобы устраивать допросы людям, не лучше ли молча принять их, как есть. К тому же у меня было смутное предчувствие, что я еще спрошу ее обо всем, когда придет время. На самом деле, года три или четыре спустя я ехал на машине через кольцо на площади Мирабо, и прямо передо мной вдруг очутилась улица Конвента. Мне показалось, что стоит только оставить машину здесь, посреди пробки, и пойти пешком по той улице — и выйдешь на вольный воздух. Будто окажешься в невесомости. Я бы не спеша пошел по правой стороне улицы. По пути поставил бы свечку в церкви Святого Христофора. И вышел бы в итоге где-то между кафе и спуском в метро. Официант не удивился бы мне и сразу, не дожидаясь, пока я закажу, поставил бы два бокала куантро на стол, друг напротив друга. Я позвонил бы в дверь той квартиры, чтобы забрать ее одежду. Но беда в том, что я не помню номера дома, а в том квартале все дома по проспекту Феликса Фора на одно лицо, что фасады, что подъездные двери, так что мне никак не узнать нужную. Тогда же, вечером, мне показалось, что я слышу ее голос с легкой хрипотцой: “Старушка, у которой я снимала комнату”, — голос звучал так близко... Старушка... Я открыл телефонный справочник по адресам, надеясь высчитать нужный номер. Я помню, как мы прошли мимо отеля и магазина с огромной витриной, где — я еще удивился — были выставлены целые ряды поблескивавших в полутьме телефонных аппаратов. Как-то раз, когда ей также надо было забрать почту, мы договорились встретиться в кафе, и я немного прошелся по проспекту Феликса Фора, в сторону того дома, куда мы с ней забрались, как воры, в прошлый раз. На тротуаре родители ждали после школы своих дочек. Справочник в точности подтвердил мои воспоминания. “Телефоны Бургундер.” “Отель ‘Авиация’”: это все раньше дома, я уверен. Ну а школа для девочек, номер 56? До или после? Во всяком случае, перекресток с улицей Дюрантон точно был уже после дома. Мне хотелось проверить все на месте. Но что толку? Все равно фасады слишком похожи. “Старушка, у которой я снимала комнату”. Согласно справочнику, в доме 62 действительна жила некая мадам Боле.

Она протянула мне роман Энтони Хоупа, тот, в красной обложке, чтобы я убрал его в сумку к пластинкам и проигрывателю. Я спросил, прочла ли она его. Да, первый раз — в детстве, от корки до корки, не поняв ни слова. Потом читала отдельные главки, открывая наугад. Было почти девять вечера. Официант сообщил нам, что кафе закрывается. Мы оказались на улице, под дождем. У меня в руках была сумка, а у Дании карман пальто топорщился от бумаг. Спустившись в метро, мы долго ждали поезда, а потом снова ждали на пересадке, на Ля-Мотт-Пике. В этот час вагоны были безлюдны. Она стала рыться в кармане и достала оттуда карточки, которые я принял за визитные. Заметив, что я пристально смотрю на них, она улыбнулась: “Я все тебе покажу... Вот увидишь... ничего интересного...” Она явно была не рада тому, что скоро вернется к себе в комнату, на Монпарнас. В тот самый вечер она и упомянула в первый раз загородный дом, куда мы могли бы поехать, но я не должен говорить об этом остальным. Остальными были Агхамури и те, с кем я часто виделся: Дювельц, Марсиано, Шастанье... Я спросил у нее, знает ли Агхамури о том, что она когда-то жила в той квартире, на Феликса Фора. Нет-нет, он не знает. Они познакомились позже, уже в студенческом городке. И о существовании того загородного дома, о котором она только что мне поведала, он тоже не знал. Загородный дом, километрах в ста от Парижа, как она сказала. Нет, ни Агхамури, ни кто бы то ни было еще никогда не ездили с ней за почтой. “Выходит, я единственный, кто знает твои секреты?” — спросил я ее. Мы шли по бесконечному коридору станции Монпарнас, и кроме нас на лестницах не было никого. Она взяла меня под руку и положила голову мне на плечо. “Надеюсь, ты умеешь хранить секреты”. Мы прошли по бульвару до кафе “Ле Дом”, потом свернули и сделали крюк, шагая вдоль ограды кладбища. Данни явно тянула время, чтобы не пересечься в холле с Агхамури и остальными. Больше всего она опасалась встретить там Агхамури. Я едва не спросил, зачем ей вообще перед ним отчитываться, но, подумав, решил, что спрашивать бессмысленно. Видимо, тогда я уже понял, что никто не отвечает на расспросы. “Надо подождать, пока они погасят свет в холле, — сказал я как бы небрежно, — это как с домом, куда мы сейчас поднимались... Правда, ночной портье может нас увидеть”. По мере того как мы приближались к отелю, ее беспокойство становилось все заметнее. Хоть бы в холле никого не было, думал я. Наконец, ее волнение передалось и мне. Я уже слышал, как Поль Шастанье спрашивает меня стальным голосом: “А что это у вас такое в сумке?” Перед поворотом на

улицу, где стоит отель, Данни замешкалась. Было уже одиннадцать вечера. “Подождем еще немного?” — предложила она. Мы сели на скамейку, посреди бульвара Эдгар-Кине. Я поставил сумку рядом с собой. “Это ж надо было умудриться — оставить свет в гостиной!” — сказала она вдруг. Тогда я удивился, что она придает этому такое значение. Сегодня мне понятна внезапная грусть, проступившая в ее взгляде. Порой и на меня находит странное чувство, когда я думаю о непогашенных огнях, которые мы оставили там, куда уже не вернемся. В том нет нашей вины. Вечно нам нужно было уходить быстро и скрытно. Я уверен, и в том загородном доме найдется комната, где мы оставили свет. А может, это именно моя оплошность, и виной тому — моя рассеяность и забывчивость? Сегодня я думаю, что дело не в забывчивости и не в рассеяности, — я уверен, что оставил перед отъездом горящую лампу нарочно. Может, из суеверия — чтоб отвести беду, но скорее для того, чтобы от нас остался какой-то след, знак, что мы не совсем исчезли и что когда-нибудь еще вернемся сюда.

“Они все здесь”, — Данни прошептала мне на ухо. Когда мы подошли к отелю вплотную, она решила идти впереди, чтобы посмотреть сквозь стекло, свободен ли путь — нет ли кого в холле. Она не хотела, чтоб сумка попадалась им на глаза. Мне тоже было не по себе с этой сумкой в руке, будто она выдавала в нас преступников, — сегодня подобные мысли мне кажутся странными. Откуда это вечное чувство неуверенности и вины? Да в чем нас обвинишь, если подумать? Я тоже посмотрел через стекло. Все они сидели в холле, Агхамури — на подлокотнике кресла Марсиано, а Поль Шатанье, Дювельц и тот, которого все звали просто Жорж, заняли оставшиеся кресла — старые, коричневой кожи. Все это походило на военный совет. Да, в чем же нас обвинишь? — спрашиваю я себя. И вообще, уж кому-кому, а этим людям точно не пристало учить нас морали. Я взял Данни под руку и решительно повел к двери. Первым нас заметил Жорж, — его круглое, бледное, как луна, лицо с глазами мечтателя так не подходит к коренастому, мощному телу, что не сразу замечаешь в лице то жестокое, что сквозит и в теле. Когда он жмет вам руку, по коже точно пробегает холод — как если бы через рукопожатие передались те самые “холодные флюиды”. Когда мы приблизились к ним, стальной голос Поля Шастанье спросил:

— Это мы что же, с рынка идем?

Он пристально посмотрел на сумку, которую я нес в левой руке.

— Да-да... с рынка, — Данни ответила очень мягко, спокойно. Наверное, чтобы саму себя подбодрить. Меня удивило ее хладнокровие, особенно после внезапного приступа тревоги на подходе к отелю. Тот, кого называли Жорж, оглядывал нас обоих, и кожа на его лунном лице казалась до того бледной, что походила на грим. Из-за приподнятых бровей лицо его выражало и любопытство, и недоверие — так бывало всякий раз, когда он оказывался с кем-то лицом к лицу. Возможно, его-то Данни и боялась. Помню, когда я первый раз встретился с ним в холле, она представила его мне: "Жорж". Он ничего не сказал, только поднял брови. Жорж: в этом звучном имени есть что-то тревожное, замогильное, что очень сочетается с его лицом. Когда мы вышли из отеля, Данни сказала мне: "Этот тип, похоже, опасен", но не объяснила почему. Знает наверняка? По ее словам выходило, что Агхамури познакомился с ним в Марокко. Она улыбнулась и пожала плечами: "Ох, знаешь, лучше вообще не лезть в эти дела..."

— Выпьете с нами? — предложил Поль Шастанье.

— Уже поздновато, — ответила Данни, все так же мягко.

Агхамури, который по-прежнему сидел на подлокотнике кресла Жерара Марсиано, смотрел на нас пристально и удивленно. Мне показалось, что он побледнел.

— Жаль, что вы не присоединитесь к нам. А то бы рассказали, что купили на рынке.

На этот раз Поль Шастанье обращался ко мне. Сумка явно вызывала интерес.

— Вы мне поможете занести это в комнату? — Данни обернулась ко мне, внезапно перейдя на "вы", и указала на сумку. Похоже, она нарочно привлекала внимание к ней, как бы назло им.

Я пошел за ней в сторону лифта, но она свернула на лестницу. Данни поднималась впереди меня. На площадке первого этажа, где нас уже не могли видеть, она остановилась и сказала мне на ухо:

— Лучше уходи отсюда. Иначе у меня будут неприятности с Агхамури.

Я проводил ее до двери комнаты. Она взяла у меня сумку и сказала тихо, будто нас могли услышать:

— Завтра, в полдень, в "Белой Кошке".

Это было довольно унылое кафе на улице Одессы, где можно незаметно пройти в дальний зал, мимо нескольких игроков за бильярдом. Бретонцев в матросских фуражках.

Прежде чем закрыть дверь, она сказала мне, еще тише:

— Хорошо, если б нам удалось поехать в тот загородный дом, про который я тебе говорила.

Спуститься я решил на лифте. Не хотелось столкнуться с кем-то из них на лестнице. Особенно с Агхамури. Я боялся, что он начнет меня расспрашивать и требовать каких-то объяснений. Вновь я почувствовал ту робость или недостаточную уверенность в себе, которую заметил за мной Поль Шастанье — и даже сказал однажды, когда мы гуляли вместе по серым улицам Монпарнаса:

— Странно... такой чуткий и способный молодой человек, как вы... Почему вы всегда будто прячете взгляд?

В холле они все еще сидели в креслах. Чтоб дойти до двери, нужно было, увы, пройти мимо них, а я совсем не хотел с ними заговаривать. Агхамури поднял голову и посмотрел на меня холодно, совсем не так, как смотрел обычно. Возможно, он следил за дверьми лифта, чтобы узнать, останусь ли я в комнате Данни. Поль Шастанье, Дювельц и Жерар Марсиано наклонились к Жоржу и слушали его с таким вниманием, будто он давал им инструкции. Я скользнул к выходу, как бы не желая их прерывать. Я опасался, что Агхамури пойдет за мной. Но нет, он остался сидеть со всеми. Что ж, партия отложена — но не более, подумал я. Завтра он непременно потребует объяснений по поводу Данни — и это заранее тяготило меня. Мне нечего ему сказать. Нечего. Да я и никогда не умел отвечать на вопросы.

Оказавшись на улице, я не удержался и стал наблюдать за ними через стекло. И когда сегодня я пишу об этом, мне все кажется, что я по-прежнему стою на тротуаре, ни на шаг не сойдя с прежнего места, и смотрю на них. Но как я ни стараюсь вглядеться в Жоржа, о котором мне говорили, что он опасен, уже не чувствую тревоги, охватывавшей меня порой, когда я пересекался с ними в холле отеля “Юник”. Поль Шастанье, Дювельц и Жерар Марсиано навечно пригнулись к Жоржу, обсуждая, как говорил Агхамури, “свои темные дела”. Они плохо кончат — или в тюрьме, или сводя с кем-то счеты. Агхамури, сидя на подлокотнике, молчит и смотрит на них с беспокойством. Это он сказал мне однажды: “Берегитесь! Они могут завести вас на дурную дорожку. Я бы вам советовал порвать с ними скорее, пока еще возможно”. В тот вечер он назначил мне встречу у входа в корпус Санзье. Он настоял, что нам “нужно объясниться”, хотя я полагал, что он просто хочет запугать меня, чтоб я не виделся больше с Данни. И вот он тоже сидит там, за стеклом, навечно, и глаза его беспокойно глядят на остальных, заговорщически шепчущих что-то друг другу. И уже я хочу сказать ему: “Берегитесь!” Я же — не рисковал ничем. Но тогда я не осознавал этого до конца. Потребовались годы, чтобы понять. Но если память

меня не подводит, я подспудно чувствовал уже тогда, что никто из них не заведет меня “на дурную дорожку”. Когда Ланглэ допрашивал меня на набережной Жевр, он сказал: “Вы вращались среди очень странных людей”. Но он ошибся — на тех, кто мне встречался тогда, я всегда смотрел со стороны, издалека. Я не помню, как долго я стоял в ту ночь перед стеклом, глядя на них с улицы. В какой-то момент Агхамури поднялся и пошел к окну. Он вот-вот должен был увидеть, что я стою на тротуаре и подсматриваю за ними через стекло. Я замер, стараясь не шелохнуться. Если он решит выйти к мне, то ничего не поделаешь. Но он смотрел в пустоту и не замечал меня. Тот, кого звали Жорж — по-видимому, самый опасный из всех — тоже поднялся с кресла и грузно подошел к окну, встав рядом с Агхамури. Оба были от меня в нескольких сантиметрах, но и его жесткие глаза на белом, как луна, лице смотрели мимо. Может, стекло было непрозрачным изнутри, как зеркало без амальгамы. Или же просто нас отделяли годы, десятки лет: они застыли в прошлом, посреди холла в отеле “Юник”, и мы жили теперь в разных временах.

Я почти никогда не записывал в черный блокнот даты встреч. Я всякий раз боялся, что если заранее написать день и час, то человек не придет. Нельзя быть настолько уверенным в будущем. Как сказал Поль Шастанье, я “прятал взгляд”. Мне казалось тогда, что я живу как бы подпольно, а когда живешь так, стараешься не оставлять следов и не писать черным по белому своих планов на день. И в то же время на одной из страниц я читаю: “Вторник. Агхамури. 19 часов. Санзье”. До этой встречи мне не было дела, а потому ничего страшного, что она запечатлена чернилами на белой бумаге блокнота.

Это было дня через три после того, как мы с Данни пришли в отель “Юник” поздно вечером, и я нес сумку. Я очень удивился, когда получил от Агхамури записку на адрес, где снимал тогда комнату: улица Од, 28. Как он узнал, где я живу? От Данни? Я много раз приводил ее сюда, на улицу Од, но мне казалось, это было позже. Воспоминания у меня путаются. В письме Агхамури писал: “Никому не говорите о нашей встрече. Особенно Данни. Пусть это останется между нами. Вы поймете почему”. Это “Вы поймете” меня беспокоило.

Уже стемнело. Я ждал, расхаживая взад-вперед по пустырю перед новым зданием факультета. В тот вечер я захватил с собой черный блокнот и, чтобы занять время, стал переписывать разные таблички, которые еще сохранились на неко-

торых домах и складах вокруг пустыря, подготовленных к сносу. Я читаю:

Братья Сомме – шкуры и кожа
Блюме (Б.) и сыновья – изделия из кожи на комиссию
Красильни Боженси
Кожевня А. Мартена – сыромятная кожа
Квасцовая дубильня Парижского кожевенного рынка

Чем больше я писал, тем сильнее нарастала тревога. Мне кажется, это заметно по почерку, неровному, почти нечитаемому под конец. Внизу я приписал, уже карандашом, убористо:

Пансион Ста Девиц

Это моя мания — вечное стремление знать, что было в таком-то месте Парижа на протяжении веков, в разные времена, слой за слоем. На этот раз мне казалось, что я чувствую муторный запах шкур и сырых кож. Мне вспоминается заголовок одного документального фильма, который я видел ребенком, намного раньше, чем следовало бы: “Кровь зверей”. Прежде зверей убивали на Вожирар и на Ла Вилет, а их шкуры свозили сюда на продажу. Сотни, тысячи безымянных животных. И от всего этого остался лишь пустырь да десяток фамилий живодеров и убийц на стенах полуразрушенных зданий, которые здесь тоже ненадолго. И всех их я выписал в тот вечер в свой черный блокнот. Но зачем? Куда лучше было бы знать имена тех ста девиц из пансиона, которые отдыхали, лежа на этом пустыре задолго до кожевенного рынка.

— Вы очень бледны... Что-то случилось?

Агхамури стоял прямо передо мной. Я не видел, как он вышел из корпуса Санзье. Он был в своем бежевом пальто и с черным портфелем в руке. Я все еще был погружен в свои записи. Тогда он смущенно улыбнулся:

— Вы меня хотя бы узнаете?

Я готов был показать ему свои записи, но в то время я полагал, что, увидев, как ты что-то пишешь втихаря, люди начинают тебя остерегаться. Наверное, люди боятся, что у них украдут что-то — их слова, частичку их жизни.

— Интересно было на занятиях?

Сам я никогда не был студентом и потому представлял, как Агхамури заходит в класс вроде школьного, садится за парту, достает из-под крышки свой учебник, тетрадь для сочинений и макает перо в чернильницу. Мы пересекли пустырь, обходя лужи. Бежевое пальто и черный портфель под-

крепляли мои подозрения: он никак не мог быть студентом. Скорее он выглядел так, будто шел на деловую встречу в холле гостиницы "Женева"... Я думал, что мы пойдем, как обычно, в кафе на площади Монж, но мы свернули в противоположную сторону, к Ботаническому саду.

— Вы не против немного прогуляться? Мы могли бы спокойно поговорить на ходу.

Его голос звучал непринужденно, по-дружески, но я почувствовал, что его что-то смущает, — как если бы он подыскивал нужные слова и ждал, когда мы окажемся подальше от мест, где можно наткнуться на кого-то из знакомых. И как раз перед нами возникла пустынная улица Кювье, где до самой Сены не было ни души.

— Я хотел предостеречь вас...

Он заговорил очень серьезно. И вдруг замолчал. Может, в последний момент побоялся раскрывать все подробности.

— От чего предостеречь?

Я задал вопрос слишком прямо. Надо было, как говорил Поль Шастанье, "прятать взгляд"... — никогда я не слушал чужих советов. Никогда. И всякий раз это ставило людей в тупик, и даже расстраивало — ведь я выслушивал их наставления очень внимательно, навострив уши, как прилежный ученик или как славный юноша. Мы шли вдоль низких домов, выстроенных по периметру Ботанического сада. Мне кажется, это была та его часть, где находился зверинец. Улица освещалась слабо, и каждую секунду из тишины и сумрака за оградой мог раздаться хищный рык.

— Нужно было раньше поговорить с вами об этом... Это касается Данни...

Я взглянул на него, но он по-прежнему держал голову прямо и смотрел вперед. Я не мог понять, избегает он моего взгляда или нет.

— Я познакомился с Данни в студенческом городке... Она искала кого-нибудь, кто мог бы сдать ей там комнату и к тому же одолжить студенческий билет...

Он говорил медленно, будто пытаясь по ходу рассказа распутать, насколько возможно, очень запутанную историю.

— Мне потом всегда казалось, что кто-то указал ей на меня... Потому что иначе ей бы никогда не пришла эта идея про студенческий городок...

Я тоже часто задавался вопросом, откуда девушка вроде Данни могла узнать о существовании этого городка. Как-то раз, провожая ее вечером до того отделения почты, я спросил об этом. "Знаешь, а я ведь приехала в Париж, чтобы учиться". — Да, но на кого учиться?

— Через одного приятеля из марокканского корпуса я раздобыл ей студенческий билет и карту резидента... на имя моей жены...

Но почему на имя жены? Он остановился.

— Она боялась пользоваться собственными документами... Когда я съехал из студенческого городка, она не захотела оставаться там. Я познакомил ее с остальными, в отеле "Монпарнас"... Судя по всему, через них она смогла раздобыть фальшивый паспорт...

Он схватил меня под руку и потянул на другую сторону. Я удивился, зачем ему вдруг понадобилось так резко переходить улицу. Мы стояли перед совсем небольшим домом, и, возможно, он боялся, что наш разговор слышен из окон. На другой же стороне бояться было нечего — мы шли теперь вдоль ограды винного рынка, тонувшего в сумраке, где было еще пустыннее и тише, чем на самой улице.

— А зачем, — спросил я тогда, — ей были нужны фальшивые документы?

У меня было чувство, будто я во сне. В то время со мной часто такое случалось, особенно когда стемнеет. Усталость? Или то странное ощущение дежавю, которое наваливается порой, если опять же долго недосыпал? Все вдруг мешается в душе, прошлое, будущее, настоящее, — как на кадре фотопленки, на который сняли несколько раз. И даже сегодня, думая об улице Кювье, я вижу ее среди проулков какого-то провинциального городка, а вовсе не в сетке парижских улиц, и мне с трудом верится, что шедший рядом со мной человек и правда существовал. Я слышу далекое эхо собственных слов: "Зачем ей были нужны фальшивые документы?"

— Но зовут-то ее хотя бы Данни? — спросил я Агхамури нарочито беспечным тоном, — у меня было дурное предчувствие, и я с опаской ждал продолжения.

— Думаю, да... — ответил он сухо, — а как в ее новом паспорте — не знаю. Но это не имеет большого значения... На документах, которые я дал ей в студгородке, стояло имя моей жены, Мишель Агхамури.

Тогда я задал вопрос, о котором тут же пожалел:

— А ваша жена знает об этом?

— Нет.

Он переменился, снова став таким, каким был незадолго до этого, — и до сих пор в воспоминаниях он мне видится таким: чем-то обеспокоен и всегда настороже.

— Все это останется между нами, верно?

— Знаете, я еще ребенком научился молчать.

Меня самого удивило, как торжественно прозвучали мои слова.

— Она совершила нечто серьезное, и с нее могут за это спросить, — проговорил он быстро. — Вот зачем ей новые документы.

— Нечто серьезное?

— Об этом спро́сите у нее. Правда, беда в том, что, если вы заговорите с ней об этом, она поймет, что вы узнали от меня...

Ворота винного рынка были приоткрыты, и Агхамури остановился перед ними.

— Мы можем здесь срезать. Я знаю одно кафе на улице Жюсьё. Вы еще не устали идти?

Я прошел в ворота следом за ним и оказался на широком дворе, окруженном полуразрушенными постройками, точь-в-точь как на том старом кожевенном рынке. И тот же полумрак, что на пустыре, где я совсем недавно ждал встречи... Фонарь в глубине освещал белым светом еще никем не тронутые склады, а на их стенах виднелись вывески того же рода, что и на развалинах кожевенного рынка.

Я глянул на Агхамури:

— Вы не против?

Из кармана куртки я достал свой черный блокнот, и вот сегодня я читаю на его листах торопливые пометки, которые делал на ходу, пока мы двигались в сторону улицы Жюсьё:

Мари Бризар и Роже
Холмы Жиронды
Добрые алжирские вина
Погреба Луары
Либо, Маржеран и Блонд
Монастырский дворик. Плодовые настойки. Подвалы Розария

— Вы часто это делаете? — спросил меня Агхамури.

В голосе слышалась досада, будто он боялся, что все, что он решился доверить мне, не слишком меня занимает, и у меня есть занятия поважнее. Но я ничего не мог с собой поделать — в то время я был настолько же, как и сейчас, чувствителен ко всему, что хрупко и скоро исчезнет: и к вещам, и к людям. Мы подошли к большому современному зданию: внутри, в вестибюле, горел свет, а над крыльцом виднелась надпись: “Факультет естественных наук”.

Мы прошли вестибюль насквозь, вышли с другой стороны и, миновав еще один пустырь, оказались на улице Жюсьё.

— Пришли, — сказал Агхамури.

Он указал на кафе на другой стороне улицы, сразу за театром "Лютеция". На тротуаре толпились люди в ожидании спектакля.

Мы сели в углу, рядом со стойкой. Напротив нас, в другом конце зала, несколько посетителей ужинали за столиками, выстроенными в ряд.

Теперь была моя очередь начинать разговор. Иначе он бы скоро пожалел, что и так сказал мне слишком много.

— Вы только что упоминали нечто серьезное, касающееся Данни... Я бы очень просил вас объясниться.

Секунду он помедлил.

— У нее могут возникнуть очень серьезные проблемы с правоохранительными органами...

Он подыскивал точные слова, профессиональные, слова адвоката или полицейского.

— На данный момент она относительно в безопасности... Но может всплыть, что она замешана в грязную историю...

— Что вы имеете в виду под "грязной историей"?

— Об этом спрашивайте ее саму.

Возникло молчание. Даже какая-то неловкость. Я слышал, как рядом, в театре, дали третий звонок. Господи, как хотел я в тот вечер быть в зале вместе с ней, среди других зрителей, и чтобы она не была замешана ни в какие истории... Я не мог понять, почему Агхамури не договаривает, в чем заключалась та "грязная история".

— Мне кажется, вы в довольно близких отношениях с Данни... — сказал я.

Он посмотрел на меня, немного смутившись.

— Я видел вас как-то поздней ночью в "66".

Похоже, он не понял, что за "66". Тогда я уточнил, что говорю о кафе, вверх по бульвару Сен-Мишель, недалеко от Люксембургского вокзала.

— Да, может быть... Мы часто ходили туда, когда еще жили в студенческом городке.

Он улыбнулся, как бы желая увести разговор на более безопасную почву, но я, напротив, хотел вернуть его к основной теме. В конце концов, это он меня позвал. При мне было его письмо, в конверте с моим именем и адресом — ул. Од, 28. Я положил его между страницами черного блокнота. Я сохранил его там и перечел сегодня снова, прежде чем переписать, слово в слово, на лист писчей бумаги "Клерфонтен", на которой я пишу уже несколько дней.

— И вам не кажется, что стоит предупредить вашу жену о том, что Данни пользуется документами на ее имя?..

Я почувствовал, что он “раскололся” — еще никогда это жаргонное слово не казалось мне таким точным. Когда я вспоминаю сегодня тот миг, мне кажется даже, будто я вижу сеть мелких трещин на его лице. Он был так взволнован, что мне захотелось его успокоить. Нет, все это было решительно неважно.

— Если бы вы могли забрать у нее ту карту резидента, на имя моей жены, это бы мне сильно помогло...

Он знал прекрасно, что я не из шпаны. В конце концов, те два или три раза, когда мы встречались после его занятий у корпуса Санзье, мы говорили о литературе. У него были довольно глубокие познания о Бодлере, он даже попросил почитать ему мои заметки о Жанне Дюваль.

— Ей она в любом случае уже не нужна — ведь они сделали фальшивые документы... Только не говорите ей, что я вам об этом сказал...

Он был до того взволнован, что я решил оказать ему эту услугу, слабо представляя еще, каким образом. Копаться у нее в сумочке мне было как-то совестно. Раньше, когда я ходил с ней на почту, она показывала служащему в окошке какой-то документ. Была ли это карта резидента? На чье имя? На имя Мишель Агхамури? Или на то имя, что значилось в фальшивых бумагах, которые сделала ей эта банда из отеля “Юник”? И кто из них оказал ей такую услугу? Поль Шастанье, Дювельц, Жерар Марсиано? Я скорее думал на Жоржа, самого старшего из всех, человека с лунным лицом и “холодными флюидами”, которого я опасался и о котором Поль Шастанье сказал, когда я спросил про него: “Знаете, вот уж кто точно не пай-мальчик...”

— Если не ошибаюсь, у вас с женой квартира недалеко от Дома радио?..

Я думал, что вопрос покажется ему слишком нескромным. Но нет. Он улыбнулся и, похоже, почувствовал облегчение, оттого что я перевел наш разговор на эту тему.

— Да, совсем небольшая квартирка... Я бы с удовольствием пригласил вас в гости, познакомиться с моей женой... но с тем условием, что вы забудете, что я часто вижусь с Данни и с остальными и что бываю в отеле “Юник”, на то время, пока мы будем там...

Он произнес слово “там”, точно имя далекой земли, укрытой от всех опасностей.

— В сущности, достаточно перейти Сену, чтобы забыть обо всем, что оставил на том берегу.

— Вы правда так думаете?

Я видел, что он ищет поддержки. Полагаю, он испытывал ко мне некое доверие... Всякий раз, когда мы сидели вдвоем или когда шли от площади Монж до Монпарнаса, мы говорили о литературе. С теми другими, из отеля "Юник", он явно не мог поговорить на эти темы. Слабо представляю, чтобы Поля Шастанье, или Дювельца, или Жоржа интересовала судьба Жанны Дюваль. Быть может, Марсиано? Однажды он сказал мне по секрету, что хотел заняться живописью и знает один "бар художников" на улице Деламбр: "Розовый бутон". Много лет спустя в папке, которую передал мне Ланглэ, я обнаружил ориентировку на Марсиано, с двумя антропометрическими снимками, в профиль и в фас, — "Розовый бутон" был упомянут там в списке мест, которые он часто посещал.

Агхамури поднял на меня взгляд.

— Я, увы, не верю, что достаточно перейти Сену...

Он снова улыбнулся той робкой улыбкой, готовой погаснуть через секунду.

— Да и не только Данни... Я тоже, Жан, угодил в ту еще переделку...

Он в первый раз назвал меня по имени, и я был тронут. Я не говорил ни слова, чтобы дать ему выговориться. Я боялся, что любое мое замечание сведет на нет его откровенность.

— Я боюсь возвращаться в Марокко... Там все будет в точности как в Париже... Однажды ступив в трясину, уже не вытащишь ногу...

О какой трясине он говорит? Тихо, почти шепотом и как только мог мягко, я все же задал вопрос, наудачу:

— Когда вы жили в студенческом городке, вы не чувствовали себя в безопасности?

Он нахмурил брови, как прилежный студент, решающий задачу, — наверняка он сидел так на занятиях в Санзье, стараясь убедить самого себя, что он всего-навсего обычный студент.

— Знаете, Жан, там была очень странная атмосфера, в марокканском корпусе... Постоянно полицейские проверки... За жильцами старались вести наблюдение, по политическим мотивам. Некоторые студенты были настроены оппозиционно к марокканскому правительству... и власти Марокко просили Францию установить за ними слежку... Вот так...

Судя по всему, он почувствовал облегчение, рассказав мне все это. Даже как будто переводил дух. Вот так. После такого вступления ему, конечно, будет легче перейти к главному.

— Если вкратце, мое положение было, так сказать, довольно щекотливым... Я оказался меж двух огней... Я виделся одновременно и с теми, и с другими... Можно было подумать,

что я веду двойную игру... Но все гораздо сложнее... В сущности, двойной игры не бывает...

Он наверняка был прав — так убежденно и веско произнес он эти слова. Любопытно, что последняя фраза прочно запомнилась мне. И еще многие годы, когда я гулял, в основном по ночам, в отдельных уголках Парижа, — один раз это было прямо у Дома радио, — мне порой слышался далекий голос Агхамури: "В сущности, двойной игры не бывает".

— Я был недостаточно осмотрителен... Я позволил затянуть себя в одно скверное дело... Знаете, Жан, некоторые из тех, кто часто бывает в отеле "Юник", тесно связаны с Марокко...

Постепенно зал наполнялся людским гомоном, и за столиками напротив нас ужинало уже гораздо больше посетителей. Агхамури говорил тихо, и я не все мог расслышать из его слов. Да, отель "Юник" был точкой, где встречались определенные люди из Марокко и французы, имевшие с ними "дела"... Но что это были за "дела"? У того Жоржа с лунным лицом, о котором Поль Шастанье сказал, что он далеко не пай-мальчик, был в Марокко собственный отель... Поль Шастанье долгое время прожил в Касабланке... А Марсиано родом оттуда... А сам он, Агхамури, оказался среди этих людей благодаря другу из Марокко, который часто бывал в студенческом городке, хотя на самом деле занимал пост в посольстве — он был советником по вопросам безопасности...

Он говорил все быстрее, и мне было сложно улавливать нить в потоке все новых подробностей. Может, он хотел сбросить с себя бремя, секрет, который слишком долго носил в себе в одиночку. Вдруг он осекся:

— Прошу прощения... Вам, должно быть, кажется, что это все не имеет отношения...

Вовсе нет. Я умел выслушивать людей. И даже когда совершенно не понимал, о чем мне говорят, я продолжал смотреть на собеседника во все глаза, проницательным взглядом, так что он был уверен, что нашел во мне внимательнейшего слушателя. Я мог думать совсем о другом, но не переставал пристально смотреть в глаза, точно жадно ловлю каждое его слово. Но с Агхамури все было иначе. Поскольку он был из тех, кто окружал Данни, я старался понять все. И надеялся, что он обронит пару слов о той "грязной истории", в которую, как он сказал, замешана Данни.

— Вам повезло... Вам не приходится копаться в этой грязи, как нам... У вас еще чистые руки...

В его последних словах будто звучал укор. Что он хотел сказать этим "нам"? Ему и Данни? Я взглянул на его руки. Ки-

сти были тонкие, гораздо тоньше моих. И очень белые. Помню, руки Данни тоже поразили меня своим изяществом. У нее были очень узкие запястья.

— Главное, остерегаться опасных встреч... Как бы нам ни казалось, что мы неуязвимы, всегда найдется брешь в броне... Всегда... Будьте осторожны, Жан!..

Можно было подумать, он завидует, что у меня "чистые руки", и ждет часа, когда я кончу тем, что тоже выпачкаю их. Его голос все отдалялся. И теперь, когда я пишу эти строки, доносится до меня так же слабо, как голос диктора по радио, пробивающийся поздней ночью сквозь ворох помех. Думаю, уже тогда у меня было это чувство. Мне кажется, в то время я видел их всех будто через стекло аквариума, разделявшее нас, их и меня. Так во сне вы видите, как остальные переживают неопределенность настоящего, но вы-то — вы знаете, что будет. И вот вы пытаетесь уговорить Мадам дю Барри не возвращаться во Францию, где ее ждет гильотина. Я решаю сесть на метро сегодня вечером и поехать до улицы Жюсьё. По мере того как будут пробегать мимо станции, время отмотает годы вспять. Я отыщу Агхамури за тем же столиком рядом со стойкой, в том же бежевом пальто и с черным портфелем, лежащим плашмя на столе, — я все время думал, правда ли в нем материалы к занятиям в Санзье: для экзамена по "пропедевтике", как он мне сказал. Я бы не удивился, достань он оттуда пачки банкнот, револьвер или собранный на кого-то компромат, который нужно передать тому марокканскому другу из студенческого городка, занимавшему, по его словам, пост "советника" в посольстве... Я поведу его на станцию Жюсьё, и мы вместе проделаем обратный путь во времени. Мы выйдем на другом конце ветки, на станции Эглиз д'Отёй. Вечер спокоен, площадь почти по-деревенски тиха. Я скажу ему: "Ну вот. Вы в современном Париже. Вам больше нечего бояться. Все, кто желали вам зла, давно умерли. Для них вы недосягаемы. Больше нет телефонных будок. Чтобы позвонить мне в любое время, используйте этот предмет". И протяну ему мобильный телефон.

— Да... Будьте осторожны, Жан... Я много раз видел, как вы говорили с Полем Шастанье, когда заходили в отель "Юник"... Смотрите, он и вас затянет в грязную историю...

Было уже поздно, зрители выходили из театра "Лютеция". За столиками напротив не осталось никого. Агхамури казался еще тревожнее, чем в самом начале нашей встречи. Такое чувство, что он боится выйти из кафе и просидит здесь до самого закрытия.

Я снова задал вопрос:

— А Данни?.. Вы и правда думаете, что та “грязная история”, о которой вы говорите...

Он не дал мне закончить. Резким тоном он произнес:

— Это может ей дорого обойтись... Даже с фальшивыми документами они могут ее засечь... Не надо было мне приводить ее в отель “Юник”, не надо было знакомить с остальными... Но я просто хотел дать ей передышку... А нужно было сразу уезжать из Парижа...

Он забыл обо мне и о моем присутствии. Наверное, каждую ночь он повторял одно и то же, в этот самый час, оставшись наедине с собой. Потом он тряхнул головой, как бы пробуждаясь от дурного сна.

— Я говорил вам о Поле Шастанье... Но самый опасный среди них все-таки Жорж... Это он достал Данни документы. У него мощные связи в Марокко и контакты с тем другом из посольства... Они хотят, чтобы я оказал им одну услугу...

Он чуть было не доверился мне полностью, но спохватился в последний момент.

— Я не понимаю, зачем искать их общества такому молодому человеку, как вы... У меня-то нет выбора. Но вы?

Я пожал плечами.

— Знаете, я и не ищу ничьего общества. Большинство людей мне безразличны. Кроме Ретифа де ла Бретонна, Тристана Корбьера, Жанны Дюваль и еще немногих других.

— В таком случае, вам повезло...

И как полицейский, желая выманить признание, заговорщически подмигивает подозреваемому, так и он сказал вдруг:

— А ведь признайтесь, это все из-за Данни, да? Если бы вы попросили совета, я бы сказал, что вам лучше порвать с этой девушкой...

— Я никогда не слушаюсь советов...

Я постарался улыбнуться, по возможности искренне.

— Будьте осторожны... Мы с Данни вроде зачумленных... общаясь с нами, вы рискуете подхватить чуму...

В общем, он хотел подчеркнуть, что между ними есть тесная связь, нечто сближающее их, что-то вроде сообщничества.

— Не беспокойтесь так из-за меня, — ответил я.

Когда мы вышли из кафе, была почти полночь. Он, в бежевом пальто и с портфелем в руке, держался очень прямо.

— Прошу прощения... Я сегодня наговорил много лишнего... Не принимайте это всерьез, и не обращайте на мои слова внимания... Это, должно быть, из-за сессии. Я не высыпаюсь... Через пару дней сдавать устный экзамен...

К нему вернулось его достоинство и серьезный студенческий тон.

— В устных дисциплинах я гораздо слабее, чем в письменных.

Он изобразил улыбку. Я предложил проводить его до станции Жюсьё.

— Вот я бестолочь! Даже забыл предложить вам поужинать!

Это был совершенно другой человек. Он снова полностью владел собой.

Мы перешли площадь спокойным шагом. До последнего поезда еще было время.

— Главное, не берите в голову то, что я говорил про Данни... Все не так уж серьезно... К тому же, когда кто-то тебе дорог, невольно принимаешь все близко к сердцу и только напрасно переживаешь по малейшему поводу...

Он говорил четко, с расстановкой, взвешивая каждое слово. Мне вспомнилось меткое выражение: он старался спрятать концы в воду.

Он уже подходил к эскалатору, чтоб спуститься на станцию. Я не удержался и спросил:

— Вы будете ночевать в отеле “Юник”?

Вопрос застал его врасплох. Он секунду помедлил:

— Не думаю... Вообще, мне снова дали комнату в студенческом городке... Там все-таки гораздо удобнее...

Затем пожал мне руку. Судя по тому, как быстро он спускался по эскалатору, он хотел уйти от меня поскорее. Уже сворачивая в переход, он оглянулся, будто боялся, что я пойду за ним следом. А мне хотелось. Я представлял, как мы сидим рядом на платформе, на скамье гранатового цвета, и ждем поезда, который долго не появляется из-за того, что час уже поздний. Он солгал мне, он ехал не в студгородок, иначе бы сел на другую ветку, ту, где станция Порт д’Итали. Он возвращался в отель “Юник”. На Дюрок он сойдет. Я в очередной раз пытаюсь узнать, в какую “грязную историю” замешана Данни. Но он не отвечает мне. Здесь, в метро, на скамье, он даже делает вид, будто мы незнакомы. Он заходит в вагон, за ним закрываются двери, и, прислонившись лбом к стеклу, он глядит на меня потухшими глазами.

В ту ночь я пошел домой пешком. Путь до моей квартиры на улице Од был неблизкий, так что я легко мог блуждать в собственных мыслях. Если Данни приходила ко мне туда, то, как правило, около часу. Иногда она говорила: “Я заходила повидаться с братом” или: “Я была у своего ранелагского друга”,

не вдаваясь в подробности. Из того немногого, что я, казалось, уловил, выходило, что брат — она иногда называла его Пьер — в Париже не живет, но часто сюда наведывается. А "ранелагский друг" звался так потому, что жил где-то недалеко от сада Ранелаг. Если встретиться с братом она никогда не предлагала, то про "ранелагского друга" часто говорила, что как-нибудь познакомит нас. Дни все шли, но обещанья она не выполняла.

Может, Агхамури и не солгал мне, и, пока я шагаю по улице Од, он уже давно вернулся в свою комнату в студенческом городке. А Данни? Слова Агхамури до сих пор отдавались у меня в голове слабнущим эхом: "Она совершила нечто серьезное... У нее могут возникнуть серьезные проблемы..." И я боялся этой ночью прождать ее попусту. На самом деле, я часто ждал ее прихода ночами, но ни разу не был уверен, что она придет. А бывало, она приходила нежданно, под утро, часа в четыре. Я спал чутким сном и вдруг просыпался, разбуженный поворотом ключа в замочной скважине. Вечера, когда я не покидал своего квартала, ожидая ее, тянулись долго, но мне это казалось в порядке вещей. Я жалел тех, у кого каждый день расписан, так что некоторые встречи приходится планировать вперед за пару месяцев. У них все рассчитано и учтено, они никого не станут ждать. Им никогда не узнать, как время дрожит, ширится и потом вновь замирает, даруя ощущение праздности и вечности, которое иные ищут в наркотике, а я — нахожу в простом ожидании. В сущности, я был почти уверен, что ты придешь, рано или поздно. Где-то в восемь вечера я слышал, как соседка запирала дверь и как ее шаги затихали на лестнице. Она жила на этаж выше. У нее на двери была небольшая картонная табличка, где красными чернилами было выведено ее имя: Ким. Ей было примерно столько же, сколько нам. Она играла в какой-то пьесе и однажды призналась мне, что очень боится опоздать и прийти, когда уже поднимут занавес. Она подарила нам билеты, и мы с Данни сходили в один из тех театров на бульварах — теперь его уже нет. Каждый день — кроме понедельника — ее ждало такси: ровно в восемь, а по воскресеньям в два часа дня, перед домом номер 28 по улице Од. Я видел в окно, как она выходила, в куртке на меху, и, сев в автомобиль, хлопала дверцей. Шел январь, стоял жуткий мороз, потом еще всю улицу покрыло снегом, и несколько дней мы прожили вдали от Парижа, в альпийской деревушке. Я уже не помню ни названия спектакля, ни сюжета. Она появилась на сцене после антракта. В черный блокнот я записал одну из реплик ее героини и точное время — двадцать один час сорок пять минут, — когда

она ее произнесла. Если бы меня тогда спросили, зачем, я думаю, что не смог бы внятно ответить. Но сегодня я понимаю: я делал засечки, мне нужны были ориентиры, названия станций метро, номера домов, родословные собак, будто я боялся, что все люди и вещи могут в любой миг пропасть из вида или исчезнуть и надо сохранить хотя бы свидетельство того, что они существовали.

Каждый вечер я знал, что где-то в двадцать один час сорок пять минут она скажет со сцены в зрительный зал:

“Как мало мы значили в жизни этого человека...”

И когда я пишу эту фразу теперь, полвека спустя — а то и век, я разучился считать годы, — чувство пустоты оставляет меня на какой-то миг. Такси ровно в восемь вечера, страх не успеть к занавесу, куртка на меху, потому что зима и снег, привычные, повседневные жесты, теперь забытые насовсем, пьеса, которую больше никто никогда не увидит, давно стихшие овации и смех, и сам театр, разрушенный уже давно... “Как мало мы значили в жизни этого человека...” В понедельник, когда она отдыхала, в ее окне вечерами тоже горел свет, и это меня успокаивало. В прочие дни я оставался один во всем доме. Порой у меня было чувство, что я теряю память и уже не понимаю, что здесь делаю. Пока не приходила Данни.

С ней мы гуляли по улицам, где прошло мое детство, по тем районам, которые сам я тогда обходил стороной из-за тягостных воспоминаний, — теперь же они не вызывают во мне никаких чувств, до того все в них переменилось. Мы прошли отель “Руаяль Сен-Жермен” и оказались у дверей гостиницы “Таранн”. Я увидел, как из гостиницы вышел тот самый писатель, которым я тогда восхищался и у которого одно из стихотворений называлось “Данни”. Кто-то за нашими спинами крикнул: Жак!.. — и он обернулся. Он удивленно посмотрел на меня, решив, что это я окликнул его по имени. Мне хотелось воспользоваться случаем, пойти ему навстречу и пожать руку. Я бы спросил его тогда, почему он назвал стихотворение “Данни”, — может, он тоже знал девушку с таким именем. Но я не осмелился. Наконец другой мужчина подошел к нему, еще раз назвав его Жак... — и тогда он понял ошибку. Мне даже показалось, что он улыбнулся мне. Вдвоем они пошли перед нами вдоль бульвара, в сторону Сены.

— Ты должен пойти поздороваться с ним, — сказала мне Данни. Она даже предложила заговорить первой, вместо меня, но я ее удержал. Да и было уже поздно — они свернули налево, на бульвар Распай. Мы сделали крюк и снова вышли к гостинице “Таранн”.

— Почему ты не напишешь ему письмо, не назначишь встречу? — спросила меня Данни.

Нет уж. В следующий раз я поборю свою скромность, подойду и пожму ему руку. Но — увы — я больше ни разу не видел его, а много лет спустя к тому же узнал от одного из его друзей, что, когда кто-то жал ему руку, он смотрел со скучающим видом и говорил: “Снова пять пальцев?”. Да, порой жизнь монотонна и банальна, как сейчас, когда я пишу эти строки, стараясь найти бреши во времени, чтоб сбежать через них. Мы сидели вдвоем на скамейке, на аллее бульвара, между воротами гостиницы “Таранн” и стоянкой такси. Через год я узнаю, что на этом самом месте, прямо на тротуаре перед нами было совершено преступление. Марокканского политического деятеля посадили в машину — будто бы полицейскую — и увезли, сначала это проходило как похищение, затем как преступление. И имя Жоржа, так часто бывавшего в холле отеля “Юник”, мелькало на страницах газет в качестве имени одного из действующих лиц, так что я ждал появления там же Поля Шастанье, Дювельца, Жерара Марсиано и Агхамури — я бы очень хотел узнать его мнение по поводу всего этого. Но мне было страшно, и я вспоминал, что он сказал мне тогда, в кафе у театра “Лютеция”: “Мы вроде зачумленных... Общаясь с нами, вы рискуете подхватить чуму...” Как-то раз, днем, я забрел далеко на запад, к самому Отёй, и зашел в телефонную будку. Расстояние придало мне смелости. Казалось, что отель “Юник” где-то в другом городе. Я набрал номер марокканского корпуса, который Агхамури дал мне еще при первой нашей встрече, вместе с Данни, — я записал его в блокнот: POR 58—17. Едва ли он все еще живет в той комнате. Я слышал, как глухо звучит мой собственный голос:

— Могу я поговорить с Гхали Агхамури?

На том конце молчали. Я чуть было не бросил трубку. У меня вдруг закружилась голова, как бывает с тем, кто хочет спрятаться, но вместо этого вдруг бежит навстречу опасности.

— А кто его спрашивает?

Вопрос был задан сухим тоном полицейского инспектора.

— Друг.

— Я спросил ваше имя, мсье.

Я чуть не поддался нахлынувшей слабости: сказать ему мое имя, фамилию, адрес... Я вовремя удержался.

— Тристан Корбьер.

Молчание. Должно быть, он записал.

— И зачем вам нужно говорить с Гхали Агхамури?

— Потому что я хочу поговорить с ним.

Я тоже взял твердый тон. Гораздо тверже его.

– Гхали Агхамури больше не живет в марокканском корпусе. Вы слышите меня, мсье? Вы слышите?

Теперь уже я молчал в трубку. И я почувствовал, как мой собеседник на том конце забеспокоился и даже встревожился из-за моего молчания. Я повесил трубку. Впоследствии я часто проходил мимо отеля "Руаяль Сен-Жермен" и гостиницы "Таранн", но ни того ни другого уже не было, будто кто-то нарочно старался убрать обстановку, в которой совершалось преступление, чтобы о нем забыли. Когда я шел там на прошлой неделе, то не было даже скамейки напротив стоянки такси, где мы с Данни сидели в тот вечер.

– Это глупо... Я могла прямо сейчас подойти и сказать ему, что меня зовут Данни, как его стихотворение.

Она рассмеялась. Судя по тому, что я читал у него, да и по его добродушному виду, он бы, конечно, уделил нам пару минут. Иногда, шагая по улице один, я читал вслух его строки:

Когда умру, пускай моя вдова
Придет в Жавель, что близ пивной Ситрон...

Церковь Святого Христофора в Жавель. Мы только что вернулись из того района, я, как всегда, ходил с Данни на почту. Всю дорогу я хотел рассказать ей о том, что мне говорил Агхамури, про упомянутую им "грязную историю", которая как-то должна касаться Данни, но я никак не мог подыскать нужных слов, а вернее, правильного тона, чтоб это звучало легко, почти в шутку, и не вспугнуло ее... Я боялся, что она "соскочит", как говорят в определенных кругах: вроде того, что собирается в отеле "Юник", – и потому в воздухе висела неловкость.

Мы уже дошли до поворота на улицу Ренн, ведущую прямо на Монпарнас. Но на самом пороге этой длинной печальной улицы, раздвинутой, как подзорная труба, до самого горизонта – черноватая громада Монпарнасской башни в ту пору еще не омрачала ее, – я на минуту замялся. Я спросил ее, так ли ей непременно нужно вернуться в отель "Юник".

– Нужно увидеться с Агхамури, – сказала она, – он должен передать мне кое-какие документы.

Вот и момент, чтобы наконец расставить все по местам. Еще пару секунд я медлил, а потом:

– А что за документы? На имя Мишель Агхамури?

Она глядела на меня, точно окаменев, стоя недвижно на тротуаре, напротив того места, где сейчас магазин "Моно-

при", а тогда был заброшенный парк, служивший прибежищем для сотен бездомных кошек.

— Это он тебе сказал?

— Да.

Лицо ее стало твердым, и я подумал об Агхамури. Если бы он стоял сейчас здесь, она задала бы ему трепку. Но потом она пожала плечами и заговорила, уже равнодушно:

— Да, это может показаться странным, но вообще все совершенно естественно... Мишель одолжила мне свой студенческий... Я потеряла все документы, а новые просто так не сделать, нужно сперва столько всяких формальностей пройти, чтоб получить свидетельство о рождении... Я же родилась в Касабланке...

Что это, совпадение? И она тоже связана с Марокко.

— Он еще объяснил мне, что кто-то сделал тебе фальшивые документы.

Я сказал "кто-то", потому что не знал, как по-настоящему зовут того человека с лунным лицом, которого все называли Жорж, и было непонятно, то ли это имя, то ли кличка, а может и вовсе фамилия.

— Да нет же, никакие они не фальшивые... Ты имеешь в виду Рошара? Того, который часто в холле сидит?

— Я про того, которого все зовут Жорж...

— Да, это он же, — сказала она, — Рошар... Он часто ездит в Марокко... У него гостиница в Касабланке... Ну и так как я там родилась, он смог мне оформить временные документы... Пока я не получу обычные...

Мы не пошли по улице Ренн. Может, и ей самой эта хмурая улица и перспектива вернуться в отель "Юник" внушали недоброе предчувствие.

Мы пошли в сторону Сены.

— Агхамури сказал, что тебе нужны были фальшивые документы, потому что ты оказалась втянута в грязную историю...

Мы теперь шли мимо школы изящных искусств. Ученики толпились на тротуаре. Они что-то праздновали. Некоторые были с музыкальными инструментами в руках, другие — в костюмах: мушкетеров, каторжников или просто с обнаженным торсом, изрисованным разными красками. На манер индейцев.

— Он так и сказал: "в грязную историю"?

Она смотрела на меня, нахмурив брови. Казалось, она не понимает. Студенты вокруг нас заиграли на инструментах, что-то выкрикивали... Я пожалел о словах, которые произнес: фальшивые документы, грязная история. А ведь мы могли бы быть совсем как эти славные ребята, которые обступи-

ли нас и не давали прохода. Они зазывали нас на свой бал, этой ночью. Бал Четырех Искусств. Мы с трудом пробрались сквозь толпу, и их крики и музыка постепенно затихли где-то позади.

— Агхамури еще и попросил, чтоб я забрал у тебя ту карту на имя жены, которую он тебе передал.

Она захохотала, и я не мог понять, притворяется она или нет.

— А потом вдобавок сказал, что я замешана в грязную историю? И ты всему поверил, Жан?

Мы шли вдоль набережной, и я был рад, что теперь не придется идти по угрюмой и тесной улице Ренн. Здесь, по крайней мере, было чем дышать, был простор. И совсем мало машин. Тишина. Мы слышали звук собственных шагов.

— Он что попало говорит... Это он, на самом деле, угодил в грязную историю... Он тебе не говорил?

— Нет.

Все это было неважно. Значение имело лишь то, что мы идем вдоль набережной, ни у кого не спрашиваясь и ничего не оставив позади. Мы можем перейти Сену и затеряться в чужих кварталах, и даже покинуть Париж, чтоб уехать к другим городам, к новой жизни.

— Они хотят его использовать, чтоб заманить в ловушку одного марокканца, который часто бывает в Париже. Он не то чтобы согласен; но уже увяз в этом... Он не может им отказать...

Я едва слушал, что она говорит. Мне хватало того, что мы идем рядом, по набережной, и того, как звучит ее голос. Персонажи третьего плана из отеля "Юник" на самом деле интересовали меня мало: Шастанье, Марсиано, Дювельц и тот, по имени Рошар, которого все звали Жорж, — я заставляю себя повторять их имена, чтоб они не стерлись из моей памяти окончательно.

— А ты? — спросил я. — Ты тоже вынуждена с ними встречаться?

— Вовсе нет... Это Агхамури меня познакомил с ними. А так я с ними ничего общего не имею.

— Даже с Рошаром?

Я заставил себя задать этот вопрос. Сам Рошар, которого называли Жорж, был мне так же безразличен, как и остальные.

— Я просто попросила его о небольшой услуге... и все...

— А там тебя тоже зовут Данни, на фальшивых документах?

— Не смейся надо мной, Жан...

Она взяла меня под руку, и мы пошли по Королевскому мосту. Не знаю почему, но мне всегда становилось легко, когда я шел по нему над Сеной, переходя на правый берег.

На середине моста она остановилась и сказала:

— Фальшивые они или нет, неужели ты правда считаешь, что это хоть что-то для нас меняет?

Нет. Ровно ничего. В то время я и сам не был уверен, кто я такой, почему же она должна знать о себе больше? Даже сегодня у меня есть сомнения, что мое свидетельство о рождении верно, и я до конца дней буду ждать, что кто-нибудь принесет мне некогда утерянные бумаги, в которых указаны мое настоящее имя, дата рождения и имена настоящих родителей, о которых я никогда и не слышал.

Она прильнула ко мне и прошептала на ухо:

— Опять задаешь слишком много вопросов...

Мне кажется, она была неправа. Это сегодня, десятилетия спустя, я пытаюсь расшифровать те сигналы морзянки, которые шлет мне из прошлого загадочный собеседник. А тогда я довольствовался тем, что жил сегодняшним днем, не ставя лишних вопросов. А те немногие, что я ей и задавал — всегда без особой настойчивости, — она оставляла без ответа. Лишь однажды вечером — да и то сказала полслова. Только спустя двадцать лет я узнал из папки, которую передал мне Ланглэ, в какую же "грязную историю", говоря словами Агхамури, она была замешана. Он уточнил тогда, что это "нечто серьезное". Да, это было серьезно. Речь даже шла о смерти человека.

Сегодня вечером я листал материалы из папки Ланглэ и снова наткнулся на тот листок из тонкой бумаги с детальным отчетом, который и переписываю: "На теле жертвы имеются следы от двух пуль. Один выстрел был произведен в упор, другой со среднего расстояния... Были найдены две гильзы, соответствующие обеим пулям..." У меня не хватает духа переписать до конца. Я еще вернусь к нему, в другой раз, когда за окном будет светлей, когда солнце и чистое синее небо разгонят тени.

Мы шли через Тюильри. Я вспоминаю время года. Сейчас, когда я пишу все это, мне кажется, что был январь. Я вижу полосы снега в саду Каррузель и даже на тротуаре, по которому мы идем, вдоль границы Тюильри. Впереди нас в темных арках улицы Риволи фонари укутаны светящимися облаками тумана. И все же я сомневаюсь: это могло быть и в начале осени. На деревьх в Тюильри еще были листья. Скоро они опадут, но осень для меня не связана с концом. Я думаю, что год начина-

ется в октябре. Зима. Осень. Времена года путаются и подменяют друг друга в памяти, как если б они в течение года жили своей жизнью, как растения, и никогда бы не застывали мертвыми образами. Да, они то и дело мешаются между собой: зимние оттепели, бабье лето после первых осенних холодов... Когда мы подходили к аркам, зарядил дождь, очень сильный, скорее даже внезапный летний ливень.

— Ты правда считаешь, что я похожа на того, кто замешан в грязной истории?

Она повернулась ко мне лицом, чтоб я повнимательней рассмотрел его, и взглянула мне прямо в глаза, так искренне...

— Будь я замешана в грязной истории, я бы сказала тебе...

Я до сих пор слышу эти слова по ночам, когда не могу уснуть. Я записал их в черный блокнот. Видно, у меня все же было какое-то подозрение, раз я вывел их черным по белому. Почему она мне ничего не сказала? Только однажды, полунамеком, когда мы вечером выходили из Лионского вокзала, — тогда я не обратил внимания на ее слова. Может, она боялась испугать меня этим, но тогда она плохо меня знала. Уже не помню, у кого из писателей-моралистов, которых я читал во времена улицы Од, было сказано, что мы всегда должны принимать тех, кого любим, такими, какие они есть, и, в особенности, никогда не требовать у них отчета.

— Знаешь, — сказала она, — скоро я совсем порву с этой шантрапой из отеля "Юник".

Она очень следила за своей лексикой и даже за произношением, но порой у нее проскакивали такие жаргонные словечки, что некоторых я и сам не знал, и тогда я записывал в черный блокнот: халупа, скопытиться, легаши, чапать... Там же, на одной из страниц в черном блокноте, я нашел в скобках фразу: "Шантрапа из отеля 'Юник'" — возможно, я тогда подумывал использовать ее в качестве названия для романа.

— Ты права, — сказал я, — если что, всегда есть те, кто пишет тебе до востребования.

Я сказал это с иронией, о чем тут же пожалел. Но в конце концов она первая произнесла "шантрапа из отеля 'Юник'" с издевкой.

Внезапно она погрустнела.

— В основном это пишет мой брат... — проговорила она быстро, надтреснутым голосом, которого я раньше не слышал у нее, и в этом признании было столько искренности, что я тут же рассердился на себя, что прежде сомневался в существовании брата, с которым она никак не хотела меня знакомить.

Почта, отдел до востребования. В папке Ланглэ был листок белой бумаги, порядком испачкáнный, который напоминал карточку гражданского состояния. Сегодня вечером я снова разглядываю его в надежде, что мне откроется его тайна: на снимке из фотоавтомата, прикрепленном к нему с левого края, я узнаю Данни, только волосы у нее короче. Но при этом сама карточка выдана на имя Мирей Сампьерри, проживающей по адресу Париж, 9-й округ, ул. Бланш, дом 23. Выдана она в год перед нашим знакомством, и надпись на ней гласит: "Сертификат дает право на получение без дополнительных сборов писем и телеграмм в отделе до востребования". Но при этом здесь указано не отделение на улице Конвента, куда я часто ходил вместе с ней, а некое "почтовое отделение № 84", улица Баллю, 31, в Девятом округе. На сколько адресов приходили ей письма до востребования? И как эта карточка оказалась в руках Ланглэ или его сотрудников? Данни оставила где-нибудь? А это имя, Мирей Сампьерри, разве не его называл Ланглэ на первом моем допросе? Удивительно, как отдельные детали вашей собственной жизни, которых вы вовсе не замечали в свое время, вдруг всплывают лет двадцать спустя — так, разглядывая под лупой старую фотографию, вдруг натыкаешься на какой-то предмет или чье-то лицо, на которое прежде ни разу не обращал внимания...

Она потянула меня направо, под арки улицы Кастильон.

— Пойдем, я приглашаю тебя на ужин... Тут недалеко... Можем дойти пешком...

В тот час квартал был пуст, и гул наших шагов раздавался под сводами арок. Вокруг нас воцарилась такая плотная тишина, которую не мог нарушить шум автомобиля, — только стук лошадиных копыт и скрип повозки. Не знаю, тогда ли мне пришла эта мысль или только теперь, когда я пишу эти строки. Мы затерялись в ночном Париже Шарля Кро и его пса Сатэна, Тристана Корбьера, и даже Жанны Дюваль. У оперы ездили автомобили, и мы снова вернулись в Париж XX века, который теперь мне кажется таким далеким... Мы пошли по шоссе д'Антен, в конце которого была церковь с мрачным фасадом, — точно громадная птица присела отдохнуть.

— Мы почти пришли, — сказала она, — это на улице Бланш, в самом начале...

Прошлой ночью мне снилось, что мы идем тем самым путем, — наверное, из-за того, что я писал вечером. Я слышал ее голос: "Это на улице Бланш, в самом начале", и я повернулся к ней и сказал:

"В доме 23?"

Но она, казалось, не слышала. Мы шли обычным шагом, она держала меня под руку.

— Я знал одну девушку, по имени Мирей Сампьерри, и она жила на улице Бланш, в доме 23.

Ничто не дрогнуло в ее лице. Она продолжала молчать, как если бы я ничего не сказал или мой голос не мог преодолеть того времени, что нас разделяло.

Но в тот вечер я еще не знал этого имени, Мирей Сампьерри. Мы шли мимо сквера Троицы.

— Сейчас увидишь... Я очень люблю это место... Я сюда часто ходила, когда жила на улице Бланш...

Я помню, что мне тут же вспомнилась по ассоциации баронесса Бланш. За пару дней до этого я как раз делал записи о ней, переписывал в черный блокнот страницу из книги о Париже при Людовике XV: там был отчет, в котором приводилось то немногое, что мы знаем о беспорядочной и богатой на приключения жизни этой женщины.

— А знаешь, почему улица так называется? — спросил я ее. — В честь баронессы Бланш.

Накануне она поинтересовалась, что я пишу в блокноте, и я прочитал ей свои заметки об этой женщине.

— Выходит, я жила на улице баронессы Бланш? — улыбнулась она.

Ресторан находился на углу улицы Бланш и небольшого переулка, выходящего к церкви Троицы. Занавески на окнах, смотрящих на улицу, были задернуты. Она вошла первой, как входят в привычное место. В глубине зала располагался внушительный бар, справа и слева от него шли ряды круглых столиков с белыми скатертями. Стены были бордового цвета из-за приглушенного занавесками солнца. Посетителей в зале было только двое — мужчина и женщина — за столиком у самой стойки, за которой стоял брюнет лет сорока.

— О, это ты... — сказал он Данни, будто был удивлен ее приходом.

Она, казалось, немного смутилась.

— Меня все это время не было в Париже... — ответила она.

Он коротко кивнул мне в знак приветствия. Данни представила меня:

— Это друг.

Он проводил нас за столик ближе к дверям — может, чтобы мы чувствовали себя свободнее, подальше от той пары. Хотя они почти не говорили или говорили очень тихо.

— Здесь хорошо, — сказала она. — Надо было привести тебя сюда раньше...

В первый раз я видел ее такой — расслабленной, спокойной. Куда бы я ни провожал ее, в каком бы уголке Парижа она ни оказывалась, всегда в ее взгляде читалось затаенное беспокойство.

— Я жила немного выше по улице... в гостинице... когда съехала с квартиры на Феликса Фора...

Я пишу это сейчас, перечитывая ту карточку: “Мирей Сампьерри, проживает по адресу: Париж, 9-й округ, ул. Бланш, д. 23”. Но в доме 23 нет гостиницы, я проверял. Зачем же она тогда сказала, что живет в гостинице? К чему эта ложь на пустом, казалось бы, месте? А имя: Мирей Сампьерри? Слишком поздно, ее уже не спросить — разве только в моих снах, где времена мешаются, и я могу задавать ей любые вопросы о том, что узнал из папки Ланглэ. Но только без толку. Она не слышит меня, и тогда приходит странное чувство разлуки, какое бывает, когда снятся умершие друзья — а здесь, во сне, вот они, рядом с тобой.

— И чем же ты занималась все это время?

Он стоял у нашего столика. Перед каждым из нас он поставил по рюмке куантро, видимо, решив, что у нас должны совпадать вкусы.

— Я искала работу...

Он иронично поглядел в мою сторону, как бы говоря: ну-ну, этим меня не проведешь — и призывая меня в свидетели.

— Она нас даже не познакомила: Андре Фальве...

Он пожал мне руку, по-прежнему улыбаясь.

— Жан, — пробормотал я.

Я всегда чувствовал себя неловко, когда нужно было представляться и входить в чью-то жизнь таким грубым способом, почти по-военному, — все равно что вытянуться и отдать честь. Чтобы это было не так официозно, я старался не называть фамилии.

— Ну и как, нашла себе работу?

В его взгляде и в том, как он обращался с ней, сквозила скорее не насмешка, а ирония: так говорят с малым ребенком.

— Да... в канцелярии... вот вместе с ним...

Она показала на меня.

— В канцелярии?

Он покачал головой, изображая, что впечатлен.

— Тут некоторые интересовались у меня, где ты и как живешь. Даже расспрашивали на твой счет, но можешь быть покойна... У меня рот на замке... Я сказал им, что ты отправилась за границу...

— Ты все правильно сделал.

Она огляделась вокруг — наверное, чтоб убедиться, что все осталось прежним. Потом повернулась ко мне:

— Здесь так спокойно...

Из-за плотных красных занавесок, скрывавших входную дверь, ощущение было, будто сидишь в стороне от всех, в пещере, куда никому больше нет входа. Пара за столиком в глубине куда-то исчезла, так что я даже не заметил, и теперь никогда уже не узнать, кто они.

— Спокойно, это уж точно, — сказал он, — ты забыла, что сегодня мы закрыты.

Он направился в сторону бара и, прежде чем открыть дверь, вероятно, ведущую на кухню, сказал:

— Я никого не ждал к ужину... поэтому сразу говорю — чем богаты...

Она наклонилась ко мне, так что наши головы соприкоснулись. И прошептала:

— Он очень добрый... Ничего общего с теми, из отеля "Юник"... Можешь доверять ему полностью...

Тогда я не мог понять, почему она решила заверить меня в этом. Его имя, Андре Фальве, упоминается в материалах дела, которые передал мне Ланглэ, и как же это странно всякий раз, когда что-то проясняется о человеке, с которым столкнулся двадцать лет назад... Наконец разгадываешь шифр благодаря секретному коду и узнаешь, что же ты прожил на самом деле, ничего не понимая в происходящем, в полном замешательстве... Едешь куда-то в машине, а кругом ночь, и погашены фары — сколько не жмись лбом к стеклу, глаз ничего не выхватит, ни единой зацепки. Да и станешь ли в самом деле на ночном перегоне задаваться вопросами, где конечный пункт? Спустя двадцать лет едешь той же дорогой, но днем, и вот уже видишь весь пейзаж в деталях. Только что толку? Поздно уже, никого больше нет. Андре Фальве, член группировки "Стефани". Направлен в центральную тюрьму Пуаси. Занимался разведением собак в Поршвилле. Управляющий в "Каррол'с Бич" на мысе Гаруп (Лазурный берег). Ресторан "След зверя", бульвар Гувьен-Сен-Сир. "Ле Севинье", ул. Бланш.

— Надо почаще приходить сюда, — сказала она мне.

Мы бывали здесь еще несколько раз. Зал больше не пустовал, как в первый вечер, все столики были заняты странными посетителями — может, просто живущие неподалеку, думал я, а может, и нет. Многие из них сидели за барной стойкой и разговаривали с тем, кто назвался Андре Фальве. Некоторые из них упомянуты в бумагах Ланглэ. Фамилии, просто фамилии, которые я непременно перепишу сюда,

на всякий случай, но сейчас я не решусь. Сделаю это позже, для очистки совести. На всякий случай нужно слать сигналы, всегда. Свет был немного приглушенный, будто лампам не хватало мощности. Если, конечно, Фальве не решил нарочно сделать обстановку более камерной. Написав эту строку, я задумался. Такой же свет был в квартире на проспекте Феликса Фора, куда Данни привела меня как-то раз, и в загородном доме в Фёйёз, имении Барбери, когда стемнеет. Можно подумать, что лампы светят тусклее со временем. Но порой что-то щелкает. Вчера я был на улице один, и пелена прорвалась. Больше ни прошлого, ни настоящего, стоячее время. Все осветилось своим истинным светом. Было около восьми часов вечера, лето, и в конце улицы Бланш еще горело солнце. На тротуар перед рестораном вынесли пару столиков. Его двери были распахнуты настежь, и изнутри слышался гомон голосов. Мы сидели на улице, за одним из столиков, Данни и я. Мы моргали от низкого солнца.

— Я должна показать тебе гостиницу, в которой жила, это чуть выше по улице, — сказала она.

— В 23-м доме?

— Да. В 23-м.

И она не удивилась, что я знаю номер.

— Но ведь это не гостиница.

Она не отвечала, и это было совсем не важно. Она хотела, чтобы мы дошли до квартала раньше, чем сядет солнце. Но время было полностью в нашем распоряжении. Из-за того, что стояло лето и в десять было еще светло. Я даже подумал, что это белые ночи.

Я только что был в книжном магазине на улице Одеон. Уже стемнело. На полках с подержанными книгами я нашел роман в потрепанном красном переплете под названием “Конец мечтам”. Едва продавец за прилавком положил книгу в белый пластиковый пакет и передал мне, как стеклянная дверь отворилась и в магазин вошла женщина. Она не стала закрывать дверь, как бы не собираясь здесь задерживаться. Мулатка, где-то моих лет, высокая, в плаще цвета ржавчины, с расстегнутым поясом. В руке она несла матерчатую сумку. Подойдя к нам, она положила сумку на прилавок.

— Вы покупаете книги?

Она задала вопрос резко, выговаривая так, как говорили в парижских предместьях века полтора назад.

— Смотря какие, — ответил продавец.

— Меня послала одна пожилая дама... Я работаю на нее...

Она принялась выкладывать содержимое сумки: книги по искусству, тома из собрания Плеяды... К одному из них прицепилось колье и брошь – она бросила их обратно в сумку. Она все делало резко, и пару раз вместе с книгой вылетала купюра, которую она тут же подбирала и совала в карман плаща.

– А эта дама живет где-то неподалеку? – спросил продавец.

– Нет... Нет... В Семнадцатом округе. Это моя хозяйка...

– Тогда оставьте, пожалуйста, ее адрес, – сказал он.

– Это зачем еще?

Она говорила грубо, с вызовом. Это колье, брошь, купюры вперемешку с книгами, – все напоминало ограбление, совершенное впопыхах. Книги стопками лежали на прилавке.

– Так вы не хотите их брать?

– Прямо сейчас – нет, – ответил продавец.

Она раздраженно покидала их по одной обратно в сумку. Продавец внимательно смотрел на переплеты, будто стараясь разглядеть на них следы крови. Может, он думал, что эта женщина убила пожилую даму, которую назвала “своей хозяйкой”.

Она дернула плечом и вышла, не закрыв за собой дверь. Испугавшись, что упущу ее, я тут же пошел за ней следом.

Едва увидев ее в книжном магазине, я решил, что это перевоплощение Жанны Дюваль или даже сама Жанна Дюваль. Высокий рост, выговор, сумка, куда она скидывала без разбора украшения, книги, деньги, – все соответствовало тем немногим подробностям, которые я вычитал о ней и записал в свое время на страницах черного блокнота. Она шла впереди меня, метрах в десяти, слегка прихрамывая. Я мог бы легко догнать ее, но решил лучше идти следом, на расстоянии, чтоб убедиться, что это она. Пояс ее плаща болтался с обеих сторон, сумку она держала в левой руке, из-за ее тяжести отклоняясь телом направо. Фонари на фасадах домов не меняли с XIX века, и они горели тускло. Я боялся потерять ее из вида. На перекрестке с улицей Одеон она направилась к спуску в метро. Я ускорил шаг. В тот миг, когда она уже ступила на лестницу, я крикнул:

– Жанна...

Она обернулась. Взглянула на меня беспокойно, точно я застал ее с поличным. Какое-то время мы смотрели друг на друга, замерев на месте. Я хотел пойти ей навстречу и проводить до платформы, помочь донести сумку. Но немыслимо было пошевелиться. Ноги налились тяжестью, точно свинцом, как со мной часто бывает во сне. А затем она быстро спу-

стилась вниз. Она, наверное, боялась, что я побегу за ней. Должно быть, приняла меня за полицейского в штатском. Все еще под впечатлением, я сел у подножия памятника Дантону. Она сказала продавцу из книжного, что "ее хозяйка" живет в Семнадцатом округе. Ну да, это совпадало с последними свидетельствами, которые я имел о ней. Дата ее смерти так и осталась неизвестной, так что я думал, может, она никогда и не умирала. Впрочем, дату ее рождения мы также не знаем. Ее присутствие по-прежнему ощутимо в отдельных районах Парижа. Последнее свидетельство о ней принадлежит ее соседу, показавшему, что она живет в Семнадцатом округе, на улице Софруа. Это в глубине 17-го округа. На метро путь неблизкий. От Одеон она поедет до Севр-Бабилон, где пересядет. Потом до Сен-Лазар. Сойдет на Брошан. Я пообещал себе, что съезжу однажды на улицу Софруа. По крайней мере, у меня есть хоть какая-то засечка. Чего не сказать о тех, кого я знал во времена куда менее отдаленные, чем эпоха Жанны Дюваль, и чьи имена тоже записаны на страницах черного блокнота. Я не знаю, что с ними теперь. Думаю, что те, кого Данни назвала "шантрапой из отеля 'Юник'", уже умерли, по крайней мере Жорж, он же Рошар, и Поль Шастанье. Насчет Дювельца и Жерара Марсиано я не так уверен. От Агхамури я больше не получал вестей. И Данни исчезла совершенно. И все же я сделал на последней странице блокнота список тех подробностей, которые помнил и которые могли вывести меня на ее след. Потом я дописал туда то, чего сам не знал, но что нашел, просматривая папку Ланглэ. Однако мои изыскания оставались бесплодными, и через какое-то время я наконец забросил их. Я больше не строил иллюзий. Все это рано или поздно поглотит забвение.

* * *

С тех пор как я стал писать эти строки, мне кажется, что нашелся способ бороться с забвением. Нужно пойти в тот район Парижа, где не был уже тридцать, сорок лет, и провести там весь день, с обеда до вечера, но быть при этом настороже. Может, те, о ком мы думаем, вдруг покажутся на перекрестке, на дорожке парка или в дверях одного из домов, обступивших с трех сторон конец безлюдной улицы, образуя "сквер" или, что называется, "общий дворик". Они живут теперь потаенной жизнью, которая только и мыслима здесь, в тиши, вдали от центра. Хотя Данни я как раз-таки замечал в толпе, как мне пару раз казалось. Вечером, на Лионском вокзале, в толкотне уезжающих в отпуск, когда я сам должен был садиться на поезд. После полудня в субботу, на перекрестке,

где шоссе д'Антен пересекает бульвар, а народ толпится у дверей магазинов. Но всякий раз я ошибался.

Однажды утром, двадцать лет назад, я выходил из здания мирового суда Тринадцатого округа, куда меня вызывали, — была зима, где-то одиннадцать часов, и я стоял на тротуаре у площади Италии. Я не появлялся здесь с весны 1964-го, когда часто бывал в этом районе. Вдруг я понял, что у меня совсем нет денег, чтоб добраться до дома, ни на такси, ни даже на метро. Я нашел банкомат в переулке за мэрией, но, когда набрал код, вместо купюр он выдал мне сообщение. Надпись гласила: "Извините, у вас недостаточно прав". Я заново набрал код, и снова получил сообщение с тем же текстом: "Извините, у вас недостаточно прав". Я обогнул мэрию и снова оказался на площади Италии.

Судьба желала, чтоб я задержался здесь, и с ней не следовало спорить. Быть может, я так и не смогу никогда покинуть этот район, потому что у меня недостаточно прав. От солнца и чистого январского неба было легко. Небоскребов в 1964-м еще не было, и они растворялись в прозрачном воздухе, чтобы уступить место кафе "Лунный свет" и низким домам бульвара де ля Гар. И я бы скользнул в параллельное время, где никто уже не достанет меня.

Площадь Италии в сиреневом цвете павловний... Я повторял это вслух, и, признаться, на глазах у меня проступали слезы — или это от холода? Словом, я вернулся к исходной точке, и если бы в 1964-м существовали банкоматы, то мне они выдавали бы то же сообщение: недостаточно прав. В то время у меня не было никаких прав, никаких оснований. Ни семьи, ни определенного класса. Я терялся в парижском воздухе.

Я пошел к тому, что теперь заменяло кафе "Лунный свет". Мы подолгу засиживались за столиками в глубине, рядом со сценой для музыкантов, ничего не заказывая. Я обошел площадь кругом. Нужно снять комнату в какой-нибудь небольшой гостинице, может, в "Койпель", если она еще существует, или в той, другой — я забыл ее название, — которая рядом со школой искусств Гобелен. Тем временем я дошел до угла с авеню Сёр-Розали и повернул назад к мэрии, спрашивая себя, сколько еще раз я буду возвращаться на площадь, будто меня тянет туда магнитом. Я остановился перед террасой какого-то кафе. За столиком сидел пожилой мужчина и смотрел на меня через стекло. Я тоже не сводил с него взгляда. Лицо его кого-то мне напоминало. Довольно правильные черты. Седые — или белые — волосы пострижены ёжиком, но не коротко. Он махнул мне, приглашая войти и присоединиться.

Когда я вошел, он встал мне навстречу и подал руку.

— Ланглэ. Вы признали меня?

Я на секунду задумался. Но, должно быть, его военная выправка и это "вы признали меня" помогли мне вспомнить. К тому же мы никогда не забываем лица тех, кто встретился нам в трудный период жизни.

— Набережная Жевр...

Он, казалось, был удивлен, что я сказал именно это:

— Вижу, у вас шикарная память...

Он сел и указал мне стул напротив, предлагая сесть.

— Все это время я следил за вами, на расстоянии, — сказал он. — Даже прочел вашу последнюю книгу об этой... Жанне Дюваль...

Я не знал, что сказать на это. Потому повторил:

— Вы за мной следили?

Он улыбнулся, и я вспомнил, что он проявил ко мне тогда определенное участие.

— Да... следил за вами... Как-никак это была моя работа...

Он посмотрел на меня, сдвинув брови, как в прошлом веке, на набережной Жевр. Если не считать седины и прически, он не сильно изменился. На террасе было довольно прохладно, и он сидел, не снимая габардиновое пальто, которое вполне могло сохраниться с тех самых лет, когда он допрашивал меня.

— Полагаю, вы живете в другом районе... иначе я бы вас как-нибудь встретил...

— Да, в другом, — сказал я, — и сюда я не возвращался уже целую вечность... со времен набережной Жевр...

— Выпьете что-нибудь?

Официант стоял у нашего столика. Я чуть было не заказал куантро в память о Данни, но в кармане у меня было пусто, а угощаться за чужой счет было неловко.

— Да нет... Я так посижу, — промямлил я.

— Ну что вы!.. Возьмите что-нибудь.

— Тогда эспрессо.

— Мне то же самое, — сказал Ланглэ.

Повисла пауза. И был мой черед нарушить ее:

— А вы живете здесь?

— Да. Всю жизнь.

— По молодости я тоже хорошо знал этот район... Вы помните "Лунный свет"?

— Конечно. А что вы делали в "Лунном свете"?

Он сказал это тем же тоном, каким прежде допрашивал меня. И улыбнулся.

— Отвечать вы не обязаны. Мы теперь не у меня в кабинете...

Сквозь стекла террасы я видел ту часть площади Италии, которая осталась прежней под ярким солнцем и синим небом. Мне казалось, будто он только вчера допрашивал меня. Я улыбнулся в ответ:

— И когда вы хотите продолжить допрос?

Уверен, и он чувствовал то же самое. Время исчезло. Между набережной Жевр и площадью Италии прошло не больше дня.

— Забавно, — сказал он, — я много раз думал снова встретиться с вами... Даже звонил однажды в ваше издательство, но они отказались дать мне ваш адрес.

Он наклонился ко мне и сказал с прищуром:

— Заметьте... я мог бы и сам узнать ваш адрес... Такова была моя работа...

Он снова говорил сухо, голосом с набережной Жевр. Я уже не понимал, шутит он или нет.

— Только я не хотел надоедать вам... и причинять неудобства своей выходкой.

Он тряхнул головой, будто не мог решить, стоит мне говорить или нет. Я ждал, скрестив руки. Мне вдруг показалось, что роли сменились, что теперь я сижу за его рабочим столом и вот-вот начну допрос.

— Ну вот... и когда я уходил на пенсию, я забрал пару старых дел, на память... в том числе и дело о тех, из-за кого вас вызывали на допрос ко мне в отделение, на набережную Жевр...

Он был смущен, даже робок, будто только что признался мне в чем-то недостойном, что должно было меня возмутить.

— Если вам интересно...

Я подумал, что все это во сне. Мужчина вошел на террасу и, усевшись за столик, стал набирать номер на мобильном телефоне. Этот предмет в его руке убедил меня, что я не сплю и что мы оба с Ланглэ находимся в настоящем, реальном мире.

— Разумеется, мне интересно, — сказал я.

— Вот почему я хотел узнать ваш адрес... Я думал послать вам его почтой...

— Странные мы люди, — сказал я ему. — Я часто об этом думал тогда...

Меня тянуло объяснить ему, почему это дело почти полувековой давности так меня занимало. Некоторое время вам довелось жить — день за днем, ни о чем не спрашивая — среди странных людей и в таких же странных обстоятельствах. И лишь много позже наконец возникает возможность понять, что же ты прожил и кто были на самом деле все эти лю-

ди — но только если тебе дадут ключ, чтоб распутать этот сложный шифр. Большинству людей это незнакомо: их воспоминания просты, прямы и самодостаточны, чтоб истолковать их, не нужны десятки лет.

— Я понимаю, — сказал он, будто прочтя мои мысли. — Эта папка будет для вас как бомба замедленного действия...

Он взглянул на чек. Мне было, правда, неловко, что я не мог угостить его сам. Но я не решался признаться, что этим утром у меня было недостаточно прав.

Выйдя на улицу, на площадь Италии, мы оба стояли молча, Ланглэ и я. Он явно не хотел, чтоб мы разошлись так сразу.

— Я могу отдать вам его прямо в руки... Незачем связываться с почтой... я живу в двух шагах...

— Это очень любезно с вашей стороны, — сказал я.

Мы обошли площадь кругом, и он указал мне на небоскреб на углу авеню Шуази.

— "Лунный свет" здесь находился, — сказал он, показывая на низ небоскреба. — Отец часто водил меня сюда... Они с хозяйкой были знакомы...

Мы пошли по авеню Шуази.

— Я живу чуть дальше... Не бойтесь... километры шагать не придется...

Впереди показался сквер Шуази. Я хорошо помнил этот сквер, скорее похожий на парк, большое здание красного кирпича, которое называли Стоматологическим институтом, и женский лицей, в глубине. По другую сторону авеню, за небоскребами, низенькие дома, такие же, какими я их помнил. Надолго ли? Ланглэ остановился у дома перед поворотом в тупик, на первом этаже которого располагался китайский ресторан.

— Зайти я вам не предлагаю... мне будет неловко... у меня страшный беспорядок... Я мигом...

Оставшись на тротуаре один, я стал рассматривать голые деревья сквера Шуази и красную громаду Стоматологического института за ними. Мне всегда казалось, что это здание смотрится очень необычно в парке. В моих воспоминаниях сквер Шуази был не зимним, а весенним или летним, когда зелень деревьев контрастно выделяется на темно-красном фоне института.

— О чем вы задумались?

Я не слышал, как он вернулся. В руке у него была желтая пластиковая папка. Он протянул ее мне:

— Держите... вот ваше дело... довольно тонкое, но, может, вам будет интересно...

Мы оба медлили прощаться, и он, и я. Мне хотелось пригласить его пообедать.

— Не сердитесь, что я не пригласил вас к себе... квартирка крохотная, еще моих родителей... одно хорошо — вид на деревья...

Он показал на вход в сквер Шуази.

— Мы сейчас говорили о "Лунном свете"... Хозяйку убили вон там, в парке... Видите... дом из красного кирпича... Стоматологический институт...

Его захватило тягостное воспоминание.

— Они подвели ее к институту... поставили к стене, и выстрелили в спину... А потом поняли, что обознались...

Он видел все из окна?

— Это было, когда освобождали Париж... Вся их команда обосновалась в институте... сопротивленцы якобы... и капитан Бернар, и капитан Маню... и этот лейтенант, забыл, как его звали....

Я не знал об этом, когда шел тогда, давно, через сквер, чтоб встретиться у ворот лицея с подругой детства...

— Не стоит лишний раз ворошить прошлое... Не знаю, правильно ли я сделал, что дал вам ту папку... Вы с тех пор виделись с той девушкой? С той, у которой было много имен?

Я не сразу понял, о ком он говорит.

— Из-за которой вас вызывали на набережную Жевр. Как вы ее звали?

— Данни.

— На самом деле ее имя — Доминик Роже. Но были и другие имена.

Доминик Роже. Может, на это имя ей приходили письма до востребования. Я ни разу не видел, что было написано на конверте. Она запихивала их в карман пальто, как только прочтет.

— Вы, наверное, знали ее под именем Мирей Сампьерри? — спросил Ланглэ.

— Нет.

Он развел руками и посмотрел на меня с сочувствием.

— Как вы думаете, она еще жива? — спросил я его.

— А вы правда хотите это знать?

Я никогда не спрашивал себя так прямо. И если быть совсем честным с собой, то я бы ответил: нет. На самом деле, нет.

— Зачем это вам? — сказал он. — Не надо торопить события. Может, однажды вы встретите ее на улице. Мы же с вами в итоге нашлись...

Я открыл желтую папку. На взгляд в ней было с дюжину листов.

— Вы это лучше посмотрите на свежую голову... Если возникнут вопросы, дайте мне знать.

Он поискал во внутреннем кармане и протянул мне совсем небольшого размера визитку, где было написано: Ланглэ, просп. Шуази, 159, и номер телефона.

Пройдя немного, я обернулся. Он не поднялся к себе. Он все стоял посреди тротуара и глядел мне вслед. Наверняка он провожал меня взглядом до самого конца проспекта. Должно быть, когда он еще работал, он так же следил за кем-нибудь зимними днями и даже ночами, сунув руки в карманы своего габардинового пальто.

"Не стоит лишний раз ворошить прошлое", — сказал Ланглэ, когда мы прощались, но тем зимним утром мне предстоял еще долгий путь до дома, на другой конец Парижа. Случайно ли я оказался на площади Италии спустя двадцать с лишним лет, и случайно ли банкомат выдал мне сообщение: "Извините, у вас недостаточно прав"? За что извиняться? Тем утром я был счастлив, и мне было легко. В карманах пусто. И этот долгий путь, размеренным шагом, с привалами на скамейках... Я жалел, что не взял с собой черный блокнот. Там я некогда составил перечень парижских скамеек, расположенных по разным маршрутам — с севера на юг, с востока на запад, — чтобы всегда знать, где можно присесть передохнуть и побыть в своих мыслях. Я уже не слишком различал прошлое и настоящее. Так я дошел до школы Гобелен. С самой юности, и даже с детства, я только и делал, что ходил пешком, всегда по одним и тем же улицам, так что время наконец стало просвечивать.

Я прошел насквозь Ботанический сад и сел на скамейку на главной аллее. Прохожих из-за холода было мало. Но солнце светило по-прежнему, и небо подтверждало своей синевой, что время остановилось. Если остаться здесь до темноты и всмотреться в небо, то можно будет разглядеть редкие звезды, которым я дал бы имена, не зная, так ли они называются на самом деле. И целые страницы приходили мне на ум из моей настольной книги времен улицы Од: "К вечности через звезды"[1]. Эта книга помогала мне ждать Данни. Было так же

1. Астрономическое сочинение Луи Огюста Бланки (1805—1881), где он изложил свою метафизическую теорию, согласно которой в бесконечной Вселенной все комбинации атомов, из которых мы состоим, повторяются множество раз, а значит, каждый имеет своего двойника.

холодно, как здесь, на скамейке в Ботаническом саду, и улица Од стояла в снегу. Но, несмотря на холод, я листал страницы из желтой пластиковой папки. Там было вложено письмо за подписью Ланглэ, которое я не заметил, заглянув в папку первый раз, когда мы прощались с ним и он сказал мне: "Вы это лучше посмотрите на свежую голову". Письмо написано в спешке — едва можно разобрать, — когда он поднялся в квартиру, чтобы потом быстро спуститься ко мне с желтой папкой.

Дорогой мсье...

На пенсию я вышел десять лет назад, так что еще долго служил в отделении на набережной Жевр и на набережной Орфевр, в судебной полиции, пока Вы писали Ваши книги, которые я читал с неослабным вниманием.

Я, разумеется, помнил, как Вы пришли ко мне на допрос на набережную Жевр, когда были еще совсем юным. У меня память на лица. Надо мной часто подшучивали по этому поводу, что, мол, я могу узнать со спины человека, которого видел только однажды, десять лет назад, притом в толпе.

Когда я уходил окончательно, я позволил себе взять из архива бывшего отдела нравов несколько вещей на память, и среди них это неоконченное дело, касавшееся и Вас, которое я давно хотел Вам передать. Наконец, случай представился, благодаря нашей сегодняшней встрече.

Можете рассчитывать на мое молчание. Вы ведь, кажется, где-то писали, что все мы живем во власти чужого молчания.

Дружески Ваш,

ЛАНГЛЭ.

P. S. Чтобы Вас полностью успокоить: следствие, часть материалов которого собрана здесь, было окончательно закрыто.

Просматривая содержимое папки, я натыкался на карточки гражданского состояния, отчеты, протоколы допросов. Взгляд выхватывал имена: "Агхамури, Гхали, студенческий городок, марокканский корпус, род. 6 июня 1938 в г. Фес. Называл себя "студент", член марокканской службы безопасности. Посольство Марокко... Жорж Б., он же Рошар, шатен, волосы средней длины, нос прямой, подбородок выдается вперед. Для получения подробной информации просьба обращаться в Главную дирекцию, TURBIGO 92.00... Мною допрошен гражданин, ниже именуемый Дювельц, имя и прозвище: Пьер. Протокол предъявлен обвиняемому, прочитан и подписан... Шастанье, Поль Эмманюэль. Рост 1,80 м, пользуется автомобилем "ланчия" № 1934 GD 75... Марсиано Жерар. Осо-

бые приметы: шрам длиной 2 см через левую бровь...” Я быстро листал страницы, стараясь не задерживать на них взгляд и боясь обнаружить какую-то новую деталь или документ, касающийся Данни. “Доминик Роже, она же Данни. Жила под именем Мирей Сампьерри (ул. Бланш, 23), также Мишель Агхамури, также Жанин де Шилло... Согласно показанием Давэна, комнату в отеле “Юник” снимала на имя Жанин де Шилло, род. в Касабланке,...г., получала почту до востребования, о чем свидетельствует приложенный сертификат абонента, выданный отделением 84 Парижской почты”.

И внизу сцепленные канцелярской скрепкой листы:

“На теле жертвы имеются следы от двух пуль. Один выстрел был произведен в упор, другой со среднего расстояния... Были найдены две гильзы, соответствующие обеим пулям... Консьерж дома номер 46-бис на набережной Генриха IV...”

Однажды вечером мы с Данни вышли из поезда на Лионском вокзале. Наверное, возвращались из того загородного дома, имения Барбери. Мы были без багажа. На вокзале толпились люди, стояло лето — если не ошибаюсь, первый день каникул. Выйдя в город, мы не стали садиться в метро. В тот вечер она не хотела возвращаться в отель “Юник”, и мы решили пойти ко мне, на улицу Од, пешком. Когда мы дошли до Сены, она сказала:

— Ничего, если мы сделаем крюк?

Она повела меня вдоль набережной, до острова Сен-Луи. Париж был пуст, как часто бывает летними вечерами, — совсем не похоже на людный Лионский вокзал. Почти нет машин. Все было легким и праздным. Последнее слово я записал в черный блокнот большими буквами, указав дату: “1 июля”, тот самый день. Я даже уточнил его значение: “Праздный — ничем не занятый, свободный”.

Мы шли по набережной Генриха IV, той самой, которая упоминалась в папке Ланглэ, внизу отчета, сообщавшего, что речь идет об убийстве. Напротив дома номер 46-бис она остановилась — в тот же день, как Ланглэ вручил мне папку двадцать лет спустя, я проверил: в отчете указан именно этот дом. Мне надо было лишь пройти по мосту за Ботаническим садом.

Она направилась к двери и секунду помедлила.

— Можешь сделать кое-что для меня?

Она говорила неуверенно, будто зашла туда, где ее могут застукать.

— Позвони в левую дверь на первом этаже и спроси мадам Дорм.

Она смотрела на окна первого этажа, закрытые железными ставнями. В щели между ставен проникал слабый свет.

— Ты видишь свет? — спросила она шепотом.

— Да.

— Если мадам Дорм будет дома, спроси у нее, когда Данни может ей позвонить.

Было заметно, что она напряжена, и, возможно, уже пожалела о своей задумке. Еще немного, и она удержала бы меня.

— Я буду ждать на мосту. Мне лучше не оставаться на крыльце.

И она показала на мост, пересекающий самый конец острова Сен-Луи.

Я вошел в подъезд и остановился у двойной двери из светлого дерева, слева на площадке. Позвонил. Никто не пошел открывать, за дверью не было слышно ни звука. И все же мы видели свет в щелях ставен. Таймер погасил подъездную лампу. Я позвонил снова, в темноте. Никого. Я стоял в темноте и ждал. Мне правда казалось, что кто-нибудь наконец придет и откроет дверь, прервав тишину и снова пустив на площадку свет. В какую-то секунду я даже постучал костяшками пальцев, но дерево оказалось таким плотным, что не дало ни малейшего звука. Правда ли я постучал тогда в дверь? Мне так часто снилась эта сцена, что сон и реальность в итоге смешались. Вчерашней ночью вокруг была кромешная тьма, ни одного ориентира, и я стучал костяшками в дверь, как если б меня закрыли. Я задыхался. И вдруг резко проснулся. Да, снова тот сон. Я старался припомнить, стучал ли я в дверь тем вечером, много лет назад. Во всяком случае, я еще много раз звонил, стоя в темноте, и меня удивил звук звонка: и звонкий, и вместе с тем дрожащий. Никого. Тишина.

На цыпочках я вышел из подъезда. Она ходила по мосту взад-вперед. Взяв меня под руку, она крепко сжала ее. Она смотрела на меня с явным облегчением, и я подумал, что, возможно, только что избежал опасности. Я сказал ей, что никто так и не открыл мне дверь.

— Не надо было посылать тебя туда, — сказала она. — Но порой со мной случается, что я думаю, будто все осталось как прежде...

— Прежде чего?

Она пожала плечами.

Мы миновали мост и пошли по набережной Турнель. Она молчала, и сейчас было не время задавать вопросы. Все вокруг было спокойным и уютным: старинные фасады домов, деревья, зажженные фонари, узкие улочки, выходившие на

набережную и напоминавшие мне Ретифа де ля Бретона. Многие страницы черного блокнота были посвящены ему. Мне даже и не хотелось задавать ей вопросы. Мне было легко, я был беспечен и счастлив идти вместе с ней этим поздним вечером по набережной, повторяя про себя мягкие, таинственные созвучия имени Ретиф де ля Бретон.

— Жан... Я хочу тебя кое о чем спросить...

Мы шли, отдаляясь от набережной, вдоль той площади, на которой стоят столики и цветочные ящики, обозначая границу террасы кафе. В тот вечер к столам были приставлены зонтики от солнца. Летняя ночь в портовом городке где-то на юге. Кругом шепот разговоров.

— Жан... Что бы ты сказал, если б оказалось, что я совершила нечто очень серьезное?

Признаюсь, я не насторожился, услышав вопрос. Может, из-за того, что она произнесла это легко и отстраненно, будто слова знакомой песни или стихотворения. А еще из-за этого "Жан... Что бы ты сказал..." мне тут же вспомнился стих: "Блэз, скажи, мы с тобой далеко от Монмартра?"[1]

— Что бы ты сказал, если б оказалось, что я кого-то убила?

Я подумал, что она шутит или что это из-за детективных романов, которые она любит читать. Кроме них она вообще ничего не читала. Может, в одном из них героиня задавала такой вопрос своему жениху.

— Что бы сказал? Ничего.

И сегодня я бы ответил точно так же. Разве есть у нас право судить тех, кого любим? Если мы любим их, то это не просто так. И это "не просто так" запрещает нам их судить. Разве нет?

— Ну... А если я его не совсем убила... Если это был несчастный случай...

— Ты меня обнадежила.

Мой ответ, казалось, огорчил ее, и только спустя много лет я осознал, как сухо и неуместно иронично он прозвучал.

— Да... несчастный случай... будто само собой получилось.

— Так бывает, шальные пули не редкость, — сказал я.

Я сразу подумал про револьвер. И, видно, не ошибся, потому что она сказала:

— Ты прав... шальные пули...

Я рассмеялся. Она глянула на меня с упреком. Потом сжала мою руку.

1. Строка-рефрен из поэмы франко-швейцарского писателя Блеза Сандрара "Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне французской" (1913).

— Не будем больше о плохом... Мне вчера приснился дурной сон... мне снилось, что я в чужой квартире и стреляю в какого-то типа, чтоб защититься... а он страшный, с тяжелыми веками...

— С тяжелыми веками?

— Да...

Похоже, она все еще переживала тот сон. Но я не беспокоился по этому поводу. Со мной часто бывало нечто подобное: порой сон — чаще кошмар, — который видел накануне ночью, весь день тянется за тобой. Он мешается с самыми обычными действиями, и пусть сидишь ты с друзьями на террасе кафе, и ярко светит солнце — он все равно здесь, липнет клочьями к твоей жизни или звучит как эхо, как помехи в эфире, от которых никак не избавиться. Иногда такое бывает, когда недосыпаешь. Я хотел сказать ей все это, чтоб приободрить. Мы уже дошли до церкви Святого Юлиана Бедного. Перед дверьми американской библиотеки были расставлены скамейки и стулья, как на террасе кафе, и человек десять сидело на них, слушая джаз, звучавший изнутри.

— Надо нам к ним подсесть, — сказал я, — тогда ты забудешь свой дурной сон.

— Ты думаешь?

Но мы пошли дальше, не помню, какой дорогой. Помню тихие проспекты со сводами из древесных крон, редкий свет в окнах домов и Бельфорского льва, несущего караул, глядя на юг. Она наконец вышла из того сна. Мы сидели на ступенях лестницы, круто ведущей на улицу Од. Я слышал, как где-то течет вода. Она склонилась ко мне, ее лицо было совсем близко:

— Не обращай внимания на то, что я сейчас наговорила... Ничего не изменилось... Все точно так, как было прежде...

Летняя ночь, плеск воды или невидимого фонтана, эти ступени, выдолбленные в высокой стене, откуда видны верхушки деревьев... Кругом было спокойно, и я был уверен, что для нас есть дороги в будущее.

* * *

Редко когда снова заходишь в южные кварталы. Так постепенно они стали жить только в воображении, вплоть до того, что удивляешься, когда встречаешь названия вроде Томб-Исуар, Гласьер, Монсури, замок королевы Бланш в реальности, на картах настоящего Парижа. Я никогда не возвращался на улицу Од. Только в снах. И там я вижу ее в разные времена года. Из окон моей старой комнаты она вся покрыта снегом,

но если подниматься на нее по лестнице, с проспекта, то всегда будет лето.

А вот по набережной Генриха IV я часто проезжал на машине, когда ехал на Лионский вокзал. И всякий раз у меня что-то шевелилось внутри, как будто беспокойство. Как-то раз, взяв такси на выходе из вокзала, я попросил шофера остановиться у дома 46-бис, будто чтобы забрать кое-кого по пути. Я пристально смотрел на дверь подъезда. Тогда я отворил ее примерно в этот же час, первого июля. И сейчас тоже был июль. Я попытался подсчитать, сколько прошло лет. Спустя какое-то время шофер сказал мне:

— Вы уверены, что ваша знакомая выйдет?

Я попросил его подождать меня и вышел из такси. Подойдя к подъездной двери, я заметил справа от нее кодовый замок. Его не было раньше. Я наугад ткнул пальцем четыре цифры и кнопку D. Дверь не открылась. Я вернулся к такси.

— Забыли код, да? — сказал шофер. — Будем дальше ждать вашу знакомую?

— Нет.

Порой, во сне, я знаю код, и мне не приходится толкать подъездную дверь. Едва я наберу его и нажму кнопку D, как она открывается сама, автоматически, и закрывается у меня за спиной. Огромный подъезд наполнен светом, идущим сквозь большое стекло, по ту сторону коридора. Я стою перед дверью из плотного светлого дерева на первом этаже, той самой дверью, которую должна была открыть мне некая мадам Дорм, в тот июльский вечер вместе с Данни. Секунду я жду, прежде чем позвонить. На двери пятна света. Мне легко, да, я больше не чувствую вины, тех неясных угрызений. Все будет как прежде, а точнее, в наших жизнях никогда не было никакого после или прежде этого “нечто серьезного”, этой трещины, излома, этого первородного греха — я пытаюсь отыскать точное слово, — этого бремени, которое мы несли в себе, несмотря на нашу молодость и беспечность. Я позвоню, и звук будет таким же звонким, как в первый вечер. Обе створки раскроются медленно, как дверь подъезда, и светловолосая женщина лет пятидесяти, с правильными чертами и элегантно одетая, скажет мне: “Данни ждет вас в гостиной”. Эта дама и есть мадам Дорм? Я часто просыпаюсь на этом вопросе, но так и не знаю ответа. В папке Ланглэ ее часто упоминают, и есть некоторые, правда, несущественные, сведения. Ни одной фотографии...: “...она же мадам Дорм, сперва компаньонка Поля Милани, дом 4 по ул. Дуэ... Управляющая в буфете по адресу 48... и Этуаль-Йена... Пятнадцать лет назад скупила несколько скаковых лошадей... Вероятно, отправилась в Швейцарию, точная дата не установ-

лена...” Женщина без лица, как тот убитый, которого они уложили в машину, припаркованную перед домом. Был где-то час ночи, судя по показаниям консьержа дома 46-бис. Он сам открыл подъездную дверь, чтобы они смогли пройти. Их было четверо. Он, консьерж, не знал, что мужчина был мертв, один из них сказал, что ему просто стало дурно, и они повезут его в больницу Ларибуазьер. Зачем в Ларибуазьер? Это же далеко, на другом конце Парижа. На самом деле, по сведениям, которые удалось собрать Ланглэ, они отвезли убитого “к нему домой”, чтобы он смог официально умереть в собственной постели, и никто бы никогда не узнал, что это случилось в квартире на первом этаже дома номер 46-бис, на набережной Генриха IV. Консьерж заметил, что последние несколько месяцев где-то начиная с девяти вечера и в течение всей ночи постоянно приходили и выходили люди. Часто играла музыка, но в тот самый вечер в квартире не было слышно шума. Должно быть, ты была с тем, кого в бумагах называют “убитый”, ни разу не упоминая имени. Только на одной странице, внизу, можно догадаться, что имя было напечатано на машинке и позже стерто. Остались две едва различимые буквы: C и B. Итак, ты была той ночью с этим неизвестным, остальными — круг их был “весьма ограничен”, как сказано в протоколе, — и мадам Дорм. Ближе к полуночи консьерж услышал два выстрела. Минут через десять он увидел, как из квартиры вышли двое мужчин и две женщины, а также “молодая девушка”, о которой он сообщает довольно много подробностей, потому что она уже несколько месяцев часто бывала в квартире, он даже заговаривал с ней пару раз, а еще она получала почту на имя Мирей Сампьерри. Это была ты. Остальные четверо вернулись примерно через час, чтобы забрать тело этого безымянного и безликого человека и увезти на машине, припаркованной перед домом. Один из тех, кто был там в тот вечер — некий Жан Террай, — свидетельствовал, что стреляла ты, но пистолет принадлежал тому неизвестному и что он угрожал им тебе “грубо и непристойно”. Наверняка он выпил. Сам он этого уже не скажет. Его все равно что и не было никогда. Вероятно, ты смогла вырвать у него оружие и выстрелила или револьвер выстрелил “сам собой”, оттого что ты дернула слишком резко. Две шальные пули? Они нашли две гильзы в квартире, когда производили осмотр. Но кто открыл им дверь? Мадам Дорм? О тебе в деле очень мало. Ты родилась не в Касабланке, как сказала мне в тот вечер, когда мы говорили об Агхамури и остальных из отеля “Юник”, имевших “тесные связи” с Марокко. Ты попросту родилась в Париже, во время войны, на два года раньше меня. Родилась от неизвестного от-

ца и женщины по имени Андре Лидия Роже, дом номер 7 по улице Нарсис-Диас, Шестнадцатый округ. Роддом Мирабо. Но после войны через какое-то время, как здесь сообщается, твоя мать Андре Лидия Роже проживала уже по адресу: ул. Витрюв, 16, в Двадцатом округе. Зачем это уточнение и этот резкий переезд из Шестнадцатого округа в старый квартал Шаронн? Может, ты и могла бы мне это объяснить. Совсем нет упоминаний про твоего брата Пьера, о котором ты мне часто говорила. Они знают, что ты жила на улице Бланш под именем Мирей Сампьерри, но не говорят, почему ты выбрала это имя. Ни слова о твоей комнате в студенческом городке или об американском корпусе. То же и про проспект Виктора Гюго. Хотя я часто ходил туда с тобой и ждал у дома с задним ходом. Ты всегда выходила с пачкой купюр, и я все думал, кто же дает тебе их, но они обо всем этом не знали. Также ничего нет ни про ту квартирку на проспекте Феликса Фора, ни про Барбери, загородный дом в Фёйёз. Они знают, что ты снимала комнату в отеле "Юник" из показаний Давэна, но они, похоже, не торопились тебя допрашивать, иначе им стоило лишь подождать тебя в холле или просто попросить Давэна позвонить им, когда ты будешь у себя. Они, должно быть, быстро свернули расследование, и, во всяком случае, когда меня вызывали к Ланглэ, ты уже "исчезла". Так написано в документах. Исчезла, как мадам Дорм, следов которой они не нашли в Швейцарии, если, конечно, искали.

Я не знаю, схалтурили они именно в этом деле или все их данные, которые хранятся у них на сотни тысяч людей, настолько же обрывочны, но, признаюсь тебе, они меня разочаровали. Раньше я был уверен, что они проникают в сердце и испытывают внутренности, что в их отчетах есть мельчайшие подробности о нашей жизни, все наши скудные секреты и что мы живем во власти их молчания. Но что они знают, в самом деле, о нас двоих, и о тебе, кроме этих двух шальных пуль и призрачного убитого? На допросе, протокол которого мне дали подписать под формулой "мною прочитан и подписан...", я почти ничего не сказал им о тебе. Как и о себе. Я сказал им, что мы познакомились недавно, благодаря одному марокканскому студенту из студгородка, и что сама ты тоже хотела записаться на факультет Санзье. И что мы виделись с тобой в течение трех месяцев, даже чуть меньше, в Латинском квартале и на Монпарнасе, в среде прилежных студентов и пожилых художников в вельветовых пиджаках, с длинными локонами, которые часто встречаются в этих местах. Ходили в кино. И в библиотеки. Я даже добавил, что мы мно́го гуляли по Парижу и по Булонскому лесу. Отвечая на вопро-

сы в кабинете на набережной Жевр, я слышал, как щелкают клавиши печатной машинки. Ланглэ печатал сам, двумя пальцами. Да, мы также ходили в кафе на бульваре Сен-Мишель, но так как денег у нас было немного, нам случалось обедать в столовой студенческого городка. И так как он задал вопрос: "Как вы проводили свободное время?", желая, как он пояснил, "лучше обрисовать наши характеры", я сообщил ему в итоге некоторые подробности: мы часто бывали в кинотеке на улице Ульм и даже чуть не записались в "Музыкальную молодежь Франции". Когда он начал спрашивать про Агхамури и отель "Юник", я почувствовал, что вступаю на скользкую почву. Мы с Агхамури познакомились в столовой студенческого городка. Да, я действительно решил, что он обычный студент. К тому же несколько раз я встречался с ним после его занятий у корпуса Санзье. Нет, я бы никогда не подумал, что он имеет отношение к "марокканским спецслужбам". Но, вообще, это нас не касалось. А отель "Юник"? Нет-нет, это не он нас туда привел. Я слышал, что там могут дать комнату, даже если вам еще нет двадцати одного, а мне как раз не хватало года до совершеннолетия. Вот почему мы с подругой время от времени снимали там комнату. Я заметил, что Ланглэ не стал это печатать, и, по-видимому, не придавал ни малейшего значения всем моим лживым ответам.

— Значит, если я вас правильно понял, Гхали Агхамури никогда не знакомил ни вас, ни вашу подругу с людьми по имени Дювельц, Марсиано, Шастанье и Жорж Б., он же Рошар?

— Нет... — сказал я.

Продолжая бить по клавишам указательными пальцами, он прочитал от моего имени: "Вышеупомянутый Агхамури Гхали никогда не знакомил меня с некими Дювельцем, Марсиано, Шастанье и Рошаром. Мы с моей знакомой только пересекались с ними в холле отеля". И он улыбнулся мне, пожав плечами. Может, он думал так же, как я: что, в сущности, все эти мелкие подробности нас не касались. Скоро они не будут значить в наших жизнях ничего. Он вдруг задумался и довольно долго сидел так за пишущей машинкой, скрестив руки и опустив голову, так что я подумал, что он забыл о моем присутствии. И вдруг сказал, очень мягко, не поднимая на меня глаз: "Вы в курсе, что ваша подруга два года назад сидела в тюрьме Птит-Рокетт?" И он снова улыбнулся мне. У меня екнуло сердце. "Не так уж это было и серьезно... Она провела там лишь восемь месяцев...". — И он протянул мне бумагу, которую я постарался спешно прочесть из его рук, боясь, как бы он не убрал ее раньше, чем я закончу. Строки, слова плясали перед глазами: "...кража с витрины из нескольких доро-

гих магазинов... была задержана на проспекте Виктора Гюго, при себе была сумка крокодиловой кожи... 'Я входила в магазин без сумочки. Внутри я выбирала какую-нибудь и уходила с ней... то же и с пальто...'"

Я не успел прочесть все до конца, он вернул листок на свой рабочий стол. Ему будто было неловко, что он показал мне такой документ... "Не так это было и серьезно... — повторил он, — ребячество... вроде клептомании... Вы знаете, как объясняют клептоманию?" — Я удивился, что допрос как будто принимает форму простого разговора или даже дружеской беседы. — "Недостаток заботы... Крадут то, что никогда не получали от других. Ей недоставало заботы?" Он пристально смотрел мне в глаза своими голубыми глазами, и мне казалось, будто он старается прочесть мои мысли, и это ему удается.

— Конечно, на этот раз она замешана в гораздо более серьезном деле... Это случилось три месяца назад... как раз перед вашим знакомством... Речь идет о смерти человека.

Видимо, я сильно побледнел, потому что в его глазах, смотревших на меня в упор, явно появилось беспокойство. Он будто приглядывался ко мне...

— Конечно, это можно трактовать как несчастный случай... Две шальные пули...

Усталым жестом он вставил чистый лист в печатную машинку и спросил меня:

— Ваша подруга никогда не сообщала вам ничего про события, произошедшие прошлым сентябрем в квартире по адресу: Париж, набережная Генриха IV, 46-бис?

Я ответил отрицательно, и снова защелкала печатная машинка. Потом новый вопрос: "Ваша подруга объясняла вам, зачем она так часто меняет имена?" Я об этом не знал, но если бы и знал, то не слишком удивился бы. Я и сам сменил имя и изменил дату рождения, чтобы стать старше возраста совершеннолетия. Как бы то ни было, я знал ее только под именем Данни. Пока он печатал мой ответ, я еще раз повторил, по буквам, это имя, помня об ошибке, которую сделал сам при нашей первой встрече.

— Давала ли она о себе знать с тех пор, как исчезла, и есть ли у вас предположения, где она может находиться?

От этого вопроса мне сделалось так грустно, что я промолчал. Он сам ответил за меня, продолжая неспешно печатать на машинке указательными пальцами: "Моя подруга не давала о себе знать с тех пор, как исчезла, и я предполагаю, что она уехала из страны".

Он прервался:

— Она никогда не упоминала некую мадам Дорм?

— Нет.

Он подумал и продолжил вслух, продолжая печатать:

“...что она уехала из страны, возможно, вместе с некой Мерё Элен, она же мадам Дорм”.

Он выдохнул, будто покончив с тяжелой работой. И протянул мне листок.

— Подпишите здесь.

Я и сам был рад закончить все это.

— Это рядовое дело, которое тянется уже несколько месяцев, — сказал он, как бы желая подбодрить меня, — его явно спустят на тормозах... Смерть эта, можно сказать, почти что нормальная смерть, в собственной постели. Надеюсь, для вас все на этом и кончится. Но мало ли что.

Мне хотелось сказать что-нибудь хорошее, прежде чем уйти.

— Показания вы тоже печатаете на машинке? — спросил я его. — Мне кажется, раньше все писалось от руки.

— Вы правы. И у инспекторов в те времена по большей части был превосходный почерк. И свои отчеты они составляли на прекрасном французском.

Он проводил меня по коридору, и мы вместе спустились по лестнице. Прежде чем проститься, он спросил меня уже в дверях, выходящих на набережную:

— Вы ведь тоже, насколько я понял, решили начать писать. От руки?

— Да. От руки.

* * *

Птит-Рокетт снесли. На ее месте сейчас сквер. Когда мне было около двадцати, я часто бывал у некоего Адольфо Камински, фотографа, который жил в одном из выстроенных вдоль улицы высотных домов, напротив тюрьмы. Его окна высились над зданием в форме шестигранника, с башнями по углам. Как раз в это время тебя посадили сюда, но я этого не знал. Прошлой ночью я ждал у тюремных ворот, напротив дома Камински, и меня впустили. Меня отвели в комнату для свиданий. Потом усадили перед стеклянным экраном, а по другую сторону сидела ты. Я говорил с тобой, и, судя по всему, ты понимала, прислонившись лбом к стеклу, но только напрасно двигались твои губы, я не слышал тебя. Я спрашивал: “Кто такая мадам Дорм? А тот призрачный убитый с набережной Генриха IV? И та, кому ты наносила визит, в доме с задним крыльцом, а я ждал тебя снаружи?” Я видел по твоим губам, что ты пытаешься ответить мне, но стекло между нами поглощало звуки. Тишина, как в аквариуме.

Я помню, что мы часто гуляли в Булонском лесу. Уже под вечер, в те дни, когда я должен был ждать во дворе дома на проспекте Виктора Гюго. Я так и не узнаю, почему она выходила через эту дверь, а не через парадный подъезд — будто боялась встретить там кого-то в этот час. Мы спускались по проспекту до Мюэт. И чем дальше мы заходили по дороге, ведущей к озерам, тем легче мне становилось — будто исчезало бремя. То же и с ней — она говорила, что хорошо было бы жить в одном из тех домов, рядком стоящих у самого края леса. Нейтральные воды, вдали от всего, и никого, кроме редких соседей, чей язык мы даже не поймем, а потому не придется ни говорить с ними, ни отвечать на вопросы. И никто уже не спросит с нас отчета. В конце концов, мы забудем о черных пятнах Парижа: об отеле "Юник", о Птит-Рокетт, о первом этаже дома на набережной с тем мертвецом, обо всех мрачных местах, из-за которых мы оба, и она, и я, прятали взгляд.

Был октябрь, воскресенье, поздний вечер, уже стемнело, и в воздухе пахло опавшими листьями, влажной землей и конюшней — мы прошли вдоль зоологического сада и вышли к пруду Сен-Жам. Там мы сели на скамейку. Я переживал из-за рукописи, которую забыл в загородном доме. Она сказала, что мы уже не сможем вернуться туда. Это было бы опасно. Она не уточнила, какого рода эта опасность. У нее остались ключи от того дома, как и от квартиры на проспекте Феликса Фора, хотя она уже давно должна была их вернуть. Я даже заподозрил, что она сделала дубликаты, не сказав хозяевам. Скорее всего, она боялась, что нас застукают как воров.

"Не бери в голову, Жан. Мы еще найдем твою рукопись". И еще она сказала, что я правда накручиваю себя на пустом месте. Надо только порыться на полках у букинистов, взять один из тех романов, немногие читатели которых уже давно мертвы, а из живущих сегодня никто не подозревает об их существовании. А затем просто переписать его. От руки. И сказаться автором.

— Ну как тебе моя идея, Жан?

Я не знал, что ответить. Я помню первую фразу из моей рукописи: "Мне следует вернуться к тем годам моей молодости, когда меня называли лжеграфом Уорвиком..." Я подумал, что благодаря записям в черном блокноте, я вполне могу воссоздать пропавшие листы. В сущности, она права. Для меня это все равно что переписать их. От руки. Сегодня я занимаюсь именно этим.

Она прижалась ко мне, и повторила шепотом: "Не бери в голову, Жан..."

Через какое-то время утром я нашел у себя под дверью конверт с письмом, который просунули в щель:

Жан,

я уезжаю, и на этот раз может статься, что мы не увидим друг друга еще очень долго. Я не говорю тебе, куда направляюсь, потому что и сама еще не знаю этого. Там, куда я еду, ты меня не найдешь. Я буду очень далеко, и, во всяком случае, не в Париже. Если я уезжаю так, то только потому, что не хочу навлекать на тебя неприятности...

P. S. Я тебя немного обманула, и это меня тяготит. Мне не 21, как я сказала тебе. Мне 24. Как видишь, я скоро буду старой.

Она переписала это письмо из старого романа, который мы с ней купили, гуляя как-то вечером по набережным. Я все еще слышу, как она говорит мне: “Не бери в голову, Жан...” Лес, пустые проспекты, мрачные громады домов, одиноко горит окно, отчего кажется, будто забыл погасить за собой свет в другой жизни или что кто-то еще ждет там... Ты, конечно, скрываешься в этих кварталах. Под каким именем? Когда-нибудь я отыщу нужную улицу. Но каждый день время гонит вперед, и я откладываю на другой раз, каждый день.

Шинейд Моррисси

Шесть стихотворений

Переводы с английского

Вступление Лидии Хесед

В 2014 году редакция журнала “Иностранная литература” совместно с Британским Советом в России провели конкурс перевода стихотворений современной английской поэтессы Шинейд Моррисси.

© Sinead Morrissey 2013
© Лидия Хесед. Вступление, 2015
© Денис Безносов. Перевод, 2015
© Валерий Черешня. Перевод, 2015
© Евгения Зимина. Перевод, 2015
© Алексей Круглов. Перевод, 2015
© Екатерина Савельева. Перевод, 2015
© Анна Земляная. Перевод, 2015
© Мирабелла Озерова. Перевод, 2015
© Идрис Фокс. Перевод, 2015
© Анастасия Строкина. Перевод, 2015
© Александра Авдеева. Перевод, 2015

Фотография предоставлена издательством “Карканет пресс”. Фотограф — Сэм Рассик.
Редакция журнала “Иностранная литература” и Британский Совет в России выражают благодарность Шинейд Моррисси, членам жюри конкурса, а также издательству “Карканет пресс”, любезно предоставившему тексты стихотворений для публикации.

На русском языке произведения Шинейд Моррисси практически не публиковались[1], однако в Великобритании она признана одним из ярчайших поэтов своего поколения. Моррисси является автором пяти поэтических сборников; в восемнадцать лет она — единственная в столь юном возрасте — стала обладательницей престижной литературной премии имени Патрика Каванаха. Несколько раз она номинировалась на "поэтический Оскар" — премию имени Т. С. Элиота, и в 2013 году получила ее за свой пятый сборник "Параллакс". В том же году она была удостоена звания национального поэта-лауреата Северной Ирландии.

Творчество Ш. Моррисси во многом вдохновлено русской литературой и русской историей, и это отчетливо прослеживается, в частности, в ее последнем сборнике "Параллакс".

Шинейд Моррисси выросла в семье североирландских коммунистов, в 1930—1960 годах ее родственники неоднократно бывали в Советском Союзе. В 2011 году поэтесса посетила Москву: в течение нескольких недель она работала в исторических архивах, собирая информацию о своем деде, одном из первых членов Коминтерна в Северной Ирландии.

Ш. Моррисси много путешествует: она два года жила в Японии, много времени провела в Германии и Новой Зеландии. В своих стихах она не только осмысливает опыт погружения в чужую культуру, но и дает читателю возможность взглянуть на эту культуру по-новому, как бы под другим углом.

"Под другим углом" — таков ключ к пониманию стихотворений Шинейд Моррисси. Шесть стихотворений из сборника "Параллакс" были предложены для перевода участникам конкурса. Термин "параллакс", которым обычно астрономы обозначают разное положение звезд в зависимости от точки зрения наблюдателя, по мнению Моррисси, отражает основную идею ее книги: взглянуть на привычные вещи так, чтобы увидеть скрытую в них красоту и запечатлеть ее.

Стихотворение "V is for Veteran" навеяно размышлениями над страницей школьного учебника, на которой изображен вернувшийся с войны солдат. Как говорит сама Ш. Моррисси, "все началось со слова ветеран и связанных с этим словом ассоциаций. Мне хотелось показать, что испытывает человек, побывавший на войне и вынужденный заново учиться жить в мирное время".

Стихотворение "Signatures" вдохновлено Белфастом, но не как родиной Моррисси, а как местом, где был построен печально известный "Титаник". Именно здесь, в главном порту Северной Ирландии, располагалась верфь "Харланд энд Вольф", на которой в 1911 году и произошел спуск на воду крупнейшего трансатлантического лайнера. После окончания Второй мировой войны судостроение в Белфасте пришло в упадок, а территория верфи на несколько десятилетий была заброшена. В 2001 году промышленная зона была переименована в "квартал 'Титаник'", а еще через несколько лет на месте бывшей верфи был открыт музей морского наследия

1. Переводы трех стихотворений Ш. Моррисси опубликованы в журнале "Дружба народов", 2014, № 12.

Белфаста. Частью экспозиции музея является мемориальная доска с именами пассажиров, погибших на борту "Титаника".

"Baltimore" — это воплощенное в стихах беспокойство матери о будущем своих детей. По поводу этого стихотворения поэтесса замечает: "Я написала его, находясь под сильным впечатлением от телесериала 'Прослушка', действие которого разворачивается в трущобах Балтимора — столицы преступного мира США. У детей, которые живут в этих районах, мало шансов выйти в люди — чаще всего из них вырастают воры, убийцы или наркодиллеры, которым уготована дорога за решетку. Не представляю, какие чувства испытывает мать, вынужденная в таких условиях воспитывать ребенка".

Своей маленькой дочери Шинейд Моррисси посвящает фигурное стихотворение "Through the Eye of a Needle". Стихотворение разделено на две части, причем не только по форме, но и по содержанию: сначала читатель смотрит на девочку глазами ее матери, а затем — уже глазами ребенка — смотрит на окружающий мир.

Темой стихотворения "1801" является один день из жизни Дороти Вордсворт — сестры Уильяма Вордсворта, знаменитого основателя "озерной школы", его советчицы и соавтора многих произведений, включая "Нарциссы" и другие шедевры. Как отмечает Ш. Моррисси, "Дороти Вордсворт была талантливой писательницей — об этом свидетельствуют ее дневник, который она вела большую часть жизни, а также ее изящные и остроумные письма друзьям и родственникам. Сейчас письма и дневники Дороти изданы, и ее талант ни у кого не вызывает сомнений, но при жизни она, к сожалению, была известна лишь как сестра великого поэта".

Стихотворение "Jigsaw" посвящено первой английской головоломке-пазлу, изобретенной в 1766 году и изображавшей карту Европы. По мнению Моррисси, такая головоломка была отличным подарком королевским детям, которые уже за игрой получали навыки, необходимые будущим завоевателям. Не случайно, ведь именно во второй половине XVIII века Англия начала активно осваивать новые земли. Под ее крылом пока по-прежнему оставалась Америка, отвоевавшая независимость лишь в 1783 году, набирала силу Ост-индская компания, появлялись колонии в Австралии, Новой Зеландии — территории, которой Моррисси в стихотворении дает ее исконное название на языке маори — Аотероа.

Мы рады представить вниманию читателей переводы этих стихотворений, выполненные победителями конкурса. В конкурсе приняли участие более трехсот человек из разных городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, включая Германию, Израиль и Канаду. Среди участников конкурса были как профессиональные переводчики, работы которых неоднократно публиковались в российских литературных журналах, так и любители, впервые пробующие силы в художественном переводе, в том числе учащиеся российских школ и ВУЗов.

V *is for* V*eteran*

A soldier returned from a war
was how my P6 spelling book put it I saw
cripples with tin cans for coins
in dusty scarlet, back from some spat of Empire.
Later I became aware of buildings
built in squares around a courtyard
where every room looked down
to a fountain
rinsing and bleaching the light
assiduously as the women
who in folded hats like wings
washed clean their wounds.
My erstwhile stepfather was one
for whom Vietnam
was a constantly recurring dream —
the jungle inching its tendrils
into his lungs until he becomes
half-man, half-vine, asphyxiating.
The word itself has a click in it.
It halts before the ending.
Boats left stranded in trees.
The ones that survive are amphibian.
As I speak, there is something muscled
and bloody in the sink
the boy young enough to be my son
spat out and I can't look.
I don't know how he got inside my house.
The stereo is playing Buckets of Rain
by Dylan,
over and over again.

В – В*етера́н*

Солдат, вернувшийся с войны –
так объясняет школьный учебник, я
вижу калеку с консервной банкой для монет
в пыльном багрянце — жертву имперской
размолвки.
Позже я узнала о постройках,
стоящих по краям квадратного двора,
в которых окно каждой комнаты выходит
к фонтану,

что полощет, отбеливает свет,
усердно, подобно женщинам
в шляпах с полями-крыльями, тем
что промывают раны.
Мой бывший отчим был таким,
для него Вьетнам —
бесконечно повторяющийся сон —
джунгли, тянущие свои побеги в самую
глубь его легких, пока он не
станет вдруг
получеловеком-полурастением и не
задохнется.
В самом этом слове есть щелчок.
Оно обрывается перед самым концом.
Под деревьями лодки сели на мель.
Все выжившие — амфибии.
Я говорю и вижу в раковине что-то
телесно-кровавое —
это мальчишка, годится мне в сыновья,
его сплюнули туда, и я не могу на него смотреть.
Не знаю, как он попал ко мне в дом.
Магнитола играет "Buckets of Rain"
Дилана
на повторе, весь день.

Перевод Дениса Безносова

В значит В*етеран*

Солдат, вернувшийся с войны
я набираю в поисковике — и вижу:
обрубок-инвалид, Империи плевок,
ждет подаяния с жестянкой.
Лишь позже поняла, что́ в корпусах,
поставленных безжизненным
квадратом,
чьи окна пялятся во дворик, где фонтан
полощет и отбеливает свет
с усердьем милосердных медсестер,
склоняющих, как ангельские крылья,
крахмальный свой убор,
над ранами колдуя.
Мой отчим вспоминал
Вьетнам

в навязчивых ночных кошмарах —
лианы джунглей прорастали в легких
удушьем, и тогда он превращался
в полу-дриаду, полу-человека.
Удушье — само слово, где душа
помедлит и уходит, чуть дыша.
В ветвях деревьев застревали лодки,
и тот, кто выжил, ползал земноводным.
Пока я говорю, мальчишка —
По возрасту он мог бы быть мне сы-
ном —
Кровавым чем-то сплевывает в мойку.
Не видеть бы мне этого вовек.
Не ведаю, как он попал в мой дом.
Пластинку крутят "Дождь, как из ведра"
Боба Дилана
им нравится, им нравится, им нра...

Перевод Валерия Черешни

Signatures

Belfaste is a place meet for a corporate town, armed with all commodities, as a principal haven, wood and good ground, standing also upon a border... — extract from a letter to the Privy Council from the Earl of Essex, 1573

I

Where nothing was, then something. Six months ago
most of this was sludge and a gangrenous slip-way
dipping its ruined foot in the sea — a single rusted gantry
marking the spot where a small town's population
of Protestant men built a ship the size of the Empire
State Building.
Smashed cars and wreckers' yards flourished in between.

II

A skin-stripping wind. This morning I walk on concrete
smooth as a runway with a full-scale outline laid in lights
of the uppermost deck. Railings as over a stern.

Grass. Seating. The memorial for the dead hosts names
I can't pronounce – Sjöstedt, Taussig, Backström –
in immaculate glass. Once, I count a surname seven
times.

Достопримечательности

Белфаст – удобное место для свободного города, где есть все условия: большая гавань, лес, хорошая почва, к тому же расположенное на границе между... – Отрывок из письма графа Эссекса в Тайный совет, 1573.

I.

Ничто вдруг превратилось в нечто. Шесть месяцев
назад
была тут грязь и изъязвленный стапель, опустивший
свою израненную ногу в море, и проржавевший кран
в том месте, где когда-то протестантский городишко
корабль построил, огромный, как
Эмпайр-стейт-билдинг.
Повсюду были остовы машин, хозяевами брошенные
здесь.

II.

Лицо горит от ветра. Поутру иду по ровному бетону,
что
взлетной полосой подходит к верхней палубе в
огнях –
огромной, как и *та*. И поручни – как и на *той* корме.
Трава. Скамейки. Памятник погибшим, чьи имена я
не могу
произнести – Сьёстедт, Тауссиг, Бэкстрём, – они
видны
через прозрачное стекло. Одно из них встречается
семь раз.

Перевод Евгении Зиминой

Знаки

Белфаст – подходит для городского поселения, располагая такими достоинствами, как важная гавань, лесные и земельные угодья, и притом стоит на границе... — из письма графа Эссекса Тайному совету, 1573 г.

I

Совсем еще недавно — запустенье. Всего полгода.
Лишь топкий берег да гниющий стапель,
обвисший в воду, — одинокий ржавый эллинг
там, где построил протестантский городок
корабль величиной с Эмпайр-стейт-билдинг. Рядом
забор автомобильной свалки, кладбище судов.

II

Другое утро. Ветер обдирает щеки. Под ногами —
бетон ровнее летной полосы. Огнями — очертанья
той верхней палубы, и релинги с кормы. Трава.
Скамейки. Здесь мемориал погибшим, чьи имена
трудны мне — Сьёстедт, Тауссиг, Бэкстрём. Блеск
стекла,
ни пятнышка. А вот семь раз одно и то же имя.

Перевод Алексея Круглова

Надписи

Белфаст – это место, где может развиться город с самоуправлением, занимающийся всевозможными промыслами, способный стать важным портом, с лесами и прекрасными земельными угодьями, и находящийся на границе ирландской территории... — отрывок из письма, адресованного Тайному совету графом Эссексом, 1573

I

Из ничего появилось нечто. Полгода назад
Здесь виднелся лишь скользкий от ила стапель,
Спустивший в море свою гангренозную ногу —
ржавую рельсу,
Обозначавший место, где жители городка —
Протестанты — воздвигли корабль размером с
Эмпайр-стейт-билдинг.
Да остовы старых машин гнили меж доками и
мастерскими.

II

Ветер пронзает насквозь. Иду, под ногами асфальт,
Гладкий, как взлетная полоса, с цепочкой огней
По контуру верхней палубы. Перила, как вдоль *той*
кормы.
Трава. Краткий отдых. Списки некогда важных имен,
Что не выговоришь — Сьёстед, Тауссиг, Бэкстрём —
За бесстрастным стеклом. Одно мне встретилось
целых семь раз.

Перевод Екатерины Савельевой

B*altimore*

In other noises, I hear my children crying —
in older children playing on the street
past bedtime, their voices buoyant
in the staggered light; or in the baby
next door, wakeful and petulant
through too-thin walls; or in the constant
freakish pitch of Westside Baltimore
on The Wire, its sirens and rabid gunfire,
its beleaguered cops haranguing kids
as young as six for propping up
the dealers on the corners, their swagger
and spitfire speech; or in the white space
between radio stations when no voice
comes at all and the crackling static
might be swallowing whole a child's
slim call for help; even in silence itself,
its material loops and folds enveloping
a ghost cry, one I've made up, but heard,

that has me climbing the stairs, pausing
in the hall, listening, listening hard,
to – at most – rhythmical breathing
but more often than not to nothing, the air
of the landing thick with something missed,
dust motes, the overhang of blankets, a ship
on the Lough through the window, infant sleep.

Б*алтимор*

Везде я слышу плач моих детей –
он чудится мне в гомоне ребят,
играющих до ночи при неверном
свете фонарей; или когда младенец
за фанерной стенкой у соседей
все не уснет никак; и в непрерывном,
гнетущем ритме балтиморских улиц
“Прослушки”[1], где вой сирен, и перестрелки,
и коп нотации читает шестилеткам,
барыги на углу крикливо спорят
о чем-то; или сквозь помехи
на радио, когда оно не ловит
и белый шум способен проглотить
слабеющее детское “спасите”;
и даже в абсолютной тишине,
густой и вязкой, тихий крик застынет,
лишь стоит вспомнить – и мерещится он мне,
иду по лестнице наверх, остановлюсь,
услышать силюсь, слышу – иногда –
ритмичное дыханье, только чаще ничего,
лишь в воздухе на лестничной площадке
чего-то не хватает, пыль кругом,
свисают простыни, за окнами стоит
корабль в бухте, дети спят.

Перевод Анны Земляной

Б*алтимор*

Я слышу плач, я слышу детский плач,
Твой голос в голосах детей постарше,
В прокрученном сквозь город звукофарше,

1. “Прослушка” – американский сериал (2004) о борьбе полиции с преступностью; действие происходит в Балтиморе. (*Прим. перев.*)

В рыданьях за стеной, в помехах передач,
В белесом воздухе меж волн радиостанций,
Где тонет звук, где музыка молчит
И только электричество трещит,
Глотая крики призрачных субстанций,
Не слышных уху, слышных тишине,
Что в складках прячет детское роптанье
(А может, нет, но всхлипов сочетанье
Твой голос вновь напоминает мне) —
И я взбегаю, лестницы не чуя,
В прихожей замедляю сердца стук,
Прислушиваюсь к нитям, как паук,
Натянутым меж комнат, — и молчу я,
Стремясь не сдвинуть пыли поколенье,
В воздушной тверди ставшее столбом,
И не осмысливать неузнанное жженье
Холодным, воспаленным, гулким лбом —
Вхожу к тебе и вижу еле-еле
И крылья одеял, как крылья тихих сов,
И в рамах окон легкость парусов,
И спящее дитя в объятьях колыбели.

Перевод Мирабеллы Озеровой

Б*алтимор*

Средь остальных шумов я слышу плач детей
Моих: и в гомоне ребят постарше, что играют
На улице, хотя пора бы спать, их голоса
Живые, бодрые плывут в неясном свете.
Или в капризных причитаньях малыша
Соседского, неспящего за слишком тонкой стенкой,
В угаре Балтимора западных окраин,
Увековеченном “Прослушкою”, в сиренах,
Неистовой пальбе, облавах, копах
И в дерзких пацанах, едва ли шестилетних,
Уже готовых на углах барыжить,
Их распальцовке и дурных понтах. Иль в белом шуме
Меж станциями радиоэфира, сквозь который
Нельзя пробиться голосу и скрежет
Помех легко проглотит слабенький призыв
Детей о помощи. И даже в тишине, овеществленной
Петлями, складками, которыми окутан
Крик призрачный, что слышен только мне,
Ведомой вверх по лестнице и в холле

Остановившейся, прислушиваясь жадно
Не более чем к ровному дыханью,
А чаще, так и вовсе ни к чему, лишь к воздуху
С осадком мимолетности густым,
К пылинкам и к сползанью одеял, и кораблю
В заливе, за окном... К младенческому сну.

Перевод Идриса Фокса

1801

A beautiful cloudless morning. My toothache better.
William at work on The Pedlar. Miss Gell
left a basket of excellent lettuces; I shelled
our scarlet beans. Walked out after dinner for letters –
met a man who had once been a Captain begging for
alms.

*

The afternoon airy & warm. No letters. Came home
via the lake, which was near-turquoise
& startled by summer geese.
The soles on this year's boots are getting worn.
Heard a tiny, wounded yellow bird, sounding its alarm.

*

William as pale as a basin, exhausted with altering.
I boiled up pears with cloves.
Such visited evenings are sharp with love
I almost said dear, look. Either moonlight on Grasmere
– like herrings! –
or the new moon holding the old moon in its arms.

1801

Прекрасное светлое утро. Зубная боль тише.
Уильям корпит над "Разносчиком". Мисс Джелл
Принесла чудесный латук. Пока обед не поспел,
Я лущила фасоль. Потом за письмами вышла,
Встретила бывшего капитана – он теперь подаянья
просит.

*

Вечер прозрачен и легок. Писем нет. Иду
Мимо озера почти бирюзового цвета.

Чудеса! Гусь остался здесь с лета.
Ботинки стоптались, а куплены в этом году.
Крики раненой желтой птички пронзают тревогой
осень.

*

Уильям измучен стихами, таза бледней,
Я гвоздику бросила в грушевый джем.
В такие вот вечера витает любовь надо всем,
Я чуть не сказала, милый, смотри, Грасмир
серебрится — как стая сельдей! —
Или месяц стареющую луну по небу в объятиях
носит.

Перевод Екатерины Савельевой

1801

Спокойное ясное утро. Утихла зубная боль.
Вильям правил и правил “Разносчика”. Мисс Джелл
оставила свежий с прожилками латук; я разложила
сушиться розовую фасоль.
По дороге на почту мне встретился нищий. Когда-то
он был капитаном.

*

День душистый и теплый. Писем нет. Домой
добралась,
бредя вдоль озера, почти бирюзового,
напуганного летним гусиным криком, зовом.
Подошва треснула на новом ботинке — что за
напасть.
Желтая птичка просила о помощи, на крыльях
темные раны.

*

Вильям уставший был, кафельно-белый.
Я сварила нам грушевый пряный компот.
Этот вечер, казалось, наполнит любовью весь год,
и я едва не сказала: милый, лучи над Грасмиром,
точно рыбьи хвосты или стрелы,
смотри, месяц держит луну над озером и над туманом.

Перевод Анастасии Строкиной

Jigsaw

The Royal children have been sent a gif –
A map of Europe from 1766
Complete with longitude, painted onto wood,
Like any other map in brown and green and red,
But then disfigured: cut up into parts,
A disassembly of tiny courts
Strewn across the table. There is a key
To help the children slot, country by country,
The known traversable world in place:
Little Tartary, Swedish Lapland, France,
The Government of Archangel. The sea
Has been divided into squares, crudely,
As though the cast-iron sides of nations
Still applied (but with more attention
To geometry) while the engraver's signature
– A circle, his name, a folded flower –
Has been deftly sawn in half. If successful,
The three young princes and the oldest girl
(This is not, after all, a lesson in diplomacy
So she can play too) will, ironically,
Undo the puzzle's title and its claim:
Europe Divided in its Kingdoms
Shall be Europe reconfigured, whole.
They start in the top left corner with the scale
Then fill the other corners in: 'Part of Africa',
A scroll, the blank of simply 'Asia'
Rolling off to hordes and steppes and snow
Beyond the boundary. Outlines follow,
Aided by exquisite lettering:
'The Frozen Ocean' solidifies across the map's ceiling.
And so the Royal children spend an hour
Staring and exclaiming, clicking together
(What joy!) the angled buttress of a continent –
Their own unlikely island on a slant
By its farthest edge, and in their trance ignore
What will no longer fit: Aotearoa, America.

Головоломка

Карту позапрошлого столетья
Подарили королевским детям.
Прочерчены широты – искусная работа,
Привычные цвета. Но всё не на местах:

Разрезали частей на сто
И ссыпали на стол. Смысл игры простой —
Приладить страну одну к другой,
Собрать тот мир, что знали всегда:
Лапландия, Франция, Татр гряда.
Море поделено на квадраты
Не столь согласно границам стандартным,
Сколь геометрии подчиняясь.
И витиеватый гравера штамп,
Роспись с изящным цветком — пополам
Безжалостно рассечена.
Три юных принца и их сестра
(Это ведь не урок дипломатии,
Может играть и она)
Спутают все из озорства,
И европейские страны
В облике новом предстанут.
Слева, вверху, масштаб разместят,
Африку — в угол, за Азией в ряд
Построятся горы, степи, снега,
Забудь о границах. Здесь берега
Северного Ледовитого океана
Окажутся у экватора, как ни странно.
Так больше часа они провели
В упоении за переделом Земли —
Их остров родной, на себя непохожий,
Где-то на дальнем краю перекошен,
Чему-то же места и вовсе нет.
Пропали Зеландия и Новый Свет.

Перевод Анны Земляной

Г*оловоломка*

Чадам королевским был дар поднесен:
Карта Европы тех давних времен —
Тысяча семьсот шестьдесят шестой —
На дереве, не на бумаге простой:
Широты, долготы, названья и масти,
И вся доска потом распилена на части.
Страны и владенья в россыпь на столе —
Подбери, попробуй, землю к земле!
Знакомы очертанья, реки, города:
Франция, Лапландия, Крымская орда,
Архангельск и губерния; а моря вокруг

Квадратами нарезаны, словно недосуг
Было разбираться, где и чья вода, —
Впрочем, геометрия полезна всегда.
Метка гравера в укромном уголке —
Гербовая лилия и подпись в кружке —
Тоже аккуратно разрезана пополам.
Трое юных принцев и сестра (хоть дам
К спорам о границах тогда не допускали,
Повредить игре она могла едва ли)
Решились смысл заглавных слов
“Европы, разделенной меж правящих домов”,
По сути, опровергнуть, чтобы целым
Стал известный мир, и первым делом
Нашли углы: Часть Африки, Масштаб,
С заглавьем свиток, Азию, где раб
Бредет в степи сквозь снег, ордой влекомый
За дальний правый край; а вот знакомый
Попался контур — Ледовитый океан
Сковал макушки верхних стран...
Дети королевские увлеклись игрой,
Земли собирая, и вот — о радость! — свой
Последним сбоку уместили островок,
На карте места не оставив впрок
И не подумав даже мимоходом,
Где быть Америке и прочим антиподам.

Перевод Алексея Круглова

T*hrough the eye of a needle*

Still shorter than my hip
but solid, heavy as a scooped-full
coal-scuttle, hair so fingerwrapped and knotted
it stands in coils about her ears and won't comb flat,
cherubic, with that dimpled roll of fat above the buttocks
.the stubby painted angels carry brightly, her feet and hands a fan
she opens frequently to admire the slotted hinges of her bones,
to blow between the gaps, arm-skin like powder down,
an almost-constant frown atop a round bright box
with treasure in it: seamless lips, even teeth,
eyes that loop the swallows up

on their traceable tethers
to harry them, upside-down, into
the huge room of her brain and make them fit
the vivid, random furniture pre-assembled there —
buttercup petals crushed on her palm, the Teapot Song,
dust motes and the taste of rust, shadows under her cot that grow
vast without a night-light, hunger, always satisfied,
its own fat child in a caul and sleepiness a wall
you dig-a-hole-and-curl-up under —
where they leave their threaded
flight-path like the imprint
on a carpet of a stain.

Сквозь игольное ушко

Два вершка, но стоит крепко, словно
ведерко с углем, волосы взлохмачены и спутаны,
завитками ложатся за уши и ни за что не выпрямятся,
херувим на пухлых ножках-ангелочках, ямочки на попке,
она часто, словно веер, раскрывает пальчики на руках и
ногах и любуется
впадинами на костяшках, дует меж пальцев, кожа на ручках
белая,
словно пудра, почти всегда морщинка на лбу ее смышленой
круглой коробочки с сокровищем внутри;
пухлые губки, ровные зубы,
глаза, что стараются

поймать ласточек и усадить
их вверх тормашками в огромной комнате,
у себя в голове, вместе с другими цветными картинками —
лепестки лютика упали на ее ладонь, запел песню чайничек,
пылинки на свету, привкус железа, тени под ее кроваткой,
что разрастаются
без света ночной лампы, всегда сыта, всегда свой
собственный сонный
малыш в чепчике, стенка, у которой сворачиваешься
калачиком, —
там они оставляют за собой сияющий след,
словно пятно на ковре.

Перевод Александры Авдеевой

Из классики XX века

Йозеф Рот

Исповедь убийцы

Роман

Перевод с немецкого Веры Менис

© Вера Менис. Перевод, 2015

ГОД назад я жил на рю Де-Катр-Ван. Окна моей квартиры смотрели на русский ресторан "Тары-бары", в который я частенько захаживал. Там в любое время суток можно было съесть тарелку борща, запеченную рыбу или отварную говядину. Бывало, я вставал поздно, к концу дня. Во французских ресторанах, строго соблюдавших традиционное обеденное время, уже велась подготовка к ужину, а в русском — время не имело никакого значения. На стене висели жестяные часы, которые то останавливались, а то показывали неверное время. Казалось, они там лишь для того, чтобы посмеиваться над людьми. И на них никто не смотрел. Большинство посетителей этого ресторана были русскими эмигрантами. И даже те из них, кто на родине отличался пунктуальностью, точностью, здесь, на чужбине, либо все это теряли, либо стеснялись показывать. Это было похоже на демонстративный протест эмигрантов против расчетливости, против рационального образа мыслей западных европейцев. Словно они старались не только оставаться настоящими русскими, но еще и играть в "настоящих русских" в соответствии со сложившимся о них у западных европейцев представлением. Таким образом, эти неверно показывающие или вовсе стоя́щие часы в ресторане "Тары-бары" были больше, чем просто случайным реквизитом, они были неким символом, отменяющим законы времени. Случалось, я наблюдал, как русские таксисты, обязанные придерживаться определенного рабочего графика, ходом времени были озабочены не более, чем безработные эмигранты, живущие на подаяния зажиточных соотечественников. Среди посетителей "Тары-бары" бывало очень много таких не имеющих работы русских. Их можно было увидеть там в любое время дня, поздним вечером и даже ночью, когда хозяин с официантом начинали подводить итоги, когда была уже закрыта входная дверь и над кассой горела одна-единственная лампа. И покидали они помещение вместе с хозяином и официантом. Иным из них, бездомным или подвыпившим, хозяин разрешал переночевать в ресторане. Разбудить их было нелегко. А проснувшись, они были вынуждены искать приют у своих знакомых. Несмотря на то что в большинстве случаев, как уже говорилось, я вставал очень поздно, все же иногда по утрам, случайно оказавшись у окна, я видел, что "Тары-бары" уже открыт и работа в нем идет полным ходом. То и дело входили люди, очевидно, для того чтобы съесть там свой первый завтрак, а иногда просто выпить. Я видел, как некоторые заходили уверенной походкой, а выходили, уже пошатываясь. Отдельные лица и фигуры я запоминал. Среди

них был и один привлекший мое внимание человек, который, казалось, находился в "Тары-бары" постоянно. Всякий раз утром, подходя к окну, я видел, как он возле двери ресторана провожал или приветствовал гостей. И всегда, когда ближе к вечеру я заходил поесть, он, сидя за каким-нибудь столиком, болтал с гостями. Если же совсем поздно, перед самым закрытием, я попадал в "Тары-бары", чтобы выпить еще немного шнапса, этот странный господин сидел возле кассы и помогал хозяину с официантом подсчитывать выручку. Похоже, с течением времени он привык к моим взглядам и принимал меня за своего рода коллегу. Он удостоил меня звания завсегдатая ресторана, каким являлся сам, и уже через пару недель приветствовал как своего многозначительной улыбкой, какой обмениваются старые знакомые. По правде сказать, поначалу эта улыбка мне мешала, потому что обычно правдивое, симпатичное лицо этого человека с улыбкой приобретало не то чтобы противное, но какое-то подозрительное выражение. Она не была светлой, не освещала лица и вопреки своей приветливости выглядела угрюмой. Да, как промелькнувшая на лице тень, хотя и приветливая. Так что мне было приятнее, когда этот человек не улыбался.

Само собой разумеется, что из вежливости я улыбался ему в ответ и надеялся, что эти взаимные улыбки какое-то время будут оставаться единственным свидетельством нашего знакомства. В душе я даже намеревался, если этот незнакомец однажды заговорит со мной, больше не посещать это место. Однако со временем подобные мысли покинули меня. Я привык к этой призрачной улыбке и начал немного интересоваться ее обладателем. Вскоре во мне даже пробудилось желание узнать его поближе.

Пришло время описать этого человека более подробно. Он был высоким, широкоплечим, волосы у него были пепельного цвета. На своих собеседников он смотрел ясными, иногда мигающими и всегда трезвыми голубыми глазами. Большие, ухоженные пепельные усы отделяли верхнюю часть его широкого лица от нижней, и обе эти части были одинаково крупными. Из-за этого лицо казалось немного скучным, незначительным, в нем не было никакой загадки. Сотни таких мужчин я видел в России, десятки — в Германии и других странах. В этом сильном, большом мужчине поражали деликатные, длинные кисти рук, мягкая, тихая, почти неслышная походка. И вообще, все его движения были медленными, робкими, осторожными. Поэтому порой мне казалось, что в его лице все же таилась какая-то загадка и что эту сияющую открытость, эту искренность он только изображал, чтобы у лю-

дей, с которыми он разговаривал, не было оснований не доверять ему. И тем не менее при каждом его взгляде я неизменно говорил себе, что если он может так безукоризненно, так простодушно притворяться искренним, то он и в самом деле должен быть таковым. И, может быть, улыбка, которой он меня приветствовал, казалась несколько сумрачной лишь от его смущения, потому что в действительности, когда он улыбался, блеск крупных зубов и отливающие золотом усы делали его облик светлее, улыбаясь, он как будто терял свой сложный пепельный цвет волос и становился белокурым. Я заметил, что этот человек становится мне все приятнее. И вскоре, входя в ресторан, еще у дверей я даже начинал немного радоваться ему, как радовался привычным для меня шнапсу и приветствию милого, толстого хозяина.

Ни разу, находясь в "Тары-бары", я не дал понять, что знаю русский язык. Однажды, когда я сидел за столом с двумя таксистами, они напрямик спросили меня, какой я национальности. Я ответил, что немец. Если они собираются при мне обсуждать какие-то свои тайны, причем на любом языке, то пускай делают это после моего ухода, поскольку я понимаю почти все европейские языки. Но так как именно в этот момент освободился другой столик, я пересел и оставил этих двоих вместе с их секретами. Таким образом, им не пришлось спрашивать меня, понимаю ли я по-русски, что, очевидно, входило в их планы. И снова никто ни о чем не догадывался.

Но в один прекрасный день, скорее вечер или, если быть совсем точным, — уже в ночное время, это стало известно. Все произошло благодаря этому завсегдатаю, который, вопреки своему обыкновению, сидел молчаливо и угрюмо, если эта характеристика все же к нему применима, прямо напротив стойки.

Я зашел туда около полуночи, намереваясь выпить всего одну рюмку шнапса и сразу уйти. Поэтому я не искал места за столом, а остановился у стойки рядом с двумя другими припозднившимися гостями, которые, вероятно, тоже зашли сюда лишь ради рюмки шнапса, но, вопреки своим первоначальным намерениям, задержались надолго. Перед ними стояло несколько пустых и полупустых рюмок, а между тем им могло казаться, что выпили они всего по одной. Если не сесть за стол, а остаться у стойки, — время бежит особенно быстро. Сидя за столом, каждую секунду видишь, сколько выпито, и соотносишь число опустошенных рюмок с ходом стрелок. А вот зайдя в ресторан, как говорится, "на минутку", не отходя от стойки, пьешь, пьешь и при этом думаешь, что все еще длится та самая минутка. В тот вечер это случилось и

со мной. Как и те двое, я выпил одну, вторую, третью рюмку, и все еще стоял там. Я напоминал тех, кто, зайдя в дом, вечно торопится и вечно медлит, кто, не снимая пальто, держится за дверную ручку, каждое мгновение хочет попрощаться, но, словно оккупировав это место, еще долго не уходит. Оба посетителя достаточно тихо общались с хозяином по-русски. То, что говорилось у стойки, наш завсегдатай мог слышать только частично. Он сидел в отдалении от нас (я видел его в зеркале, висевшем позади буфета) и, кажется, не был настроен слушать или участвовать в разговорах. По привычке я вел себя так, будто ничего не понимаю. Но вдруг одна фраза настолько задела мой слух, что я не смог удержаться.

Прозвучала она так: "И что это наш убийца сегодня такой мрачный?" Сказав это, один из гостей указал пальцем на отражение седовласого господина в зеркале. Я непроизвольно повернулся в его сторону и тем самым, стало быть, дал понять, что понял вопрос. Это тут же вызвало ко мне некоторое недоверие, но еще больше — удивление. Русские не без основания боялись шпиков, и в любом случае мне не хотелось, чтобы они приняли меня за одного из них. Но в то же время эти странные слова "наш убийца" так сильно меня заинтересовали, что сначала я решил спросить, почему этого человека так называют. Но дело в том, что когда я столь неосторожно повернулся, то заметил, что так необычно названный господин тоже услышал этот вопрос. Он улыбнулся и кивнул. И, может, сам бы сразу на него и ответил, если бы в этот же момент я сдержал свой порыв и не возбудил подозрений.

— Так значит, вы русский? — спросил меня хозяин.

— Нет, — хотел сказать я, но, к моему удивлению, это за моей спиной произнес все тот же господин и добавил: наш постоянный гость — немец, но он понимает русский, а молчал всегда только из скромности.

— Это так, — подтвердил я и, повернувшись к нему, сказал: — Благодарю вас!

— Не за что, — встав и подойдя ко мне, сказал он, — меня зовут Голубчик. Семен Семенович Голубчик.

Мы обменялись рукопожатием. Хозяин и оба гостя рассмеялись.

— Откуда вам обо мне известно? — спросил я.

— Знакомство с русской тайной полицией не прошло напрасно, — ответил Голубчик.

В моей голове тут же сложился захватывающий сюжет: этот человек был старым сотрудником охранки и прикончил в Париже одного шпиона-коммуниста. Вот почему эти белорусские эмигранты, без всякой опаски и задних мыслей, чуть

ли не трогательно называют его “нашим убийцей”. Да, верно, все четверо — заодно.

— А откуда вы знаете наш язык? — спросил один из гостей.

И снова за меня ответил Голубчик:

— Он во время войны служил на Восточном фронте и шесть месяцев пробыл в так называемых “оккупационных войсках”!

— И это правда, — подтвердил я.

— Позже, — продолжал Голубчик, — он еще раз был в России, я хотел сказать, в Советском Союзе. По поручению одной крупной газеты. Он писатель!

Меня не слишком поразила эта точность сведений о моей личности, потому что я уже прилично выпил, а в этом состоянии я едва отличаю странное от само собой разумеющегося. Очень вежливо и несколько напыщенно я сказал, что благодарен за проявленный ко мне интерес и за то, что таким образом меня выделили среди прочих. Все засмеялись, а хозяин сказал, что я говорю, как старый петербургский советник. После этого все сомнения по поводу моей личности были развеяны, я даже почувствовал к себе благосклонное отношение, и все мы еще четырежды выпили за наше здоровье.

Заперев двери и убрав часть освещения, хозяин предложил нам присесть. Стрелки стенных часов показывали половину девятого. У меня не было никаких часов, а спрашивать о времени кого-то из гостей мне показалось неприличным. Склонен думать, что провел там полночи, а то и всю ночь. Перед нами стоял большой графин со шнапсом. По моей оценке, мы выпили в ту ночь, по меньшей мере, половину содержимого. Я спросил:

— Господин Голубчик, почему вас так странно назвали?

— Это мое прозвище, но не только. Много лет назад я убил одного мужчину и, как я тогда думал, также одну женщину, — сказал он.

— Это было политическое убийство? — спросил хозяин, и мне стало ясно, что и другие ничего, кроме прозвища, об этом не знают.

— Ничего подобного, — сказал Семен, — у меня не было никаких контактов с политиками, и я вообще не занимался общественной деятельностью. Мне ближе жизнь частная, и интересует меня только она. Я — настоящий русский, хотя родился на периферии, на Волыни. Но я никогда не мог понять моих сверстников с их безумной жаждой посвятить свою жизнь какой-нибудь сумасшедшей или даже здравой идее. Нет! Поверьте мне, нет! Приватная жизнь, простая человечность — намного больше, важнее, трагичнее, чем все

общественное. Возможно, сегодня это звучит абсурдно, но я так думаю и до самого конца моей жизни буду так думать. Никогда политические страсти не смогли бы довести меня до убийства. И я не верю, что политический преступник лучше или благороднее любого другого, если, разумеется, вообще преступника можно считать благородным человеком. Например, сделавшись убийцей, я все равно остался вполне приличным человеком. Уважаемые господа, до убийства довела меня одна стерва, выражаясь мягче, — одна женщина.

— Очень интересно! — воскликнул хозяин.

— Вовсе нет! Очень буднично, банально, — скромно сказал Семен Семенович, а потом добавил: — И все же не совсем банально. Я могу вкратце рассказать вам мою историю, и вы увидите, что она, в общем-то, совсем простая.

И он начал рассказывать. Его рассказ оказался ни коротким, ни банальным. Поэтому я решил его здесь записать.

— Я пообещал вам небольшую историю, — сказал Голубчик, — но вижу, что начинать надо издалека, и поэтому прошу вас о терпении. Еще раньше я говорил, что меня интересует только частная жизнь. Сейчас я хочу вернуться к этой мысли. Хорошо присмотревшись, непременно приходишь к тому, что все так называемые большие исторические события на самом деле объясняются каким-то обстоятельством из личной жизни человека, иногда этих обстоятельств несколько. Полководцем, анархистом, социалистом или реакционером становятся не случайно, а только если на то есть личные причины. И все великие, благородные или постыдные деяния, меняющие в какой-то степени мир, являются следствием ничтожных происшествий, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Как уже говорилось, я был шпионом. И я часто ломал голову над тем, почему именно мне выпало такое недостойное занятие, ибо Господь, безусловно, к нему не благосклонен. Несомненно, меня оседлал демон, и это продолжается до сегодняшнего дня. Вы же видите, я больше не живу этим, но я не могу, не могу совсем оставить это дело. Наверняка существует какой-то демон шпионажа или сыска. Если меня кто-нибудь заинтересует, как, например, этот господин писатель, — и Голубчик головой указал на меня, — то я не успокоюсь, точнее что-то во мне не успокоится, пока я не узнаю, кто он, чем занимается, откуда родом. Разумеется, я знаю о вас больше, чем вы предполагаете. Ваша квартира через дорогу, и временами, утром, еще в неглиже, вы смотрите из окна. Но речь ведь не о вас, а обо мне. Итак, пойдем дальше.

Богу это ремесло явно не нравится, и все же окольными путями он дал мне понять, что выбрал его для меня.

Господа, или, по доброй, старой традиции моей родины, скажу лучше, друзья мои, как вам известно, моя фамилия — Голубчик. Справедливо ли это, спрашиваю я вас. Я всегда был большим и сильным. Еще мальчиком физически я был намного сильнее моих товарищей. И именно мне досталась фамилия Голубчик. Правда, тут вот еще что: по закону, по так называемому "закону природы", это не моя фамилия. Это фамилия моего официального отца. Между тем фамилия моего настоящего, биологического отца была Кропоткин. И я даже замечаю, что произношу это имя не без какого-то порочного высокомерия. В общем, вы поняли, я был незаконнорожденным. Князю Кропоткину принадлежало множество имений в разных областях России. И в один прекрасный день его охватило желание купить имение на Волыни. Ведь у таких людей случаются подобные прихоти. И тут он познакомился с моим отцом и моей мамой. Отец мой был старшим лесничим. Кропоткин решил уволить всех работников прежнего хозяина, но, увидев мою маму, уволил всех, за исключением отца. С этого-то все и пошло. Представьте себе обычного, светловолосого лесника в обыкновенной, соответствующей этой профессии одежде, и перед вами предстанет мой законный отец. Его отец, сиречь мой дед, был еще крепостным. Вам, думаю, ясно, что лесничий Голубчик не возражал против того, чтобы князь Кропоткин, его новый хозяин, частенько навещал мою маму в те часы, когда замужние женщины в нашей стране обычно спят со своими законными мужьями. Нет никакой надобности продолжать. Через девять месяцев на свет появился я, а мой настоящий отец к тому времени уже три месяца пребывал в Петербурге. Он присылал деньги. Он был князем и вел себя, как подобает князю, и моя мама до конца жизни помнила его. Заключил я это из того факта, что кроме меня у нее детей не было, а значит, после этой истории с Кропоткиным она уклонялась от исполнения своих, прописанных законом, супружеских обязанностей. Я точно помню, что лесничий Голубчик и моя мама никогда не спали в одной постели. В то время как в комнате он один занимал просторную супружескую кровать, у нее было импровизированное ложе в кухне на довольно широкой деревянной скамье, прямо под иконой. У лесника был достаточно хороший доход, и он мог позволить себе комнату и кухню. Мы жили примерно в двух-трех верстах от ближайшей деревни Вороняки, на краю темного леса. Ближе к деревне была более светлая березовая роща, а в нашем лесу росли одни ели. Мой законный отец, лесничий Голубчик, в сущности, был мягким человеком. Я ни разу не слышал, чтобы он ссорился с мамой. Но они оба знали, что́ между ними стоит, хотя никогда об этом не говорили. Однажды, мне тогда было лет во-

семь, в нашем доме появился один мужик из Вороняков. Он спросил лесника, но отец в это время как раз обходил лес. Когда мама сказала ему, что ее муж не появится до позднего вечера, мужик сел, сообщив, что может ждать до вечера и даже дольше, — до самого своего ареста, а это, по меньшей мере, — еще целый день! На вопрос мамы, почему его должны арестовать, он, улыбнувшись, ответил, что своими собственными руками задушил Арину, свою родную дочь Арину. Сидя около печки, я в мельчайших подробностях видел и маму, и этого мужика. Я хорошо запомнил эту сцену, и никогда ее не забуду! Я никогда не забуду, как, произнося те страшные слова, мужик с улыбкой смотрел на свои вытянутые вперед руки. Моя мама, которая в это время замешивала тесто, бросила муку, воду, наполовину вытекшее яйцо и, перекрестившись, а потом сложив руки на своем голубом фартуке, подошла к мужику и спросила:

— Вы задушили свою Арину?

— Да, — подтвердил мужик.

— Но почему, Господи, твоя воля, почему?

— Потому что она развратничала с вашим мужем, лесничим Семеном Голубчиком. Так ведь зовут вашего лесничего?

Все это мужик говорил, тоже улыбаясь какой-то незаметно выглядывающей из-за слов, точно луна из-за темных туч, улыбкой.

— В этом повинна я, — сказала мама.

До сих пор я слышу эти слова, как если б это было вчера. Тогда я их не понял, но хорошо запомнил. Она еще раз перекрестилась, потом взяла меня за руку и, оставив мужика в доме, пошла со мной через лес, то и дело выкрикивая имя Голубчика. Никто не откликался. Вернувшись домой, мы увидели, что мужик сидит, как сидел.

— Хотите каши? — спросила его мама, когда мы начали есть.

— Нет, — улыбаясь, вежливо ответил наш гость. — Но если у вас есть самогонка, то я не прочь.

Мама налила ему самогона, он выпил, и я хорошо помню, как он запрокинул голову и через его обросшее щетиной горло, словно это можно было увидеть снаружи, полилась водка. Он пил, пил и продолжал сидеть. Должно быть, стояла осень, и, когда солнце село, наконец пришел мой отец.

— Ах, Пантелеймон! — приветствовал он мужика.

— Давай, пожалуй, выйдем, — встав, совсем спокойно сказал тот.

— Зачем? — спросил лесник.

— Я только что убил Арину, — все так же спокойно ответил мужик.

Лесник сразу же вышел. О чем они говорили, мне неизвестно, но их очень долго, может быть, целый час, не было ни видно, ни слышно. Моя мама на кухне стояла на коленях перед иконой. Было тихо. Наступила ночь. Мама не зажигала света, и темно-красные лампадки под иконой были единственными светлыми пятнами в доме. Никогда до этого часа мне не было так страшно. Я примостился возле печки. Мама все время стояла на коленях и молилась, а отец все не приходил. Возможно, прошло еще три часа или даже больше, и вот, наконец, перед домом послышались шаги и чьи-то голоса. Отца, который весил немало, принесли четверо мужиков. Он был весь в крови. Наверняка его так отделал отец его любовницы.

Теперь я буду краток. Лесничий Голубчик от этих побоев так и не пришел в себя, заниматься своим делом он больше не мог и спустя пару недель умер. Хоронили его в очень холодный, уже зимний день, и я ясно помню, как могильщики в толстых, шерстяных рукавицах похлопывали себя, чтобы немного согреться. Отца моего повезли на санях. Мы с мамой тоже сидели в санях, и во время езды мороз жалил мне лицо тысячью тоненьких, кристаллических иголок. Похороны отца принадлежат скорее к светлым воспоминаниям моего детства.

Passons![1] — как сказал бы француз. Прошло немного времени, и я пошел в школу. Будучи мальчиком смекалистым, по поведению учителей я скоро понял, что я сын Кропоткина. А в один знаменательный день он и сам пожаловал в поместье. Это было весной, к его приезду деревня Вороняки была прибрана и украшена гирляндами, которые тянулись из конца в конец улицы. Князя встречал духовой оркестр. Целую неделю под руководством нашего учителя проводились репетиции. Но мама на этой неделе в школу меня не пустила, я тайком выведал, что все готовятся к приезду князя. И вот он приехал.

Деревню с ее гирляндами, музыкантов с их музыкой он предоставил самим себе, а сам — прямиком к нам. У него была красивая, темная с легкой проседью клинообразная бородка, от которой шел запах сигар. Кисти рук у него были очень длинными, худощавыми и сухими, даже тощими. Он гладил меня, расспрашивал. Поворачивая во все стороны, рассматривал мои руки, уши, глаза, волосы. Потом сказал, что у меня грязные уши и ногти. Достав из кармана жилетки маленький ножик из слоновой кости, он через две-три минуты из обычной доски вырезал для меня фигурку человека с бородой и длинны-

1. Не будем об этом! (*франц.*) (*Здесь и далее – прим.перев.*)

ми руками (позже я узнал, что он был искусным резчиком). Потом, тихо поговорив с моей мамой, он нас покинул.

С той поры, друзья мои, я уже совершенно точно знал, что я сын не Голубчика, а Кропоткина. Конечно, мне было обидно, что князь пренебрег и украшенной улицей, и музыкантами. В моем представлении было бы лучше, если бы, сидя рядом со мной в роскошной, запряженной четверкой белых лошадей коляске, он заехал в деревню. И тогда бы все — учителя, крестьяне, батраки и даже начальство — признали бы во мне законного, так сказать, угодного Богу наследника князя. А музыка и гирлянды предназначались бы скорее мне, а не моему отцу. Да, друзья мои, вот таким дерзким, тщеславным, эгоистичным, с безудержной фантазией был я тогда. О моей маме в этой ситуации я нисколько не думал. Правда, я все-таки понимал, что родить ребенка не от законного мужа для женщины — своего рода позор. Но ни позор моей мамы, ни мой собственный меня не трогали. Ровно наоборот, все это меня радовало, я воображал себе, что не только от рождения отмечен каким-то особым знаком, но к тому же являюсь любимым сыном князя. И даже после того, как все стало ясно, как божий день, фамилия Голубчик меня раздражала еще больше. Особенно потому, что после смерти лесника и приезда князя к моей маме, все произносили ее так язвительно, с таким особым оттенком, словно это была не нормальная, узаконенная, фамилия, а какая-то кличка. Это тем более злило меня, поскольку я сам эту смешную, совсем не подходящую мне фамилию воспринимал как насмешку, как прозвище. В моем тогда еще юном сердце с внезапной быстротой чередовались разные чувства. Я ощущал себя подавленным, даже униженным, а потом вдруг или даже одновременно с этим — снова важным и заносчивым. А иногда эти чувства, смешиваясь, сражались во мне. Все было так, друзья мои, как будто в моей маленькой мальчишеской груди поселилось жуткое чудовище.

Я отчетливо чувствовал милость и покровительство князя Кропоткина. В отличие от остальных мальчиков нашей деревни в одиннадцать лет я отправился в город В. учиться в гимназии. Вскоре по многим признакам я понял и немало этому обрадовался, что и здесь всем учителям известна тайна моего рождения. Но я не перестал злиться из-за несуразности моей фамилии. Я быстро рос вверх и почти так же вширь, а меня все еще звали Голубчик.

И чем взрослее я становился, тем больше это меня обижало. Я был Кропоткиным и имел, черт возьми, право так называться. Я решил еще немного подождать. Ну, еще год. Быть может, за это время князь все обдумает и в один прекрасный

день явится — желательно, на глазах у всех, кто меня знал, — и пожалует мне свое имя, титул и все свое баснословное имущество. Я не хотел его опозорить, я хорошо и упорно учился. Мною были довольны. Но все это, друзья мои, было не чем иным, как дьявольским, сводящим меня с ума тщеславием. Оно мучило меня все больше, и вскоре я начал действовать. Правда, ничего гнусного вначале я не делал. Вы сию минуту непременно об этом услышите.

Итак, решив ждать целый год, я сразу же начал упрекать себя за это решение. Я полагал, что год — это слишком долго. Меня мучило нетерпение, и я пытался у самого себя выторговать пару месяцев. Я говорил себе, что решительный человек может далеко пойти, а в ту пору, друзья мои, я считал себя решительным человеком, которому негоже терять достоинство, терпение, отказываться от своих намерений. Вскоре я стал думать, что князь каким-то таинственным, прямо-таки магическим образом уже давно чувствует, чего я от него жду, и эти суеверные мысли помогали мне сохранять уверенность. Порой я воображал, что наделен какой-то сверхъестественной силой и что, вдобавок, невзирая на тысячи разделяющих нас верст, я самой природой связан с моим любимым отцом. Эти фантазии успокаивали меня и временно усмиряли мое нетерпение. Но по истечении года я подумал, что буду дважды прав, если напомню князю о его обязанностях по отношению ко мне, ибо то, что мне удалось преодолеть трудности этого года, я рассматривал как свою собственную большую заслугу. И тут произошло нечто, что ясно показало: само провидение одобряет мои намерения. Это было вскоре после Пасхи, в самый разгар весны. В это время года и душой, и телом я всегда чувствовал и чувствую по сей день прилив свежих сил и твердую, безрассудную, ни на чем не основанную уверенность, что мне подвластно все невозможное. Как-то, когда я жил в пансионе, я стал свидетелем одного странного случая. Это был разговор между хозяином пансиона и одним посторонним человеком, видеть которого я не мог, так как находился в соседней комнате. Я бы тогда многое отдал за то, чтобы увидеть этого человека и самому с ним поговорить, но мне нельзя было обнаружить свое присутствие. Очевидно, никто не думал, что я в это время нахожусь в доме, вернее, в соседней комнате. Я действительно оказался там случайно. Мой хозяин, почтовый служащий, разговаривал с этим человеком достаточно громко. После первых донесшихся до меня слов я сразу понял, что это тот самый представитель князя, который каждый месяц оплачивает мое питание, жилье и одежду. Вероятно, хозяин повысил цены, а представитель князя не соглашался с этим.

— Но я же вам сказал, — слышал я голос незнакомца, — что не могу в течение месяца с ним связаться. Он в Одессе. И пробудет там еще шесть-восемь недель. Он не хочет, чтобы его беспокоили, он не читает писем, живет замкнуто, целыми днями любуется морем и ни о чем не думает. Я повторяю вам, что не могу с ним связаться.

— Уважаемый, сколько же я должен еще ждать? — спросил мой хозяин. — С тех пор как он здесь, я заплатил дополнительных тридцать шесть рублей. Однажды он заболел, шесть раз сюда приходил врач, но мне никто ничего не возместил.

К слову сказать, я знал, что мой хозяин лжет, я не болел ни разу. Но тогда взбудоражило меня не это, а тот незначительный факт, что Кропоткин живет в Одессе, живет обособленно, у моря. В моей душе разыгралась страшная буря. Море, уединенный дом, желание князя шесть или даже восемь недель быть полностью оторванным от мира — все это тяжело ранило меня. Как будто князь удалился только для того, чтобы больше ничего обо мне не слышать, и будто он боялся меня, боялся, как никого другого на свете.

Это значит, сказал я себе, что год назад каким-то магическим путем до князя дошла весть о моем решении, но ввиду вполне объяснимой слабости он так ничего и не предпринял. А теперь, когда год на исходе, он испугался меня и спрятался. И все-таки, чтобы вы, друзья, лучше меня узнали, я хочу добавить, что тогда по отношению к князю я был способен и на легкий порыв великодушия. Мне стало его жаль, я был склонен истолковать его побег как простительную нерешительность. Вот так дерзко о ту пору я переоценивал свою значимость. Мой безумный план покорить князя был вызывающей смех заносчивостью, а мое детское великодушие, с которым я хотел простить ему мнимую слабость, — психотическим, как сказали бы врачи, состоянием.

Через час, после того как я случайно подслушал вышеупомянутый разговор, я взял остаток денег, заработанных мною уроками, и отправился к маме. Последний раз я был у нее на Рождество. Когда, всполошив ее своим внезапным появлением, я ее увидел, то сразу понял, что она больна. За те несколько месяцев, что мы не встречались, она очень постарела, стала совсем седой, и это сильно напугало меня. Впервые в жизни я отчетливо понял на примере самого близкого мне человека, что такое неумолимое приближение старости. А поскольку сам я был еще молод, для меня старость не означала ничего иного, кроме смерти. Да, смерть своими ужасными руками вцепилась в темя моей матери, чьи волосы увяли и поседели. Значит, она скоро умрет, думал я, искренне потрясенный. И

повинен в этом, продолжал я думать, все тот же князь Кропоткин. Из-за чего князь, а он и без того в моих глазах был виноват, заслуживал еще большего укора. Чем тяжелее становилась его вина, тем правомочнее казалось мне дело, которое я замышлял.

Короче говоря, я сказал маме, что приехал лишь на пару часов по крайне необычному и секретному вопросу. Завтра я должен уехать в Одессу. Нет, ничего не случилось, — просто позвал князь. Вчера к хозяину приехал его представитель и передал это сообщение. А мама — единственный человек, которому я об этом говорю. Подчеркнув с важным и глупым видом, что она должна хранить молчание, я предположил, что князь, возможно, при смерти.

Едва я сделал этот лживый намек, как мама, сидевшая до этого на деревянном пороге нашего дома и спокойно слушавшая меня, мгновенно вскочила. Она всплеснула руками, кровь ударила ей в лицо, по щекам потекли слезы. Я увидел, что очень напугал ее, и сам тоже жутко испугался, гадая при этом, что она сейчас скажет.

— Тогда, — сказала она, — я еду с тобой. Быстро, быстро поехали. Он не должен, не должен умереть. Мне необходимо его увидеть!

Сколь сильна, сколь велика была любовь этой простой женщины! Много лет прошло после последнего поцелуя ее возлюбленного, но она помнила его так, словно это было вчера. Сама смерть уже прикоснулась к ней, но это не смогло стереть, не смогло предать забвению прикосновение ее любимого.

— Он написал тебе? — спросила мама.

— Успокойся! — сказал я.

И так как моя мама не умела писать и читать, я позволил себе еще одну низкую ложь:

— Он своей рукой написал мне несколько предложений. И это говорит о том, что ему не так уж плохо, — сказал я.

Моментально успокоившись, она поцеловала меня. И я не устыдился этого поцелуя.

Она дала мне двадцать рублей — довольно тяжелую, завернутую в голубой носовой платок горсть серебра. Засунув ее под рубаху, я немедленно отправился в Одессу.

Да, друзья мои, я ехал в Одессу, ехал с чистой совестью, не чувствуя никакого раскаянья. Передо мной была цель, и ничто не могло меня удержать. Когда я приехал, был сияющий, весенний день, и я впервые в жизни увидел большой город. Причем это был не типичный большой русский город. Во-первых, потому, что Одесса была портовым городом, а во-вторых, я слышал, что большинство улиц и домов в ней были построены

по европейским образцам. Одесса, наверное, не сравнима с Петербургом, с тем Петербургом, что жил в моем воображении, но она тоже была большим, очень большим городом. Одесса лежала у моря, в ней был порт, это был первый город, в который я приехал один, по собственной воле, и он стал первой ступенью на моем странном пути наверх.

Покидая вокзал, я под рубахой нащупал свои деньги — они были на месте. Я снял комнату в маленькой гостинице неподалеку от порта, полагая, что очень важно жить как можно ближе к князю. Я ведь слышал, что он живет в доме "у моря", а значит — тоже недалеко от порта. У меня и на мгновение не возникало сомнения в том, что князь, узнав о моем приезде, тут же начнет настойчиво меня упрашивать поселиться у него. О дальнейшем я не думал, я сгорал от любопытства, так мне хотелось узнать то место, где располагался его таинственный дом. По моим представлениям, в Одессе все должны были знать, где живет князь Кропоткин, но спросить об этом хозяина гостиницы я не отваживался. Причиной тому был и сковывающий меня страх так открыто наводить справки, и в то же время — своего рода позерство. Мне уже казалось, что я и есть князь Кропоткин, и меня веселил этот спектакль, в котором я, так сказать, инкогнито в очень дешевой гостинице скрываюсь под смешной фамилией Голубчик. Я решил узнать, где он живет, у первого полицейского.

Но сначала пошел в порт. Не спеша шатаясь по оживленным улицам большого города, я задерживался у каждой витрины, в особенности у тех, где были выставлены велосипеды и ножи. Я строил всевозможные планы относительно покупок, ведь завтра или послезавтра можно будет купить все, что мне нравится, даже совсем новую школьную форму. Прошло много времени, и вот я пришел в порт. Море было темно-синим. В сто раз синее, чем небо, и вообще красивее неба, потому что его можно было потрогать руками. И если в небе парили недосягаемые облака, то по морю плыли осязаемые, снежно-белые, большие и маленькие корабли.

Колоссальный, неописуемый восторг наполнил мое сердце, и на какое-то время я даже забыл о князе. Некоторые стоящие в гавани корабли еле-еле покачивались, и когда я к ним приблизился, то услышал неустанные удары голубой воды о белое размягченное дерево и о черное жесткое железо. Я видел громадные, похожие на летящих по воздуху железных птиц краны, извергающие из широко разинутого темно-коричневого зева свой груз прямо на ожидающие тут же корабли. Каждый, друзья мои, кто впервые в жизни увидел море и порт, знает, о чем я говорю. И я не стану утомлять вас долгими описаниями.

Через какое-то время я почувствовал голод и направился в кондитерскую. Я был в том возрасте, когда, испытывая голод, идешь не в ресторан, а в кондитерскую. Там я досыта наелся и, думаю, произвел большое впечатление на окружающих своей непомерной любовью к сладкому. Располагая деньгами, я поглощал одно пирожное за другим, выпил две чашки очень сладкого шоколада, а когда уже собирался уйти, к моему столику неожиданно подошел некий господин и что-то сказал, чего я не сразу понял. Наверное, в первый момент я выглядел очень напуганным. И только когда он продолжил, я начал медленно что-то понимать. Впрочем, говорил он с иностранным акцентом. Я тут же догадался, что он не русский, и этот факт сам по себе вытеснил мой первый испуг и пробудил во мне что-то вроде гордости. Почему? Не знаю. Мне сдается, что мы, русские, чувствуем себя польщенными, когда нам выпадает возможность пообщаться с иностранцем. А под иностранцами мы подразумеваем именно европейцев, то есть людей, в сравнении с нами более разумных, но вовсе не таких достойных. Нам порой кажется, что Бог был особенно благосклонен к европейцам, несмотря на то что они в него не верят. Потому-то, скорее всего, и не верят, что он был к ним так добр. В результате они заносятся, думая, что сами создали этот мир, и вдобавок еще им не довольны, хотя, по их же мнению, сами несут за него ответственность. Видишь, думал я про себя, разглядывая иностранца, в тебе, должно быть, есть что-то особенное, если с тобой заговорил европеец, тем более что он намного старше тебя, лет на десять, наверное. Мы будем с ним вежливы, мы покажем ему, что мы не какой-нибудь там простой крестьянин, а образованный русский гимназист...

Рассматривая этого иностранца, я отметил, что он, как говорится, — пижон. В руках у него была мягкая красивая соломенная шляпа, какую в России, конечно, не купишь, и тросточка с серебряным набалдашником. На нем были желтоватый сюртук из русской чесучи, белые брюки в тонкую голубую полоску и желтые ботинки на пуговицах. Вместо пояса его изящный живот обтягивала жилетка из белой, ребристой ткани, застегнутая на три изумительные, сияющие радугой перламутровые пуговицы. Необыкновенно эффектно смотрелась его плетеная золотая цепочка для часов с большим карабином посредине и множеством мелких подвесок: пистолетиком, ножичком, зубочисткой и миленьким, крошечным колокольчиком. И все это — из чистого золота. Лицо этого господина я тоже хорошо запомнил. У него были очень густые, черные как смоль, разделенные на пробор волосы, узкий лоб и маленькие, закрученные кверху усики, чьи кончики заползали в ноздри.

Лицо у него было бледное и, как говорится, интересное. И весь он показался мне тогда изысканным, очень благородным господином из Европы. Должно быть, сказал я себе, с обычным русским, каких в кондитерской было много, он не заговорил бы. Во мне же глазом европейского знатока он, несомненно, сразу увидел что-то особенное; увидел, что я, пусть еще безымянный, но настоящий князь.

— Я вижу, вы здесь, в Одессе, — чужой, — сказал иностранец. — Я тоже. Я не из России. Стало быть, в известном смысле мы — товарищи. Товарищи по судьбе!

— Я только сегодня приехал, — сказал я.

— А я неделю назад.

— Откуда вы? — спросил я.

— Я венгр, из Будапешта, — ответил он. — Разрешите представиться: меня зовут Лакатос, Йено Лакатос.

— Но вы хорошо говорите по-русски.

— Учил, друг мой, учил, — сказал венгр, хлопнув при этом набалдашником трости меня по плечу. — У нас, венгров, большой талант к языкам!

Мне было неприятно ощущать на плече его трость, и я смахнул ее. Он извинился, улыбнувшись и показав свои блестящие, белые, немного опасные зубы и розовые десны. Его черные глаза сверкали. Я еще никогда не видел ни одного венгра, но какое-то представление о них у меня уже было. Оно сложилось из всего, что я знал о них из истории. Не могу сказать, что эти знания пробуждали во мне хоть какое-то уважение к этому народу. На мой взгляд, они были еще менее европейцами, чем мы. Они были пробравшимися в Европу и оставшимися в ней татарами. Они были подданными австрийского короля, так мало их ценившего, что он обратился к нам, русским, за помощью, дабы подавить поднятый венграми мятеж. Наш царь помог, и восстание было подавлено. Возможно, я бы не стал ближе знакомиться с этим господином Лакатосом, если бы он вдруг не сделал кое-что невероятно поразившее меня. Из левого кармашка своей ребристой жилетки он достал маленький, плоский флакончик и его содержимым побрызгал лацканы своего сюртука, голубой в белую крапинку галстук и руки. И тут поднялся такой сладкий, одурманивший меня аромат, мне почудилось, что это прямо-таки божественное благовоние. Я не смог ему противостоять. И когда Лакатос сказал, что мы должны вместе поужинать, я тут же согласился.

Обратите внимание, друзья мои, как жестоко обошелся со мной Господь, подсунув мне этого надушенного Лакатоса на первом же перекрестке моего пути. Без этой встречи моя жизнь сложилась бы совсем иначе.

Да, Лакатос повел меня прямиком в ад. Правда, этот ад он опрыскал духами.

Одним словом, мы пошли вместе — господин Лакатос и я. Первым делом мы вдоль и поперек исходили улицы Одессы. Тут только я обратил внимание, что мой спутник хромает. Хромота его была едва заметна; собственно говоря, это была даже не хромота — он своей левой ногой словно прочерчивал по брусчатке какую-то фигуру. С тех пор я ни разу не видел такого грациозного хромого. Он не выглядел немощным, а его хромота, скорее, походила на искусный трюк, и именно это меня сильно насторожило. Должен вам сказать, что в то время я был настроен скептически и, кроме того, безмерно гордился этим своим скептицизмом. Я казался себе очень умным, поскольку, несмотря на свой юный возраст, уже знал, что небо — это голубой воздух, в котором нет ни ангелов, ни Бога. И хотя у меня была потребность в них верить, и в действительности мне было очень жаль, что в небе я должен видеть лишь воздух, а во всех земных событиях — сплошную слепую случайность, все же я не мог отказаться от своих познаний и той высокомерной гордости, что они мне придавали. Эти чувства были во мне столь сильны, что вопреки жажде поклонения Богу, я все же был вынужден поклоняться, так сказать, самому себе. Но когда я заметил эту грациозную, эту заискивающую хромоту моего товарища, то в мгновение ока почувствовал, что это был никакой не человек, не венгр, не Лакатос, это был посланник ада. И тут мне вдруг стало ясно, чего стоил мой скептицизм, он был таким же пустым местом, как и прочие глупости, которые я в ту пору называл “своим мировоззрением”. Ибо, несмотря на то что я не верил в Бога, я верил в черта и испытывал большой страх перед ним. Небеса для меня опустели, а вот отрешиться от ужасов ада я не мог. Не было ни малейшего сомнения в том, что Лакатос хромает, а я изо всех сил разубеждал себя в том, что отчетливо видели мои глаза. Затем я сказал себе, что это вполне нормально, что люди тоже хромают, и стал вспоминать всех хромых, которых когда-либо знал. Например, почтальона Василия Колохина, дровосека Никиту Меланюка, трактирщика Степана Олепчука из Вороняков. Но чем отчетливее я представлял себе этих людей, тем явственнее видел разницу между их дефектом и хромотой моего нового приятеля. Время от времени, когда мне казалось, что он не обратит внимания и не обидится, я незаметно отставал на пару шагов, чтобы понаблюдать за ним. Нет, сомнений быть не могло, он на самом деле хромал. Сзади его походка казалась еще удивительнее, она буквально завораживала, казалось, что он левой ногой незаметно вычерчивал какие-то знаки, и его левый заостренный и очень элегант-

ный желтый башмак вдруг, всего на секунду, показался мне длиннее правого. В конце концов, чтобы самому себе доказать, что все мои подозрения — лишь отголосок моей старой болезни, суеверия, я не выдержал и решил спросить у господина Лакатоса, действительно ли он хромает. Очень осторожно, несколько раз обдумав вопрос, я произнес:

— Вы что, поранили левую ногу? Или, может, ботинок жмет? Мне показалось, что вы хромаете.

Лакатос замер на месте, схватил меня за рукав, чтобы я тоже остановился, и сказал:

— А вы разглядели! Должен вам сказать, мой юный друг, у вас глаз, как у орла! Нет, правда, у вас замечательное зрение! До сих пор это замечали немногие. Мы познакомились недавно, но вам я могу рассказать, потому что чувствую себя вашим старым другом или даже старшим братом. В общем, ногу я не поранил, и дело не в ботинке, он сидит отлично. Я хромой от рождения, и с годами даже сделал из этого недостатка своего рода художество. Я учился верховой езде, фехтованию, играю в теннис, легко прыгаю в высоту и в длину. Я часами могу бродить и даже подниматься в горы. А еще люблю плаванье и велосипед. Знаете, мой друг, больше всего природа благоволит к тому, кого она наградила небольшим изъяном. Будь я безупречен, вероятнее всего, ничему бы не научился.

Пока Лакатос все это говорил, он крепко, как я уже упоминал, держал меня за рукав. Сам он при этом прислонился к стене дома, а я стоял напротив, почти на середине узкого тротуара. Был светлый, безмятежный вечер, мимо нас весело и непринужденно проходили люди, чьи лица золотило вечернее солнце. Мир казался мне таким счастливым, таким привлекательным, и только мне было плохо. А плохо мне было потому, что я должен был оставаться с Лакатосом. Порой мне казалось, что нужно немедленно его бросить, тем не менее я чувствовал, что он крепко держит меня не только за рукав, а в каком-то смысле и за душу. Как будто он ухватился за краешек моей души и больше ее не отпускает. Я тогда не умел ни ездить верхом, ни кататься на велосипеде. И мне вдруг показалось таким гадким, что я этого не умею, хотя я не калека. Однако я полагал, что называться Голубчиком еще хуже, чем быть калекой. Я же был Кропоткин и имел право тренироваться на лучших лошадях мира, я должен был, как говорится, всех обскакать. То, что этот венгр, этот господин Лакатос, этот хромой, которого не зовут даже Голубчиком и который ни в коем случае не является сыном князя, владел всеми благородными, относящимися к дворянскому сословию видами спорта, — позорило меня совершенно особым

образом. И получилось, что я, всегда воспринимавший свою смешную фамилию как некий недостаток, вдруг начал думать, что как раз эта фамилия может сделать из меня мастера на все руки, так же как хромая нога Лакатоса помогла ему овладеть всеми благородными видами спорта. Друзья, вы видите, на что способен черт...

Но сам я тогда так не думал, я только предчувствовал. И это предчувствие было чем-то большим, чем просто догадка. Это было нечто среднее между догадкой и уверенностью.

Потом мы продолжили путь.

— Теперь давайте поедим, а затем пойдем ко мне в гостиницу, — сказал Лакатос, — приятно, когда в незнакомом городе у тебя есть близкий друг или младший брат.

Итак, мы пошли есть в гостиницу "Черноморская", ну, друзья мои, вы поняли, куда мы пришли?

Тут Голубчик, сделав паузу, посмотрел на хозяина, а тот выкатил на него свои светлые глаза. При слове "Черноморская" в глазах хозяина зажегся какой-то особенный свет.

— Да, в "Черноморскую", — сказал он.

— Именно что в "Черноморскую", — снова начал Голубчик, — в те времена там был ресторан, который назывался точно так, как тот, в котором мы сейчас сидим: "Тары-бары". И хозяин был тот же самый.

Хозяин, сидевший напротив рассказчика, встал, обошел стол и широким жестом заключил Голубчика в объятья. Они долго, сердечно целовались, потом выпили на брудершафт, и мы, слушатели, тоже подняли стаканы и осушили их.

— Вот так, друзья мои! — продолжил Голубчик. — Можно сказать, что с этого хозяина в том ресторане и начались мои несчастья. В старом "Тары-бары", в Одессе, были цыгане — изумительные скрипачи и цимбалисты. А какое вино! И за все платил господин Лакатос. Я впервые в жизни был в таком месте.

— Ты только пей, пей! — говорил мне Лакатос.

И я пил.

— Пей, пей! — повторял он.

И я снова пил.

Через какое-то время, когда, наверное, было уже далеко за полночь, хотя мне помнится, что в ту ночь полночь длилась без конца, Лакатос спросил меня:

— А что, собственно говоря, тебе надо в Одессе?

— Я приехал, чтобы навестить моего родного отца. Он ждет меня уже несколько недель, — сказал, а вероятнее всего, пролепетал я.

— И кто твой отец?

— Князь Кропоткин.

Услышав это, Лакатос стукнул вилкой по бокалу и заказал еще одну бутылку шампанского.

Я видел, как он под столом потер руки, а над столом, над белой скатертью я увидел его вспыхнувшее узкое лицо, которое вдруг стало красным и полным, словно он надул щеки.

— Я знаю его, знаю их светлость, — заговорил Лакатос, — и теперь начинаю все понимать. Твой папа — старый князь! Ты, безусловно, его незаконный сын! Пеняй на себя, если ты сделаешь хоть малейшую психологическую ошибку! Ты должен повести себя как сильный и опасный человек! Он хитер, как лиса, и труслив, как заяц! Да, дорогой, ты не первый и не единственный! Возможно, по всей России блуждают сотни его внебрачных сыновей. Я его знаю, у меня были с ним дела. Это связано с хмелем. Я, знаешь ли, торгую хмелем. Итак, ты завтра явишься и, разумеется, представишься Голубчиком. Если тебя спросят, что тебе надо от князя, просто скажи, что ты по личному делу. А когда уже будешь стоять перед ним, перед его большим черным, похожим на гроб, письменным столом, и он тебя спросит: “Что вам угодно?”, ты скажешь: “Я ваш сын, князь”! Так и скажешь: “князь”, а не “ваша светлость”. Увидишь, что будет. Я полагаюсь на твой ум. Я сам отведу тебя туда и буду ждать перед дверью замка. А если твой папочка будет с тобой неприветлив, скажи ему, что есть одно средство, одно простенькое средство... И что у тебя есть влиятельный друг! Ты понял?

Я понял все очень хорошо, для меня его слова были медом, и я крепко, от всего сердца пожал под столом руку господина Лакатоса. Он жестом подозвал одну цыганку, потом вторую, третью. Может, их было еще больше. Во всяком случае, одной из них, той, что сидела с моей стороны, я достался полностью. Моя рука запуталась в ее подоле, как муха в сетке. Было жарко, сумбурно, безрассудно, и вместе с тем — это было блаженство.

Но я помню и тяжелое, как свинец, серое утро. Помню что-то мягкое и теплое в чужой постели, в чужой комнате. Помню резкий звук колокольчика в коридоре. И особенно — это тягостное, непристойное похмелье нового дня.

Проснулся я, когда солнце было уже высоко. Спустившись вниз, я узнал, что за комнату уже заплатили. От Лакатоса я получил только записку: “Мне надо срочно уехать, — писал мне он. — Идите сами. Желаю удачи!”

И вот, совсем один, я отправился к замку князя.

Одинокий, гордый, белый дом моего отца, князя Кропоткина, стоял на краю города. Несмотря на то что от морской отмели его отделяло широкое шоссе, мне показалось, что расположен он прямо на берегу. В то утро, когда я подошел к дому

князя, море было таким синим и таким беспокойным, что мне почудилось, будто его ласковые волны то и дело накатывают на каменные ступени замка и лишь иногда отступают, чтобы освободить шоссе. В некотором отдалении от замка была установлена табличка с надписью, гласившей, что проезд всем экипажам запрещен. Было понятно, что князь бережет свой обособленный и надменный покой. Вблизи этой таблички стояли двое полицейских и наблюдали за мной. Я холодно, заносчиво взглянул на них, словно сам собирался им что-то приказать. Если бы они тогда спросили меня, что мне здесь надо, я бы ответил, что являюсь молодым князем Кропоткиным. Собственно говоря, я ждал именно этого вопроса. Но они, сопроводив меня взглядами, которые еще какое-то время я ощущал на своем затылке, дали мне пройти. Чем ближе я подходил к дому Кропоткина, тем больше волновался. Лакатос обещал меня сюда проводить, сейчас же в моем кармане была только его записка. Во мне снова живо звучали его слова: “не говори ему ‘ваша светлость’, говори ‘князь’. Он хитер, как лиса, и труслив, как заяц”. Мои шаги становились все медленнее и тяжелее. Я вдруг почувствовал невыносимую жару этого подобравшегося к полудню дня. Голубое небо, неподвижное море и нещадное солнце. Несомненно, хотя это еще не было заметно, в воздухе притаилась гроза. На минуту я присел на обочину дороги, а когда встал, почувствовал еще большую усталость. Очень медленно, с пересохшим горлом и непослушными ногами, я доплелся до плоских, каменных, сверкающих, белых, как молоко, ступеней дома. И хотя солнце напоило их своим теплом, они посылали навстречу мне живительный поток прохлады. Перед коричневыми, двустворчатыми дверями стоял могучий швейцар. На нем был песочного цвета длинный китель, большой, черный, меховой (несмотря на жару) картуз, а в руке — скипетр с блестящим золотым набалдашником.

Я медленно поднялся по ступеням. Швейцар глянул на меня, только когда я, маленький, вспотевший, жалкий, подошел вплотную к нему. Но и теперь, разглядывая меня, он не шевельнулся. Лишь его большие, круглые, голубые глаза впились в меня, как в червя, улитку, как в какую-то мелочь. Словно я не был, как и он, человеком на двух ногах. Так какое-то время он молча смотрел на меня сверху вниз, как будто не спрашивал о моем намерении только потому, что знал изначально: такое несчастное создание не может понимать человеческую речь. Солнце сквозь кепку нещадно жгло мое темя, убивая тем самым последние мысли, копошившиеся в моем мозгу. До сих пор я не ощущал ни страха, ни сомнения. Но я никак не рассчитывал на встречу со швейцаром, особенно с

таким, который не открывает рта, чтобы спросить, что мне угодно. Маленький и несчастный, я все стоял перед этим гигантом с грозным скипетром. А его круглые, как набалдашник этого скипетра, глаза продолжали покоиться на моей достойной сожаления фигуре. Я не мог придумать ни одного подходящего вопроса, мой пересохший, отяжелевший язык прирос к небу. Мне подумалось, что он должен отдать мне честь или снять головной убор. В моей груди закипал гнев из-за наглости этого прислуживающего моему собственному отцу лакея. Я решил, что мне надо приказать ему снять головной убор, но вместо этого сам снял свою кепку и с непокрытой головой стал еще несчастнее, теперь я вообще был похож на нищего. Он же, будто только того и ждал, спросил меня неожиданно тонким, почти женским голосом о причине моего прихода.

— Я хотел бы увидеть князя, — робко и тихо вымолвил я.

— Вы записаны?

— Князь ждет меня.

— Прошу, проходите, — сказал он чуть громче и уже мужским голосом.

Я вошел. В вестибюле со стульев поднялись два лакея в песочного цвета ливреях с серебряными галунами и пуговицами. Они стояли, как заколдованные, словно каменные львы, каких иногда можно увидеть перед барскими лестницами. Я вновь стал господином. Левой рукой я смял мою кепку, и это придало мне твердости. Я сказал, что хочу видеть князя по личному делу и что он меня ждет. После чего лакеи проводили меня в небольшой салон, на стене которого висел портрет старого Кропоткина, то есть моего деда. Я чувствовал себя дома, хотя у моего деда было худое, очень злое, желтое и чужое лицо. Я — плоть от плоти твоей, подумалось мне. Мой дед! Я вам еще покажу, кто я такой. Я не Голубчик, я — ваш! Ну, или вы — мои!

Между тем я услышал нежный звон серебряного колокольчика, через несколько минут отворилась дверь, какой-то слуга отвесил мне поклон, и я вошел. Я очутился в комнате князя.

Должно быть, он только недавно встал. В мягком, серебристого цвета халате он сидел за своим громадным черным письменным столом, и вправду походившим на саркофаг, в каких хоронили царей.

Его лицо не сохранилось в моей памяти, мне казалось, будто я вижу его первый раз в жизни. И это знакомство сильно испугало меня. Можно сказать, что это уже не был мой отец, по крайней мере, тот отец, к которому я себя готовил, это был чужой князь, князь Кропоткин. Он показался мне серее, худее и выше, хотя он сидел, а я стоял. Когда он спросил: “Что вам угодно?”, я совсем потерял дар речи. Он еще раз повторил свой во-

прос. Теперь я расслышал его голос. Он был хриплым, немного злым и, как мне тогда показалось, лающим. Будто князь в какой-то мере замещал своего дворового пса. И тут на самом деле внезапно появилась огромная немецкая овчарка. Она не вошла ни в одну из двух дверей, которые я заметил в комнате князя. Я не знал, откуда она взялась. Может, пряталась за массивным креслом князя. Неподвижно встав между мною и столом, она пристально смотрела на меня, а я, не отводя взгляда, — на нее, хотя собирался смотреть только на князя. Вдруг собака зарычала, и князь сказал: "Спокойно, Славка!". Сам он тоже рычал почти как собака.

— Итак, что вам угодно, молодой человек? — уже в третий раз спросил князь.

Я все еще стоял у двери.

— Подойдите ближе.

Сделав крошечный, прямо-таки микроскопический шаг вперед, я перевел дух и сказал:

— Я пришел, чтобы потребовать свои права!

— Какие права? — спросил князь.

— Права вашего сына, — совсем тихо произнес я.

На какое-то мгновение воцарилось молчание. Потом князь указал на широкий стул, стоявший перед письменным столом:

— Присядьте, молодой человек.

Я сел. Вернее сказать, я пропал на этом чертовом стуле. Его мягкие подлокотники, притянув меня, не отпускали, как те плотоядные растения, которые притягивают беспечных насекомых, чтобы потом полностью их уничтожить. Я сидел обессиленный и, как мне тогда показалось, еще более бесславный, чем был, пока стоял. Не осмеливаясь положить руки на подлокотники, я вдруг почувствовал, что они, как парализованные, свисая по обеим сторонам стула, незаметно и по-идиотски начали раскачиваться, а у меня не было сил их удержать. На мою правую половину лица беспощадно светило солнце, и князя я мог видеть только левым глазом. Опустив оба, я решил подождать.

Князь позвонил в стоявший на столе серебряный колокольчик и, когда появился слуга, приказал принести ему бумагу и карандаш. Я не шевелился. Мое сердце сильно заколотилось, а руки стали раскачиваться еще сильнее. Рядом, уютно потягиваясь, что-то проурчала собака. Принесли письменные принадлежности, и князь начал:

— Итак, ваша фамилия?

— Голубчик.

— Место рождения?

— Вороняки.

— Отец?

– Умер.

– Я не спрашиваю о его состоянии здоровья, – сказал Кропоткин, – его профессия?

– Он был лесничим.

– Есть еще другие дети?

– Нет.

– В какой гимназии вы учились?

– В городе В.

– Отметки хорошие?

– Да.

– Хотите ли вы учиться дальше?

– Да, конечно.

– Вас интересует какая-нибудь определенная профессия?

– Нет.

– Так, – отложив карандаш и бумагу, сказал князь.

Он встал, и я увидел под его распахнувшимся халатом кирпично-красные штаны, как мне тогда показалось, из турецкого шелка, и кавказские, украшенные бисером сандалии. Он выглядел так, как в моем воображении мог выглядеть султан. Князь вплотную приблизился ко мне, по дороге пнув собаку, которая, заскулив, отодвинулась в сторону. Я почувствовал на своей опущенной голове его острый, как край ножа, взгляд.

– Встаньте! – сказал он.

Я встал. Он был выше меня на две головы.

– Посмотрите на меня! – приказал он.

Я поднял голову. Он долго рассматривал меня.

– Кто вам сказал, что вы мой сын?

– Никто. Я уже давно знаю об этом. Я подслушал, я догадался.

– Так, а кто вам сказал, что вы можете требовать какие-то там права?

– Никто. Я сам так решил.

– И какие же права?

– Право называться так...

– Как?

– Так, – повторил я, не отваживаясь сказать: “как вы”.

– Вы хотите, чтобы вас звали Кропоткин?

– Да!

– Послушайте-ка, Голубчик! Если вы и правда мой сын, то неудавшийся. Это значит – нелепый, совершенно нелепый.

В его голосе я почувствовал издевку, но вместе с тем впервые в нем прозвучали добрые нотки.

– Вам, Голубчик, следовало бы самому себе сказать, что вы нелепы. Вы признаете это?

– Нет!

— Ну, тогда я вам объясню. По всей России у меня, вероятно, есть много сыновей. Кто знает, сколько? Я долго, слишком долго был молод. Возможно, и у вас уже есть сыновья. Я тоже когда-то был гимназистом. Мой первый сын — от жены школьного смотрителя, второй — от его дочери. Первый из этих сыновей — законнорожденный Колохин, второй — незаконнорожденный Колохин. Эти два имени, если их вообще можно назвать именами, я помню, потому что они были первыми. Но моего лесника Голубчика я не помню совсем, как не помню многих, многих других. Не могут же по миру болтаться сотни Кропоткиных, как думаете? И что это за права и законы? А если б даже и был такой закон, кто может гарантировать, что это действительно мои сыновья? А? И тем не менее я забочусь о них обо всех, если, конечно, о них знают в моей личной канцелярии, ибо я — за порядок. Все без исключения адреса, касающиеся этого вопроса, я предоставил моему секретарю. Ну? Вам есть что добавить?

— Да, — сказал я.

— Что же, молодой человек?

Теперь я мог смотреть на князя абсолютно хладнокровно. Я был достаточно спокоен, а когда наш брат спокоен, он становится наглым и гонористым.

— Меня не интересуют мои братья. Речь идет только о моих правах, — сказал я.

— О каких правах? У вас нет никаких прав. Езжайте домой. Извольте кланяться вашей матушке. Прилежно учитесь. Вот они — ваши права!

Я и не думал уходить. Я заговорил уверенно и резко:

— Однажды вы приезжали в Вороняки и вырезали для меня из дерева человечка, а потом...

Я хотел рассказать о том, как он по-отечески погладил меня по лицу, но в этот момент неожиданно распахнулась дверь, с ликующим лаем вскочила собака, лицо князя прояснилось, засияло, и в комнату влетел молодой человек, едва ли старше меня, тоже одетый в школьную форму. Князь распростер руки, несколько раз поцеловал его в обе щеки, и, наконец, стало тихо. Только пес продолжал вилять хвостом. И тут мо́лодой человек заметил меня.

— Господин Голубчик, — сказал князь, — а это мой сын!

Сын насмешливо посмотрел на меня. У него были блестящие зубы, большой рот, желтый цвет лица и крепкий, аккуратный нос. На князя он был похож меньше, чем я. Так мне тогда показалось.

— Ну, удачи вам! — обратился ко мне князь. — Учитесь хорошо!

Он протянул мне руку, но потом, убрав ее, сказал:

— Подождите!

Подошел к письменному столу, открыл ящик и вынул оттуда тяжелую золотую табакéрку.

— Вот, — сказал он, — возьмите на память и ступайте с Богом!

Он забыл протянуть мне руку. Не поблагодарив, я поклонился и вышел.

Нанесенную мне обиду я ощутил уже оказавшись на улице. От страха и смущения, проходя мимо швейцара, я поклонился, на что он не ответил мне даже взглядом. Солнце стояло высоко в зените. Я почувствовал голод и странным образом постыдился этого чувства. Оно показалось мне низким, вульгарным, недостойным. Меня оскорбили, а я, смотрите-ка, я всего лишь хочу есть! Наверное, я и правда был Голубчиком, и более никем.

Я возвращался по ровной, освещенной солнцем, песчаной дороге, по которой часа два назад шел сюда. Я низко опустил голову, и у меня было ощущение, что я уже никогда не смогу ее поднять. Она была тяжелой и казалась опухшей, будто ее, мою бедную голову, кто-то сильно отдубасил. Двое полицейских так и стояли на том же самом месте. И сейчас они тоже долго смотрели мне вслед. Спустя мгновение, после того как я прошел мимо них, до меня донесся пронзительный свист. Он шел слева, с берега моря. Этот свист испугал меня, но и в какой-то мере отвлек. Я поднял голову и увидел моего приятеля Лакатоса. Бодрый, в своем светло-желтом сюртучке, он стоял на берегу и помахивал мне тростью. Рядом на гальке лежала его изящная шляпа от солнца. Подняв ее, он двинулся мне навстречу и без видимых усилий взобрался на довольно крутой пригорок, отделявший в этом месте море от дороги. Через пару минут он был уже рядом и протягивал мне свою гладкую руку.

Только в этот момент я заметил, что все еще держу в правой руке подаренную князем табакерку. Я постарался как можно ловчее спрятать ее в сумку. Но при всей быстроте моих движений это не ускользнуло от моего друга Лакатоса. Я понял это по его взгляду и улыбке, хотя поначалу он, ничего не говоря, только весело́ пританцовывал возле меня. Когда же перед нами появились первые городские здания, он спросил:

— Ну, я надеюсь, все удалось?

— Ничего не удало́сь, — негодуя от ярости, ответил я, — если бы вы, как обещали вчера, сопровождали меня, все могло бы получиться совсем по-другому. Вы обманули меня! Зачем вы мне написали, что должны уехать? И почему вы до сих пор здесь?

— Что? — закричал он. — Вы что думаете, мне больше нечем заниматься, как беспокоиться из-за ваших делишек? Ночью я получил телеграмму о том, что должен уехать, а потом оказалось, что пока могу остаться. Ну вот, я как настоящий друг и пришел сюда, чтобы узнать, что с вами, как вы.

— Я — никак. Или еще хуже, чем было.

— Он что, не признал вас? Не испугался? Не пригласил?

— Нет!

— Он подал вам руку?

— Да, — солгал я.

— А что еще?

Я вытащил из сумки табакерку и, держа ее на вытянутой руке, остановился, чтобы дать Лакатосу возможность ее рассмотреть. Не притронувшись, он внимательно обвел табакерку глазами и, прищелкнув языком и вытянув губы, тихонько свистнул. Потом он на шаг отпрыгнул, затем вернулся назад и, наконец, произнес:

— Потрясающая штука! Целое состояние! Можно потрогать? — спросил он, уже ощупывая табакерку кончиками пальцев.

Постепенно мы приблизились к городским строениям. Увидев, что навстречу нам движется несколько человек, Лакатос поспешно прошептал:

— Уберите ее!

И я спрятал табакерку.

— Ну, а этот старый лис, он был один? — спросил Лакатос.

— Нет! — сказал я. — В комнату зашел его сын.

— Его сын? У него нет сына. Я хочу вам кое-что сказать. Вчера я позабыл обратить на это ваше внимание! Это не его сын, это сын одного француза, графа П. С момента рождения этого юноши княгиня живет во Франции, в своего рода ссылке. Сына она должна была отдать. Вот такие дела. Должен же быть наследник. Иначе кто удержит все это имущество? Может, вы? Или я?

— Вам это доподлинно известно? — спросил я, и мое сердце, наполнившись чувством мести, зашлось от радости и злорадства. Я вдруг ощутил жгучую ненависть к этому юноше, а старый князь стал мне совершенно безразличен. В один миг все мои чувства, страсти и желания приобрели смысл, я приготовился к новому позору, позабыв о только что пережитом старом. Или еще больше: я полагал, что знаю, кто именно виновен в моем позоре. Если бы — думал я в тот час — этот юноша не вошел в комнату, я наверняка завоевал бы князя. Но он, должно быть, каким-то образом узнал, кто я такой, и поэтому так неожиданно появился. Князь постарел, поглупел, а этот

фальшивый сын падшей женщины, этот француз коварно опутал его своими сетями. И когда я об этом думал, огонь ненависти согревал мою душу, и мне становилось все лучше, все легче. Наконец-то жизнь приобрела смысл и цель. Трагизм моей жизни заключался в том, что я оказался несчастной жертвой негодяя. И с этого часа поставил себе цель — уничтожить его. Меня охватило большое, теплое чувство благодарности по отношению к Лакатосу. Ни слова не говоря, я крепко пожал его руку. Мою он больше не отпускал. Так — рука в руке — подобные двум детям, мы шли по направлению к ближайшему ресторану, в котором обильно, с большим аппетитом поели. Говорили мы немного. Лакатос, точно волшебник, достал из кармана жилетки газету, которую до сей минуты я не замечал, и погрузился в нее. Когда с едой было покончено, он попросил счет и, продолжая читать, придвинул его ко мне.

— Пожалуйста, заплатите пока. Мы потом рассчитаемся, — мимоходом произнес он.

Я полез в сумку за своим кошельком, открыл его и увидел, что вместо серебра он наполнен одними медяками. Я поискал, хорошо помня о двух десятирублевых монетах, которые там лежали, порылся еще какое-то время... Меня охватил ужас, на лбу выступил пот. Не было никаких сомнений — прошлой ночью меня обокрали. Тем временем Лакатос, складывая газету, сказал:

— Ну что, пошли? Потом, посмотрев на меня, испуганно спросил:

— Что случилось?

— У меня больше нет денег, — прошептал я.

Он взял из моих рук кошелек, заглянул в него и сказал:

— Да, бабы!

Затем он достал из бумажника деньги, расплатился, взял меня за руку и начал:

— Ничего страшного, молодой человек, поверьте мне, ничего страшного. В беду мы не попадем ни в коем случае, у нас ведь в сумке имеется такое сокровище, за глаза стоящее не менее трехсот рублей. Мы сейчас кое к кому сходим, но потом, мой друг, вы сразу же отправитесь домой. На сей раз приключений достаточно!

Держась за руки, мы направились туда, куда обещал меня свести Лакатос.

Это был портовый квартал, где в маленьких ветхих домишках жили бедные евреи. Я думаю, это были самые бедные и, к слову сказать, также самые крепкие евреи на свете. Днем они работали в порту: как грузоподъемные краны, они нагружали и разгружали суда. А те, кто послабее, торговали фрук-

тами, семечками, карманными часами, одеждой, ремонтировали сапоги и латали старые брюки — в общем, делали все, что полагается делать бедным евреям. Свою субботу они начинали праздновать в пятницу, с заходом солнца, и поэтому Лакатос сказал:

— Пошли быстрее. Сегодня пятница, и евреи скоро закончат со всеми делами.

Пока я шел туда рядом с Лакатосом, меня охватил сильный страх, мне показалось, будто табакерка, которую я собирался заложить, мне больше не принадлежит, и не Кропоткин мне ее подарил, а я ее украл. Однако я подавил в себе эти чувства и даже повеселел, словно уже забыл об украденных деньгах. Я смеялся над каждым рассказанным Лакатосом анекдотом, хотя совсем их не слушал. Каждый раз я ждал, когда он захихикает, соображал, что история подошла к концу, и после этого разражался смущенным и громким смехом. Я лишь догадывался, что анекдоты были то о женщинах, то о евреях, то об украинцах.

В конце концов, мы остановились перед покосившимся домишком одного часовщика. На доме не было никакой вывески, только по лежащим за окном колесикам, стрелкам и циферблатам можно было понять, что здесь живет часовщик. Им оказался маленький, тощий еврей с дрожащей соломенного цвета козлиной бородкой. Когда он поднялся, чтобы подойти к нам, я заметил, что он хромает. Это была почти такая же приплясывающая хромота, как у моего друга Лакатоса, только не такая аристократическая. Этот еврей походил на грустного, немного замученного ребенка, в глазах которого тлел красноватый огонь. Он взял в свои худые руки табакерку и, как бы взвесив ее, сказал:

— А, Кропоткин!

После чего окинул меня оценивающим взглядом, будто оценивал мой вес своими маленькими глазками, как только что взвешивал в руках табакерку. Внезапно мне показалось, что часовщик и Лакатос — братья, хотя обращались они друг к другу на “вы”.

— Итак, сколько? — спросил Лакатос.

— Как обычно, — ответил еврей.

— Триста?

— Двести!

— Двести восемьдесят?

— Двести!

— Пошли, — сказал Лакатос и взял из рук часовщика табакерку.

Пройдя мимо пары домиков, мы подошли к дому другого часовщика, и, когда вошли, я увидел такого же худого еврея с

желтоватой бородкой. Он встал, но остался стоять за своим столом, так что не было видно, хромой он или нет. Лакатос показал ему табакерку, и этот второй часовщик точно так же произнес лишь: “Кропоткин”.

– Сколько? – спросил Лакатос.

– Двести пятьдесят.

– Годится! – сказал Лакатос, и еврей выплатил нам деньги. Это были десяти- и пятирублевые золотые монеты.

Мы покинули этот квартал.

– Так, мой юный друг, – начал Лакатос, – сейчас мы возьмем машину и поедем на вокзал. Будь умницей, не ввязывайся в дурные дела и береги деньги. При случае пиши мне в Будапешт, вот мой адрес. И он дал мне свою визитку, на которой латиницей и кириллицей было написано:

Йено Лакатос
Торговый агент по продаже хмеля
Фирма “Хайдеггер и Констамм”
Будапешт, улица Ракоци, 31.

Меня сильно покоробило, что он вдруг обратился ко мне на “ты”, и поэтому я сказал:

– Я должен вас поблагодарить и дать денег.

– Не стоит благодарности!

– И все-таки, сколько?

– Десять рублей, – сказал он, и я дал ему одну золотую десятирублевую монету.

После этого он жестом подозвал машину, и мы поехали на вокзал.

В нашем распоряжении было совсем мало времени, так как поезд отходил через несколько минут, и уже был дан первый звонок.

Только я хотел подняться на подножку вагона, как вдруг появились двое необычайно крупных мужчин, по одному слева и справа от моего друга Лакатоса. Они подозвали меня, и я подошел. Они вывели нас из здания вокзала, действовали при этом сурово. Никто из нас четверых не проронил ни слова. Мы обошли вокзал, повернули и пошли там, где были особенно отчетливо слышны гудки локомотивов, затем мы оказались у какой-то маленькой двери. Это был полицейский участок. Двое полицейских стояли у дверей, а сидящий за столом чиновник был занят тем, что ловил мух, в большом количестве летающих по комнате. Мухи, не переставая, жужжали и садились на разложенные на столе белые листы бумаги. Поймав одну из них, чиновник брал ее большим и указательным паль-

цами левой руки и отрывал ей одно крылышко. Затем погружал несчастную в большую чернильницу из перепачканного чернилами белого фарфора. Так мы с Лакатосом и двое сопроводивших нас мужчин простояли примерно четверть часа. Было жарко и тихо. Слышны были только гудки локомотивов, пение мух и тяжелое, как бы похрапывающее дыхание полицейских.

Наконец чиновник подозвал меня. Он опустил в чернильницу, где уже плавало много мух, перо и спросил мою фамилию, потом поинтересовался моим происхождением, а также целью моего пребывания в Одессе. И после того как я на все ответил, он откинулся назад, погладил свои ухоженные пшеничные усы и вдруг, снова наклонившись к столу, спросил:

— Сколько же, собственно говоря, табакерок вы украли?

Я не понял его вопроса и продолжал молчать. Чиновник открыл ящик стола и подозвал меня к себе. Обойдя стол, я подошел к открытому ящику и увидел, что он сплошь заполнен табакерками того типа, что я получил от князя. Ничего не понимая, ошарашенный, стоял я возле ящика. Мне казалось, что меня заколдовали. Я вытащил из сумки мой уже негодный билет и показал чиновнику. Я сразу почувствовал комичность того, что сделал, но я был так беспомощен, так сильно сбит с толку, что, как любой в моем положении, непременно должен был совершить что-то бестолковое.

— Сколько таких табакерок вы взяли? — еще раз спросил чиновник.

— Одну. Мне дал ее князь! Этот господин знает об этом, — показав на Лакатоса, сказал я.

Лакатос кивнул. Но в этот момент чиновник закричал: "Вон!", и Лакатоса вывели.

Я остался вместе с чиновником и одним полицейским, который не был похож на живого человека, а скорее — на дверной косяк или что-то подобное.

Чиновник опустил в чернильницу перо, выудил оттуда мертвую муху, истекающую чернилами, как истекают кровью, и, разглядывая ее, тихо спросил:

— Вы сын князя?

— Да!

— Вы хотели его убить?

— Убить?!

— Вот именно, — посмеиваясь, сказал чиновник.

— Нет! Нет! Я люблю его! — закричал я.

— Вы можете идти.

Я направился к двери. Полицейский схватил меня за руку и вывел наружу. Там ждала полицейская машина с зарешеченны-

ми окнами. Дверь машины открылась, сидящий внутри полицейский усадил меня в машину, и мы поехали в тюрьму.

В этом месте Голубчик сделал долгую паузу. Его усы, края которых были влажными от шнапса, поглощаемого рассказчиком большими глотками, немного дрожали. Лица всех слушателей были бледны, неподвижны и, как мне тогда почудилось, за время рассказа обогатились новыми морщинами. Словно каждый из присутствующих пережил не только свою молодость, но и все те события из жизни Семена Голубчика, о которых он успел рассказать нам за какой-нибудь час времени. Не только собственный опыт, но и часть жизни Голубчика, с которой мы только что познакомились, легли на нас тяжким бременем. Не без ужаса ждал я продолжения этой истории, которое по всем признакам должно было быть страшным, его нужно было не просто выслушать, но и пережить. Сквозь закрытые двери до нас доносился приглушенный шум первых фургонов, которые везли овощи на рынок, машин и берущих за душу протяжных гудков далеких поездов.

— Это был обычный арест, — снова начал Голубчик, — ничего ужасного. Как-никак я попал в достаточно удобную камеру, на высоких окнах которой были широкие решетки. Они выглядели не более угрожающе, чем решетки жилых домов. В камере были стол, стул и две раскладные кровати. Ужасным было только одно: с кровати, чтобы радостно поприветствовать меня, поднялся мой друг Лакатос. Да. Он подал мне свою руку так непринужденно, как будто мы встретились где-нибудь в ресторане.

Но я проигнорировал его руку. Огорченно вздохнув, он снова лег. Я сел на стул. Мне хотелось плакать. Хотелось положить голову на стол и плакать. Только я стыдился Лакатоса. Еще пуще этого стыда был мой страх, как бы он не начал меня утешать. Вот так вот молча, с окаменевшим плачем в груди, я сидел и считал решетки на окнах.

— Не отчаивайтесь, молодой человек, — через некоторое время сказал Лакатос.

Он встал и подошел к столу:

— Я все разузнал!

Помимо своей воли я поднял голову и тут же пожалел об этом.

— У меня и здесь есть связи, — продолжил Лакатос, — не более чем через два часа вы будете свободны. А знаете, кого мы должны благодарить за эту неудачу? Отгадайте!

— Ну, говорите же, — выкрикнул я, — не мучайте меня!

— Как же, вашего братца! Или скорее — сына графа П., вам понятно?

Ох, мне было понятно и вместе с тем ничего не понятно. Но, друзья мои, ненависть к этому ублюдку, к этому фальшивому сыну моего любимого, знатного отца, как это часто происходит, заглушила голос рассудка. Разве можно, ненавидя, все осмыслить? В один миг, как мне показалось, я раскрыл замышляемый против меня страшный заговор, и во мне впервые проснулся двойник ненависти — жажда мести. Еще быстрее, чем гром следует за вспышкой молнии, я принял решение однажды непременно отомстить этому мальчишке. Каким образом? Этого я не знал, но почувствовал, что Лакатос — тот человек, который укажет мне дорогу, и поэтому в одночасье он стал мне даже приятен.

Само собой разумеется, он понимал, что со мной творится. Он усмехался, и по этой усмешке я все понял. Перегнувшись через стол, он вплотную приблизился ко мне, и, кроме его блестящих зубов, красноватого мерцания неба и розового кончика языка, напомнившего мне язычок нашей домашней кошки, я ничего больше не видел. Он на самом деле знал все. Дело обстояло так: старый князь частенько дарил разным людям весьма дорогостоящие табакерки, это было одним из его чудачеств. Некогда приобретя на аукционе одну табакерку, он специально по ее образцу заказал для себя такие же у некого ювелира в Венеции. Эти золотые, инкрустированные слоновой костью и увенчанные россыпью изумрудов табакерки князь всегда держал наготове для подарка гостям. Все очень просто. Молодому человеку, которого князь считал своим сыном, нужны были деньги. Периодически воруя у князя табакерки, он их продавал. С течением лет полицейские, производившие проверки у торговцев, собрали приличное количество таких изделий. Все вокруг знали, откуда брались эти сокровища, и управляющий князя, и его лакеи тоже это знали. Но кто бы отважился ему об этом сказать? И, напротив, как легко было такого ничтожного человека, как я, посчитать способным на воровство и даже на кражу со взломом. Ибо кем были мы в старой России, друзья мои? Насекомыми, теми мухами, которых чиновник топил в своей чернильнице, мелочью, пылью под подошвой какого-нибудь важного господина. И все-таки, друзья мои, позвольте мне немного отклониться и простите за то, что задерживаю вас. Итак, мы были пылью! Мы зависели не от закона, а от прихоти, от каприза. Но эти капризы были более предсказуемы, чем те законы, которые, в свою очередь, зависели именно от прихоти. Ведь их можно было по-разному толковать. Да, друзья мои, законы не защищали нас от произвола, поскольку они сами были частью произвола. С прихотью рядовых судей мне сталкиваться не приходилось, хотя известно, что она еще хуже

обычной и представляет собой мерзкое злопыхательство. А вот с прихотью знатных господ я знаком. Она внушает даже больше доверия, чем законы. Какой-нибудь важный господин одним-единственным словом может наказать и помиловать, может причинить зло, но и облагодетельствовать он тоже может. И сколько было господ, которые вообще никогда не злились, и их прихоти никому не делали зла. Но закон, друзья мои, — почти всегда зло. Едва ли существует закон, о котором можно было бы сказать, что он творит добро. На земле истинной справедливости нет, она, друзья мои, есть только в аду!..

Итак, чтобы снова вернуться к моей истории, скажу, что в те далекие времена я хотел на земле ада, то есть я жаждал справедливости. А кто жаждет истинной справедливости, тот становится жертвой собственной мстительности. Вот таким в ту пору был я. Я был благодарен Лакатосу за то, что он открыл мне глаза. Теперь я вынужден был ему доверять, поэтому спросил:

— Что я должен делать?

— Мы здесь свои, мы товарищи по несчастью, никто нас не слышит, — начал Лакатос, — поэтому скажите мне, действительно ли вы князю ничего не сказали, кроме того, что вы его сын? Доверьтесь мне. Скажите, кто вас послал к князю? Может, в вашем классе есть какой-нибудь агент, ну, вы знаете — так называемый революционер?

— Я вас не понимаю, я никакой не революционер, я просто хочу добиться своих прав, своих прав! — закричал я.

Только позднее до меня дошло, какую роль исполнял сей Лакатос. Это случилось, когда я сам чуть не превратился в Лакатоса. Но тогда я всего этого не знал. А он, хорошо понимая, что я говорю правду, сказал лишь:

— Ну, тогда все в порядке.

И при этом, вероятно, подумал про себя, что снова допустил ошибку, и от него ускользнула кругленькая сумма.

Через некоторое время открылась дверь, вошел тот же чиновник, что топил мух, и с ним — какой-то господин в штатском. Я встал.

— Оставляю вас наедине, — сказал чиновник и вышел.

За ним, не взглянув на меня, вышел Лакатос. Господин в штатском сказал, чтобы я сел и что он хочет сделать мне одно предложение. Вначале он сообщил, что находится в курсе всех моих дел. Потом сказал, что князь занимает очень высокое положение, что от него зависит благополучие России, царя и, можно сказать, всего мира. Поэтому его никогда нельзя беспокоить. А я полез со своими смешными притязаниями. Лишь благодаря доброте и снисходительности князя я избежал тяж-

кого наказания. Меня можно простить, потому что я молод. Сам же князь, который до сей поры по собственной прихоти содержал и обучал сына своего лесничего, не желает больше попусту тратить свою милость на недостойного, легкомысленного, безрассудного или, как мне самому будет угодно себя назвать, человека. Вследствие этого решено, что я должен занять какое-нибудь соответствующее моему скромному происхождению место. Я могу либо, как мой отец, стать лесником, и впоследствии, возможно, даже стану управляющим в одном из имений самого князя, либо поступить на государственную службу. Например, работать на почте или на железной дороге. Могу стать переписчиком или даже гувернером. Сплошь хорошо оплачиваемые, подходящие мне должности.

Я молчал.

— Подпишитесь вот здесь, — сказал господин, развернув передо мной бумагу, на которой было написано, что я не имею к князю никаких претензий и обязуюсь никогда больше не искать с ним встречи.

Ну, друзья мои, не могу даже описать свое тогдашнее состояние. Читая эту бумагу, я одновременно испытывал стыд и унижение, высокомерие и робость, мстительность и жажду свободы, готовность мучиться и нести свой крест. Меня переполняло желание власти и в то же время — сладостное, соблазнительное, неслыханное блаженство от своей беспомощности. Но власть мне была нужна, чтоб однажды расквитаться за все нанесенные мне сейчас оскорбления. И нужны были силы, чтобы суметь вынести эти оскорбления. Короче говоря, я хотел быть не только мстителем, но еще и мучеником. Но я хорошо чувствовал, что пока я ни тот ни другой и что этому господину это тоже хорошо известно.

— Ну, решайте быстрее! — на сей раз грубо сказал он.

И я подписал.

— Так, — пряча бумагу, сказал он, — чего вы теперь хотите?

По воле божьей я сказал тогда простые слова, сорвавшиеся с кончика языка:

— Домой! К маме!

Но в этот момент открылась дверь, и вошел офицер полиции — элегантный франт в белых перчатках, с блестящей саблей, полированной, кожаной кобурой и сияющим взглядом голубых глаз, холодных и высокомерных. И только из-за него, не обращая внимания на собеседника, я неожиданно сказал:

— Я хочу в полицию!

Эти опрометчивые слова, дорогие мои друзья, и решили мою судьбу. Лишь годы спустя я понял, что слова имеют бóльшую силу, чем поступки. И меня смешит эта часто произ-

носимая, избитая фраза: “Не надо слов, действуйте!”. Как слабы наши поступки! Они проходят, а слова остаются. Собака тоже способна что-то совершить, но говорит только человек. Дела, поступки — это лишь фантом в сравнении с действительностью и особенно со сверхчувственной реальностью слов. Между словом и делом такая же разница, как между человеком и его тенью. Или, если угодно, как фотография к оригиналу. Поэтому я и стал убийцей. Но об этом позже.

А пока произошло следующее: в кабинете чиновника, которого я никогда больше не видел, я подписал документ. Что в нем было, я уже точно не помню. Чиновник, пожилой человек с такой большой, окладистой, серебряной бородой, что его лицо казалось крошечным и незначительным, точно оно выросло из бороды, подал мне мягкую, как бы пропитанную жирком коварства руку и сказал:

— Я надеюсь, вы у нас освоитесь и будете чувствовать себя как дома! Поезжайте в Нижний Новгород. Вот вам адрес одного господина, к которому вам нужно будет зайти. Удачи!

Когда я уже был возле двери, он окликнул меня:

— Молодой человек, задержитесь!

Я вернулся к столу.

— Запомните! — сказал он, почти злобно. — Молчать и слушать, слушать и молчать!

Говоря это, он поднес палец к своим заросшим бородой губам.

Таким образом, друзья мои, я попал в полицию, в охранку! Я начал вынашивать план мести. Теперь у меня была власть. И ненависть. Я был хорошим агентом. Спросить о Лакатосе я тогда не решился, но он еще не раз появится в этой истории. Избавьте меня сейчас от подробностей, о которых я мог бы вам поведать. В моей последующей жизни было еще достаточно много отвратительного.

Друзья мои, позвольте мне не давать детальный отчет о тех низких — да-да, можно и нужно так сказать — низких делах, совершенных мною в течение последующих лет. Вы все знаете, что такое охранка. Может быть, кто-то из вас даже ощутил это на собственной шкуре, и нет необходимости это описывать. Теперь вы знаете, кем я был. И если вам это претит — скажите, пожалуйста, сразу, и я вас покину. Кто-нибудь имеет что-то против меня? Господа, я прошу сказать об этом напрямик! И я уйду!

Мы все молчали. Только хозяин сказал:

— Семен Семенович, наверняка у всех здесь сидящих есть что-то на совести, и раз ты уж начал рассказывать свою историю, я прошу тебя от имени всех — рассказывай дальше.

Голубчик сделал еще один глоток и продолжил.

— Несмотря на молодость, я был неглуп, и вскоре уже оказался на хорошем счету у начальства. Да, я забыл вам сказать, что сразу же написал письмо маме. Я ей сообщил, что князь очень хорошо меня принял и просил передать ей сердечный привет. Что он добился для меня замечательного места на государственной службе, и с этих пор я ежемесячно буду посылать ей десять рублей, но за эти деньги она не должна благодарить князя.

Отправляя это письмо, друзья мои, я уже знал, что никогда больше маму не увижу, и, как ни странно, меня это очень опечалило. Но было кое-что еще, что не давало мне покоя. Тогда мне казалось, что это чувство было сильнее, чем любовь к маме. Это была ненависть к моему фальшивому брату. Ненависть была громкой, как труба, а любовь к маме — тихой и нежной, как арфа. Вы меня поймете, друзья!..

Невзирая на мою юность, я был отличным агентом. Не могу поведать вам обо всех подлостях, совершенных мною в те годы. Возможно, кто-то из вас помнит историю об одном социал-революционере, еврее Соломоне Комровере, прозванном Комаровым. Это и было одним из самых грязных дел в моей жизни.

Этот Соломон Абрамович Комровер был мягким, деликатным юношей из Харькова. Его совсем не интересовала политика, он, как это принято у евреев, прилежно читал Талмуд и Тору и хотел стать раввином. А вот его сестра была студенткой, изучала в Петербурге философию и имела контакты с социал-революционерами. Следуя тогдашней моде, она ратовала за освобождение простого народа, и однажды ее арестовали. У ее брата, Соломона Комровера, не нашлось никаких более срочных дел, кроме как явиться в полицию и сообщить, что во всех выходках сестры виноват только он. Прекрасно! Его тоже арестовали. Ночью меня подсадили в его камеру. Все это происходило в одной из киевских тюрем. Я до сих пор помню, что попал туда около полуночи. Когда меня "втолкнули", Соломон Комровер ходил туда-сюда, туда-сюда и, кажется, вообще не заметил моего появления.

— Добрый вечер, — сказал я.

Он мне не ответил. Поскольку мне было предписано изображать из себя уголовника, я со вздохом лег на нары. Через какое-то время Комровер прекратил ходить и тоже сел на свои нары. Я на это и рассчитывал.

— По политическим? — как обычно, спросил я.

— Да, — ответил он.

— За что? — продолжил я.

Ну, он — молодой да глупый — взял и рассказал мне всю свою историю. А я, одержимый желанием отомстить моему фальшивому брату, молодому князю Кропоткину, рассудил, что наконец-то мне представилась возможность остудить мою горячую ненависть. И я начал убеждать молодого, ничего не подозревающего Комровера, что знаю, как ему лучше всего поступить: нужно лишь в качестве друга его сестры упомянуть молодого Кропоткина. Я сказал этому наивному еврею, что как только в деле начнет фигурировать это имя, ему больше нечего опасаться.

Тогда я не знал, что молодой князь на самом деле вхож в революционные круги и что мои коллеги уже давно за ним наблюдают. Можно сказать, что моей враждебности, моей мстительности в некотором роде повезло, ибо на следующий день, после того как Комровер был допрошен, назад в камеру он вернулся вместе с очень благородного вида молодым человеком в инженерной форме. Это был мой так называемый брат, молодой князь Кропоткин.

Я поздоровался с ним. Он, естественно, меня не узнал. Со злостным усердием я начал его обхаживать. К лежавшему в углу на своих нарах Комроверу я потерял всякий интерес. И как когда-то поступил со мной Лакатос, я начал склонять молодого князя к одному предательству за другим, получилось это у меня даже лучше, чем у Лакатоса. Кстати, я позволил себе спросить, помнит ли князь о табакерках, которые его отец имел обыкновение раздаривать. Тут он впервые покраснел так, что это было видно и в полумраке камеры. Как покраснел бы пытавшийся свергнуть царя человек, напомни я ему об одной его мальчишеской выходке. Отныне он охотно давал мне всю информацию. Я узнал, что как раз из-за той дурацкой истории с табакерками он почувствовал потребность выступить против существующего жизненного уклада. Стало быть, тот факт, что его низкое преступление было раскрыто, он, как многие молодые люди его времени, использовал как повод, чтобы стать так называемым революционером и предъявить обществу обвинение. Он все еще был красив. И когда он говорил, и когда улыбался, обнажая зубы, в камере словно становилось светлее. Как безупречно сидела на нем форма, как безупречны были его лицо, его рот, зубы, глаза!.. Я ненавидел его.

Друзья мои, он выдал мне все-все! Это больше не имеет никакого значения, и я не стану утомлять вас подробностями. Но то, что я обо всем сообщил начальству, мне нисколько не помогло. Был наказан не молодой князь Кропоткин, а совершенно невинный еврей Комровер.

Я видел, как на его левую ногу надели цепь, к которой был прикован чугунный шар. Затем этого несчастного отправили в Сибирь. А молодой князь исчез быстрее, чем появился. Все, в чем он мне признался, приписали Комроверу.

Такова, друзья мои, была тогда практика!

Последнюю ночь я провел в камере вместе с Комровером. Он немного поплакал, потом дал мне несколько записок — к родителям, друзьям, родственникам, и сказал:

— Мне не страшно! Бог есть везде. И во мне ни к кому нет ненависти. Вы были моим другом. Другом в беде! Я благодарю вас!

Он обнял и поцеловал меня. И по сей день этот поцелуй жжет мне лицо.

Говоря эти слова, Голубчик коснулся пальцем своей правой щеки.

— Немногим позже я был переведен в Петербург. Вы и не подозреваете, какое значение имел такой перевод. Я непосредственно стал подчиняться самому могущественному человеку в России — главнокомандующему охранки. В его власти была жизнь самого царя. Мой начальник был никем иным, как графом В., поляком по происхождению. Я и сегодня не рискну назвать его имя. Это был необычный человек. Все, кто поступал к нему на службу, должны были в его кабинете заново давать присягу. На его черном письменном столе, между двумя желтыми восковыми свечами, возвышалось громоздкое серебряное распятие. Дверь и окна были завешены черными шторами. За столом в несоразмерно высоком черном кресле сидел граф — маленький человечек с лысым, усеянным веснушками черепом, выцветшими глазами, напоминавшими увядшие незабудки, с сухими, как из пожелтевшего картона, ушами, сильными скулами и приоткрытым, позволяющим увидеть большие желтые зубы ртом. Этому человеку было досконально известно все о каждом из нас, служивших в охранке. Он контролировал каждый наш шаг, хотя, казалось, никогда не покидал своего кабинета. На всех нас он нагонял ужас, мы боялись его больше, чем нас самих боялась вся страна. Стоя перед ним в его необычном кабинете, мы произносили длинную клятву, и, прежде чем мы уходили, он говорил:

— Итак, прежде всего — следить! Дитя смерти, ты дорожишь своей жизнью?

— Так точно, ваше превосходительство! — отвечали мы.

И после этого нас отпускали.

Однажды меня вызвал его секретарь и сообщил, что меня и некоторых моих товарищей ожидает особое задание. В Петербург из Парижа приглашен знаменитый мастер дамского пла-

тья господин Шаррон (это имя я услышал впервые). Шаррон намеревается в петербургском театре продемонстрировать свои новые модели. Некоторых дам из высшего общества интересуют наряды, а некоторые великие князья интересуются демонстрирующими эти наряды девушками. Но дело в том, сказал секретарь, что за ними надо смотреть самым тщательным образом. Кто знает, что это за девушки, которых господин Шаррон хочет с собой привести? Не прячут ли они под своими платьями оружие, бомбы? Им же это ничего не стоит! Они все время переодеваются, спускаются со сцены в ложи, возвращаются обратно, и вот уже происходит несчастье. Господин Шаррон уведомил нас, что с ним приедет пятнадцать девушек. Стало быть, нужны пятнадцать мужчин. Наверное, при этом придется даже нарушить общепринятые нормы стыдливости. И секретарь спросил, не хочу ли я заняться организацией этого процесса.

Вы согласитесь, друзья мои, что это задание было и правда необычным, и оно очень обрадовало меня. Вижу, что у меня не очень-то получается говорить с вами об интимных вещах. В общем, должен вам признаться, что до того времени я ни разу, как это обычно случается с мужчинами, не был по-настоящему влюблен. Если не считать той цыганки, которой меня наградил мой друг Лакатос, мои отношения с женщинами ограничивались тем, что пару раз у меня была связь с платными девушками из публичного дома. И хотя в силу моей профессии мне следовало разбираться в людях, я тогда был еще слишком молод, чтобы просто следить за моделями из Парижа. Я вообразил себя избранным. Я мог тайно наблюдать за роскошной наготой изысканных парижанок, а может, и обладать ими.

Сразу же приняв это предложение, я отправился на поиски остальных четырнадцати сотрудников. Это были самые молодые и элегантные парни нашего отдела.

Вечер, когда парижский маэстро с его девушками и бесчисленными чемоданами прибыл в Петербург, принес нам немало мучений.

Итак, все пятнадцать человек были на вокзале. Хотя каждому из нас казалось, что нас только пятеро или даже двое. Всемогущественный начальник приказал нам быть особенно внимательными, и все исключительно из-за этого портного. Мы смешались с толпой, встречавшей своих близких. В тот момент я был убежден, что выполняю миссию огромной важности — кто знает, возможно, не менее важную, чем спасение жизни самого царя.

Когда поезд прибыл и мировая знаменитость вышла из него, я тут же увидел, что наш главнокомандующий ошибся.

Этот человек не вызывал подозрений. Он не был способен на убийство. Выглядел он сытым, тщеславным и безобидным. Казалось, он озабочен лишь производимым его приездом фурором. Короче говоря, он никак не походил на подрывателя. Это был достаточно крупный господин, но благодаря своему необычному платью выглядел скорее низкорослым. Его одежда не шла ему. Конечно, он ее придумал сам, но из-за того, что она не просто сидела на его теле, а болталась на нем, казалось, что она досталась ему с чужого плеча. На нас, во всяком случае на меня, это произвело такое впечатление, будто на нем какие-то двойные одежды. Меня удивило, что царские придворные пригласили из Парижа портного, который сам так странно одет. И тогда я впервые усомнился в благонадежности тех высокопоставленных господ, к обществу которых я так хотел принадлежать. Раньше я полагал, что власть не способна на ошибку, поэтому эти господа никогда не пригласят в Петербург комедианта, чтобы он диктовал моду, которой будут следовать в России их дамы. Но тут я это увидел собственными глазами. Портной прибыл с большой свитой, а не только, как ожидалось, с женщинами. Нет, с ним приехали еще несколько молодых мужчин, несколько блестящих мужчин из Парижа! Элегантные, в шелковых галстуках, легко и свободно двигающиеся! Они так радостно, так беззаботно спрыгивали с подножки вагона, точно разодетые воробьи или чижи, которые вот-вот зачирикают. Из-за их шумливой, веселой манеры, с которой они сразу по прибытии принялись друг с другом говорить, их разговор походил на пустую болтовню между человекообразными птицами или, наоборот, оперившимися людьми. Немного подождав у подножки, они протянули руки вверх, чтобы помочь сойти пятнадцати девушкам. Девушки спускались медленно и грациозно, в выражениях их лиц, в том, как они двигались, было столько робости и страха, будто они ступали не на перрон, а бросались в страшную пропасть.

Среди сошедших с поезда манекенщиц мне особенно понравилась одна. На ней, как и на всех остальных, был номер. Номера эти девушки носили на шелковых голубых квадратиках, прикрепленных слева на груди, сами цифры были красными. Создавалось впечатление, что цифры выжжены, как это бывает у лошадей или коров. И хотя девушки были вполне бодры, мне их было бесконечно жаль, я им сочувствовал, а особенно той, что мне сразу, с первого взгляда, понравилась. На ней был номер 9, звали ее, как я вскоре узнал, Лютеция. Но в паспорте, который я тут же просмотрел в паспортном отделении полицейского участка на вокзале, указывалось, что ее зо-

вут Аннетт Леклер, и, не знаю почему, это имя меня особенно тронуло.

Здесь, наверное, стоит еще раз вас заверить, что до этого я по-настоящему не любил ни одной женщины, а стало быть, совсем их не знал. Я был молод, силен физически, и они все меня волновали. Но сердце мое пока еще молчало. Я желал обладать ими всеми и был убежден, что не смогу принадлежать только одной из них. Тем не менее, как и положено молодому мужчине, я стремился к единственной женщине, к той, что смогла бы утолить и мою страсть, и мою тоску по дому. При этом я смутно сознавал, что подобной женщины, вероятно, и быть-то не может, и, опять же как это свойственно только молодому мужчине, я ждал так называемого чуда. И в тот момент, когда я увидел Лютецию, номер 9, мне показалось, что чудо свершилось. Тем более что молодой человек, каким я тогда был, исполненный ожиданием чуда, слишком быстро предается вере в то, что чудо это уже произошло.

Короче говоря, я влюбился в Лютецию, как принято говорить, с первого взгляда. Очень скоро мне показалось, что она несет свой номер, как позорное клеймо, и меня охватила ненависть к этому изысканному закройщику, приглашенному высшим начальством демонстрировать здесь своих несчастных рабынь. Разумеется, мне казалось, что самой несчастной из всех рабынь была Лютеция, девушка под номером 9, а недостойный законодатель мод фактически был рабовладельцем, хотя и преступником его не назовешь. Я стал размышлять, каким образом можно было бы спасти от него девушку под номером 9. Да, в том, что меня послали в Петербург следить за этим портным, я видел теперь какой-то особый знак судьбы. И я решил спасти Лютецию.

Видимо, я забыл рассказать о том, почему ради этого необычного, но все-таки не вызывающего подозрение портного полицейским управлением были предписаны такого рода меры предосторожности. А дело в том, что примерно за две недели до этих событий была совершена попытка покушения на жизнь губернатора Петербурга. Как вам известно, в России неудавшееся покушение производит бóльший эффект, чем удавшееся. Если же покушение удавалось, то оно в некотором роде воспринималось как неотвратимый божий суд, ибо в те времена, друзья мои, люди еще верили в Бога и были уверены, что без Его воли ничего не происходит. Но чтобы, так сказать, опередить Вседержителя, прежде чем ему представится случай погубить кого-нибудь из властей предержащих, были приняты эти самые меры предосторожности. Они были глупые и даже бессмысленные. Нам поручили с

особой тщательностью следить за этими бедными красивыми девушками, и когда они переодевались в перерывах между выходами, и во все остальное время. Мы должны были присматривать и за мужчинами, с которыми, по всей видимости, девушки состояли в каких-то отношениях. В сущности, в те дни мы скорее были не полицейскими, а своего рода гувернерами. Впрочем, меня это задание нисколько не смущало, скорее даже радовало. И разве было хоть что-то в эти первые счастливые часы моей любви, что бы меня не радовало? Я почувствовал, что до сих пор изменял своему сердцу. И только когда в него проникла любовь, я узнал, что оно у меня все еще есть, а раньше я постоянно его отвергал, поносил и насиловал. Да, друзья мои, это было невыразимым наслаждением — чувствовать, что у меня есть сердце, и лишь мои злодеяния изуродовали его. Но тогда я не понимал этого еще так ясно, как излагаю сейчас. Хотя и чувствовал, что с любовью в каком-то смысле началось мое освобождение. Любовь одарила меня большим счастьем — с болью, радостью и даже упоением я становился свободным. Именно любовь, друзья мои, делает нас не слепыми, как это утверждает бессмысленная поговорка, а наоборот — зрячими. Благодаря безумной любви к одной обыкновенной девушке я вдруг понял, что до этого часа был плохим, я осознал всю глубину моего падения. С тех пор я знаю, что предмет, пробуждающий в человеческом сердце любовь, не имеет никакого значения в сравнении с тем опытом, которым любовь обогащает нас. Любя, человек прозревает, а вовсе не слепнет. Вероятно, именно потому, что до этого я никого не любил, я стал преступником, стукачом, предателем. Я еще не знал, любит ли меня эта девушка, но уже тот счастливый факт, что я мог вот так с первого взгляда влюбиться, придавал мне уверенности и одновременно заставлял ощущать угрызения совести из-за моих позорных поступков. Я пытался быть достойным этой внезапно обрушившейся на меня благодати влюбленности. Сразу же я увидел всю гнусность моей профессии, и она вызвала во мне отвращение. С этого и началось мое раскаянье. Но тогда я еще не знал, какое огромное раскаянье ждет меня в будущем.

Я наблюдал за девушкой по имени Лютеция. Наблюдал за ней не как полицейский, а как ревнивый любовник, не по долгу службы, а по зову сердца. К тому же я постоянно ощущал свою власть над ней, и это возбуждало во мне какое-то совершенно особенное сладострастие. Вот так бесчеловечна, друзья мои, человеческая натура. Мы остаемся плохими, даже понимая, что мы плохи. Мы все равно остаемся людьми! Плохими и хорошими! Хорошими и плохими! Но все-таки людьми.

Я испытывал адские муки, пока наблюдал за этой девушкой. Я был ревнив. Ежеминутно я дрожал при мысли, что следить за Лютецией поручат кому-нибудь из моих коллег. Я был молод, друзья мои. А кто молод, тому может показаться, что ревность — это начало любви. Да, ревнуя, и даже благодаря ревности, можно быть счастливым. Страдания делают нас счастливыми так же, как радость. Счастье почти неотличимо от горя. Способность увидеть разницу между счастьем и горем приходит лишь с возрастом, когда мы уже слишком слабы, чтобы избегнуть печали и наслаждаться счастьем.

В действительности — я уже говорил об этом? — мою возлюбленную звали, конечно же, не Лютеция. Для вас эта оговорка, быть может, несущественна, но для меня существование двух имен, настоящего и поддельного, имело большое значение. Ее паспорт долгое время лежал в моей сумке. Я принес его в полицейский участок, сам переписал все сведения, еще раз, как у нас это было принято, сфотографировал, сделал две копии и спрятал фотографии в специальный конверт. Оба имени, каждое на свой лад, очаровали меня, и оба я слышал впервые в жизни. Настоящее согревало теплотой и сердечностью, а от имени Лютеция исходило что-то роскошное, царственное. Я едва ли не влюбился сразу в двух женщин, а не в одну-единственную. А так как обе они соединялись в одной, я чувствовал, что эту одну я должен любить с удвоенной силой.

В те вечера, когда девушки должны были демонстрировать наряды, созданные экстравагантным парижанином (в газетах их называли “творениями” или даже “гениальными творениями”), нам надлежало находиться в женской раздевалке. Портной страшно протестовал против этого. Он отправился к вдове генерала Порчакова, которая в те времена играла большую роль в петербургском обществе, именно она уговорила его приехать в Россию. Генеральша, несмотря на свою значительную тучность, была чрезвычайно подвижна. Она обладала удивительной способностью до полудня успеть нанести визиты двум великим князьям, генерал-губернатору, трем адвокатам и управляющему царской оперой, чтобы пожаловаться на распоряжения полиции. Но, друзья мои, разве можно было, при определенных обстоятельствах, в нашей старой, доброй России добиться чего-то жалобой на некие распоряжения? Самому царю бы это не удалось. Ему, думается, в наименьшей степени.

Естественно, я знал обо всем, что предпринималось усердной генеральской вдовой. Я даже из своего жалованья оплатил сани, чтобы повсюду следовать за ней, и опять же из своего кармана давал на чай слугам и лакеям, передававшим мне содержание всех разговоров, которые она вела с разными людь-

ми. Эти сведения я тут же сообщал моему шефу. Меня хвалили, но я стыдился этих похвал, потому что, друзья мои, я больше не работал на полицию. У меня теперь была другая, более высокая, должность: я состоял на службе у моей страсти.

Пожалуй, в те дни я был самым искусным из всех сотрудников, ибо мне не только удавалось действовать быстрее проворной генеральши, но еще и появляться чуть ли не во всех местах одновременно. У меня получалось следить не только за Лютецией, но и за генеральшей и знаменитым портным. Только одного я не видел, друзья мои, только одного, и вы скоро узнаете, о ком это я. Итак, однажды я увидел, как наш портной, закутанный в просторную меховую шубу, купленную им еще в Париже (это был не русский мех, а тот, который в Париже принимают за русский), так вот, я увидел, как в этой шубе, напоминающей женскую накидку из каракуля, с капюшоном из голубого песца, на котором висела серебристая кисть, он взобрался на сани и поехал к генеральше. Я — за ним. Опередив его, в коридоре снимаю с него эту удивительную шубу, так как портье несколько дней назад стал моим приятелем, и жду в приемной. Бодрая генеральская вдова дает ему обескураживающий отчет — весь разговор мне удалось подслушать. Все ее ухищрения были напрасны. Я слушал жадно. Против охранки, то есть в какой-то мере и против меня, ни великий князь, ни еврейский адвокат ничего сделать не могут. Но в старой России, как вы знаете, было три безошибочных средства: деньги, деньги, деньги. Вдова этот секрет ему и выдала.

Портной готов был платить. Он попрощался, надел свою диковинную шубу и уселся в сани.

В первый вечер, когда должен был состояться показ его "творений", он явился такой приветливый, пухленький и вместе с тем какой-то неуклюжий. На нем был фрак с белой жилеткой, на которой выделялись причудливые красные пуговицы, напоминающие божьих коровок. Он прошел за кулисы, где располагалась костюмерная комната его девушек. Ах, он не смог подкупить даже самого жалкого из нас! Он бренчал серебряными монетами в кармане своих просторных фрачных брюк, как собирающий пожертвования монах — кошельком с колокольчиком. Но, несмотря на все свое великолепие, он больше походил не на того, кто хочет дать взятку, а на того, кто сам просит милостыню. Даже самый недостойный из нас не смог бы принять от него денег. Было ясно: с великими князьями ему найти язык проще, чем с сыщиками.

Портной удалился. Мы пошли в костюмерную.

Я весь дрожал. Вы мне поверите, когда я скажу, что впервые в жизни я ощущал настоящий, леденящий душу страх. Я

боялся Лютецию: боялся своего желания увидеть ее в белье, боялся своей похоти, боялся непостижимого, наготы, безволия, боялся превосходства моего положения. Я оглянулся и, увидев, что она переодевается, повернулся к ней спиной. Она посмеялась надо мной. Когда я, преисполненный страха, встал к ней спиной, она смогла своим проворным женским инстинктом сразу же почуять страх и бессилие влюбленного мужчины, смогла понять, что перед ней самый безопасный сыщик этой большой империи. Но что я говорю об инстинкте! Она ведь хорошо знала, что мне приказано неуклонно и тщательно следить за нею. А, отвернувшись, я давал ей полную волю! Теперь я был в ее власти, теперь она разглядывала меня! Ах, друзья мои, лучше сдаться заклятому врагу, чем дать понять женщине, что ты ее любишь. Враг быстро уничтожит тебя, но женщина... Вскоре вы увидите, как медленно, как ужасающе медленно...

Ладно! Итак, я стоял лицом к двери и разглядывал белую дверную ручку, разглядывал так, будто получил задание караулить этот бесхитростный предмет. Мне хорошо запомнился обыкновенный фарфоровый набалдашник. На нем не было ни единой царапинки. Так продолжалось долго. Тем временем за моей спиной — как я догадывался, перед зеркалом — напевала, насвистывала, щебетала моя возлюбленная, беспечное, безалаберное существо. И в этом пении, свисте, щебетании звучало звонкое презрение!

Внезапно в дверь постучали. Я сразу повернулся и, конечно, увидел Лютецию. Она сидела перед овальным зеркалом в позолоченной раме уже одетая. На ней было черное платье с треугольным, отороченным алым бархатом, вырезом на спине, она пыталась правой рукой достать огромной кисточкой спину, чтобы ее припудрить. В тот миг меня ослепило какое-то дьявольское — я не нахожу другого слова — именно дьявольское сочетание этих красок. Возможно, на меня это сочетание подействовало сильнее, чем могла бы смутить ее нагота. С того момента я думаю, что знаю цвета ада, в который когда-нибудь непременно попаду: черный, белый и красный. И в некоторых местах, например, на стенах ада, то тут то там виднеются треугольные вырезы на женской спине и кисточка для пудры.

Мой рассказ получился очень долгим, а длилось-то это всего мгновение. Лютеция еще не успела сказать “войдите!”, как дверь открылась, и, прежде чем увидеть, я уже почувствовал, кем был вошедший. Отгадайте, друзья мои, кто это был? Это был мой старый друг, мой старый друг Лакатос!

— Добрый вечер, — сказал он по-русски.

Затем с какой-то длинной французской фразой он обратился к Лютеции. Я мало что из нее понял. Было впечатление, что меня он не узнал или не захотел узнать. Лютеция обернулась, улыбнулась и сказала ему несколько слов. Она наполовину утопала в кресле, в руке у нее была большая кисточка, я видел Лютецию в двойном изображении: вживе и в зеркале. Лакатос направился к ней, он по-прежнему заметно хромал. На нем были фрак, в петлице которого пламенел неизвестный мне красный цветок, и лаковые сапоги.

Что касается меня, то я сильно сник. У меня было явное ощущение, что и для Лютеции, и для Лакатоса я — неживой человек. Я бы и сам засомневался в моем существовании в этой комнате, если бы своими глазами не увидел, как Лакатос, подтянув вверх рукава фрака (я слышал тихое шуршание его манжет), взял из рук Лютеции кончиками двух пальцев ее кисточку для пудры. И тут он принялся не просто пудрить женскую спину, а как бы создавать совсем новую спину. Его руки начали чертить в воздухе какие-то непонятные круги, он то нагибался, то, становясь на цыпочки, вытягивался всем телом, и все это для того, чтобы в конце концов коснуться кисточкой спины Лютеции. Он покрывал ее спину пудрой с таким усердием, как можно, к примеру, белить стену. Все это тянулось, тянулось, Лютеция улыбалась, и я видел в овальном зеркале ее улыбку.

Наконец Лакатос так непринужденно повернулся ко мне, словно еще раньше узнал меня и поздоровался. Засунув руки в карманы брюк, он сказал:

— Ну, старина, вы тоже здесь?

В его карманах перекатывались и звенели серебряные и золотые монеты. Мне был знаком этот звук.

— Вот мы и встретились, — снова начал он.

Я молчал.

— Как долго вы еще будете надоедать этой даме? — после продолжительного молчания спросил он.

— Я надоедаю ей не по своей воле. Это моя служба! — сказал я.

— Служба! У него служба! — воздев руки к потолку, заорал он, а затем, подойдя к Лютеции, что-то сказал по-французски.

Подозвав меня к зеркалу, поближе к Лютеции, он сказал:

— Все ваши коллеги ушли, оставив дам в покое. Понятно?

— У меня служба, — возразил я.

— Я их всех подкупил! Сколько вы желаете?

— Нисколько!

— Двадцать, сорок, шестьдесят?

— Нет!

— Сто?

— Нет!

— Больше предлагать я не имею права.

— А и не надо, вы лучше сами уходите, — сказал я.

В этот момент раздался звонок, и Лютеция покинула костюмерную.

— Вы пожалеете об этом! — сказал Лакатос и вышел за ней.

Я остался сконфуженный и подавленный. До одури пахло гримом, духами, пудрой, пахло женщиной. Раньше для меня все эти запахи не существовали, или я их не замечал. Что я вообще знал? И вдруг этот смешанный запах захватил меня, как дурман, как бесовское зелье. Казалось, он исходил не от Лютеции, а от моего друга Лакатоса. Как будто до его появления ни духи, ни грим, ни женщина не имели никакого запаха, но вот он пришел и пробудил все эти запахи к жизни.

Я вышел из костюмерной, осмотрел коридор, проверил все раздевалки. Моих коллег нигде не было. Они исчезли, будто их смыло или они провалились сквозь землю. Они получили по двадцать, сорок, шестьдесят или по сто рублей.

Я стоял за кулисами между двумя несущими службу пожарными и видел в стороне от себя часть избранной, знатной публики, собравшейся здесь, чтобы приветствовать смехотворного портного из Парижа и одновременно трястись от страха перед его несчастными девушками, называемыми моделями. Я думал о том, как же странно все-таки устроен высший свет — портным восхищаются и в то же время его боятся. А Лакатос? Откуда он взялся, каким ветром его сюда занесло? Он нагонял на меня страх. Я ясно чувствовал, что он имеет надо мной власть. Я давно забыл о нем, и поэтому испытывал теперь еще больший страх. Это значило, что, по сути дела, я ничего не забыл, я только отодвинул, вытеснил его из своей памяти, из своего сознания. О, это был не привычный страх, друзья мои, который мы испытываем перед людьми, — страх перед Лакатосом был не в пример более сильным. Только теперь, ощущая этот особый вид страха, я понял, кто такой Лакатос. Но, поняв это, я почувствовал страх еще и от моего собственного вывода, который любой ценой следовало спрятать от самого себя. Во мне поселилось чувство обреченности, будто я должен побороть и остерегаться не его, а самого себя. Вот так, друзья мои, человек погибает от наваждения, если этого хочет великий совратитель. И хотя испытываешь перед ним сильный страх, все равно доверяешь ему больше, чем самому себе.

Во время первого антракта я снова стоял в костюмерной Лютеции. Я уговаривал себя, что это всего лишь моя обязанность. На самом же деле я испытывал странное чувство, в котором перемешались ревность, упрямство, влюбленность, лю-

бопытство — не знаю, что еще. Пока Лютеция переодевалась, а я, снова повернувшись к ней спиной, разглядывал дверь, еще раз появился Лакатос. И хотя я преградил ему путь, он так же мало обратил на меня внимание, как если бы я был сундуком для одежды, а не человеком, он увернулся от меня одним-единственным элегантным движением плеч и бедер. Он стоял позади Лютеции таким образом, что она видела его в зеркале, перед которым сидела. Его приход разозлил меня до такой степени, что я, поборов стыд и забыв о своей любви, мгновенно повернулся. И тут я увидел, как Лакатос, поднеся к вытянутым губам три пальца, послал отраженной в зеркале женщине воздушный поцелуй. При этом он непрерывно повторял одни и те же французские слова: "Oh, mon amour, mon amour, mon amour!". Отражение Лютеции улыбалось. В следующий миг — я не понял и не понимаю до сих пор, как это произошло — Лакатос положил на стоящий перед зеркалом стол большой букет темно-красных роз. Я же видел, как он вошел с пустыми руками! Отражение Лютеции слегка поклонилось. Лакатос послал ей еще один воздушный поцелуй, повернулся и, снова уклонившись от меня, вышел из комнаты.

После того как я увидел, точно по мановению волшебной палочки появившийся букет цветов, которого раньше не было, — помимо моего личного страха пробудился, скажем так, страх профессиональный. В моей груди, как неразлучные близнецы, поселились они оба. Если кому-то удалось на моих глазах из ничего сотворить букет цветов, то почему бы им с Лютецией не сделать то же с бомбой, которую так боится мое начальство и тот, кто стоит над ним? Поймите, меня не беспокоила жизнь царя, великого князя или губернатора. Какое дело в те дни мне было до сильных мира сего! Нет, я дрожал перед катастрофой, катастрофой самой по себе. И хотя еще не знал, что может случиться, катастрофа казалась мне неотвратимой, а ее виновником мне виделся только Лакатос. От природы я не был верующим человеком и не ломал себе голову по поводу Господа и всех небесных дел. Но сейчас, в этом предчувствии ада, я, как человек, вызывающий при виде огня пожарную команду, начал бестолково, несвязно, но искренне и горячо молиться. Это мало помогало. Очевидно, потому что я прошел пока слишком мало испытаний. Меня ожидало совсем другое.

Я стал еще внимательнее. Этот портной из Парижа должен был пробыть у нас десять дней. Но уже через три дня, ввиду того, что его туалеты, или, как их называли, "творения", очень понравились нашим дамам, его пребывание в Петербурге было продлено на десять дней. Какими довольными и в то же время сбитыми с толку были те покупатели, которых я тогда доп-

рашивал! Мною было получено задание следить за известным в свое время домом госпожи Лукачевской, в котором после полуночи обычно собирались офицеры одного гарнизона. В силу своей профессии я хорошо знал этот дом, но только извне. Внутри я никогда не был. Мне была даже выдана сумма в триста рублей и так называемый служебный фрак, который по очереди носили три наших сотрудника из гражданского отдела. Фрак сидел на мне очень хорошо. На красной шелковой ленте у меня на шее висел обрамленный золотом греческий орден. Два лакея госпожи Лукачевской прислуживали нам. В положенный день в двенадцать часов я стоял перед домом. Дождавшись наконец того часа, когда никого больше на улице не было, я, в цилиндре, с тростью, театральной накидкой и орденом на шее, вошел внутрь. Обладая точной информацией обо всех присутствующих господах, и штатских, и военных, я приветствовал их, как старых знакомых. Они улыбались в ответ пустыми неприятными улыбками, которыми в большом свете встречают и врагов, и друзей, и тех, к кому совершенно равнодушны. Чуть позже один наш лакей подал мне знак, и, последовав за ним, я попал в потайную комнату на первом этаже, из разряда тех, о которых никогда не знаешь, для каких целей они предназначены. А на самом деле они не для каких-то любовных встреч, или как там еще об этом говорят, а для подсматривания, подслушивания, одним словом, для шпионажа. Через достаточно широкую щель в тонкой, покрытой обоями дощатой перегородке можно было видеть и слышать все, что происходит в соседней комнате.

И я увидел, друзья мои! Я увидел дорогую моему сердцу Лютецию в объятиях молодого Кропоткина. Ах, я тут же узнал его, не могло быть никаких сомнений! Разве мог я его не узнать? Тогда я был настолько порочен, что скорее узнал бы ненавистного мне человека, чем приятного. Можно сказать, что я специально развивал в себе эти свойства, пытаясь достичь совершенства. Стало быть, я вижу мою любимую Лютéцию в руках человека, которого когда-то вообразил своим врагом, которого в последние постыдные годы почти уже забыл; в руках моего ненавистного, фальшивого брата — князя Кропоткина.

Друзья мои, представьте себе, чтó во мне тогда происходило: внезапно я вспомнил о моей мерзкой фамилии, о которой давно уже перестал думать, о фамилии Голубчик; я вспомнил и о том, что за свое скверное ремесло должен быть благодарен исключительно семейству Кропоткиных, и тут же подумал, что в свое время в Одессе старый князь запросто признал бы меня своим сыном, не ворвись с таким оскорбительным ве-

сельем в комнату этот юноша. Внезапно проснувшееся старое глупое тщеславие моей молодости пробудило во мне озлобленность! Да, и озлобленность тоже. Он-то ведь не был сыном Кропоткина! А я был. Ему досталась эта фамилия и все, что к ней прилагалось: слава, авторитет, деньги! Да, слава, деньги, высший свет и пёрвая женщина, которую я полюбил.

Вы понимаете, друзья мои, что это такое — первая любимая женщина. Она может все! Я был бедолага, из которого тогда, возможно, мог выйти хороший человек. Но таким человеком, друзья мои, я не стал! В тот час, когда я смотрел на Кропоткина и Лютецию, во мне заполыхала злость. Та злость, которую, по-видимому, я был обречен ощущать с рождения. До сих пор она лишь тихо тлела во мне, чтобы теперь разгореться ярким пламенем. Мое падение было неминуемо.

Уже тогда я знал, что мне предстоит падение, и именно поэтому смог подробно рассмотреть оба предмета моей страсти — мою ненависть и мою любовь. Никогда человек не видит так ясно и так хладнокровно, как в те минуты, когда ощущает под собой черную пропасть. Любовь и ненависть в моем сердце сплелись так же тесно, как эти двое в соседней комнате: Лютеция и Кропоткин. И боролись эти два чувства так же мало, как два человека, за которыми я наблюдал. Соединившись, любовь и ненависть давали то наслаждение, которое было определенно больше, сильнее и чувственнее, чем союз этих двух тел.

Я отнюдь не чувствовал физического желания, не чувствовал даже ревности, по меньшей мере в том ее обычном виде, с каким, вероятно, знаком каждый из нас, если ему приходилось наблюдать, как любимый им человек отдается другому, тем более, если отдается он с упоением. Во мне даже не было ожесточения, жажды мести. Скорее я походил тогда на холодного, объективного судью, самолично наблюдающего в момент злодеяния за преступником, которому позже он вынесет приговор. Я свой приговор уже вынес. Он звучал так: смерть Кропоткину! Я удивлялся только тому, что так долго ждал, ведь этот смертный приговор во мне был вынесен и скреплен печатью уже давно. Повторяю, это не было местью. По моему мнению, это был естественный приговор объективного суда, согласующегося с законами морали и нравственности. Не только я был жертвой Кропоткина. Нет! Его жертвой был нравственный закон. Мой приговор был провозглашен от имени закона. И он гласил: смерть.

В те годы в Петербурге жил некий доносчик по имени Лейбуш. Это был крошечный человек, ростом меньше ста двадцати сантиметров. Даже не карлик, а тень карлика. Среди моих

коллег он считался очень ценным сотрудником. Я пару раз лишь мельком видел его. По правде говоря, хоть я и сам был тертым калачом, а его побаивался. Среди нас было множество бессовестных фальсификаторов и мошенников, но более бессовестного, более ловкого, чем он, не было никого. Он, например, в два счета мог предоставить доказательства, что какой-нибудь преступник на самом деле агнец божий, а ни в чем не повинный человек покушался на жизнь царя. И хотя, друзья мои, я и сам уже глубоко погряз в этих делах, мне все же хотелось верить, что мое бесчестие исходит не от моей собственной низости. Я во всем обвинял судьбу, которая обрекла меня на такую жизнь. Каким-то непостижимым образом я все еще считал себя приличным человеком. По крайней мере я сознавал, что творю зло и что поэтому прощения должен просить у самого себя. Меня до этого довела несправедливость. Мое имя – Голубчик. Все права, на которые я с рождения претендовал, были у меня отняты. Мой печальный жребий казался мне совершенно не заслуженным мною несчастьем. В некотором смысле я имел законные права на то, чтобы чинить зло. У других же, творящих зло вместе со мной, таких прав не было.

В общем, я разыскал этого Лейбуша. Лишь когда он уже стоял передо мной, я осознал весь ужас того, что затеваю. Его желтое лицо, его покрасневшие глаза, его рубцы от оспы, его не по-человечески маленькая фигура – все это почти заставило меня усомниться в том, что я и правда справедливый судья и слуга закона. Поборов себя, я все же заговорил с ним.

– Лейбуш, – сказал я, – у тебя есть возможность еще раз показать свои способности.

Разговор шел в одной из приемных нашего шефа. Мы были одни и сидели рядом на плюшевом диване ядовито-зеленого цвета, который уже тогда показался мне скамьей подсудимых. Да, в тот час, когда я решил, что могу судить и выносить приговоры, я сам уже сидел на скамье подсудимых.

– Зачем мне еще что-то показывать? – сказал Лейбуш. – По-моему, я уже достаточно показал!

– Мне нужны сведения против одной личности.

– Против высокопоставленной личности?

– Конечно!

– И кто это?

– Молодой Кропоткин!

– Это несложно, – сказал карлик, – совсем несложно.

Все шло как по маслу! Лейбуш даже не удивился, что мне нужен материал против Кропоткина, который давно уже был собран. Я же показался себе в ту минуту почти великодушным, поскольку раньше ничего об этом не знал. И то, что я

намеревался сотворить, в моих глазах выглядело не низостью, а актом правосудия.

— Когда? — спросил я.

— Завтра, в это же время, — ответил карлик.

Он на самом деле обладал богатейшими сведениями. Достаточно было и половины, чтобы отправить любого русского человека на каторгу лет так на двадцать. Мы сидели в тихой задней комнате одной чайной, хозяина которой я знал, и листали документы. Это были письма к друзьям, военным, высокопоставленным персонам, анархистам, неблагонадежным писателям и еще масса более чем впечатляющих фотографий.

— Вот эти и эти я подделал, — сказал карлик.

Я посмотрел на него. В его маленьком, желтом лице, на котором с трудом нашли себе место глаза, нос, рот и противно ввалившиеся щеки, ничего не изменилось. Как будто для того, чтобы измениться, этим чертам не хватало пространства.

— Это я подделал, и это, и это, — говорил он, не меняясь в лице.

Ему явно было не важно, поддельные эти фотографии или настоящие. Для него все они были равны. И это были не просто фотографии, это были улики. А поскольку за много лет он понял, что фальшивые снимки служат такими же доказательствами, как и настоящие, то перестал их различать и почти с детской наивностью верил, что изготовленные им фальшивки — это никакие не фальшивки. Да, полагаю, он теперь вообще не понимал, какая разница между настоящим письмом и фотографией и поддельными. Было бы несправедливо этого Лейбуша, этого карлика считать просто преступником. Он был хуже преступника, он, друзья мои, был еще порочнее меня!

Я хорошо знал, как использую эти письма и фотографии. У моей ненависти был смысл. А вот у карлика не было ни ненависти, ни желания вершить правосудие. Все содеянное им зло было бессмысленно. Его рукой просто водил дьявол. Лейбуш был глуп как гусак, но при выполнении сложных заданий, смысл которых был ему совершенно не понятен, проявлял невиданную хитрость. Он даже не стремился к какой-нибудь незначительной житейской выгоде, и делал все в общем-то из обычной услужливости. От меня он не требовал ни денег, ни обязательств, ни обещаний. Передавая весь этот ценный для меня материал, он не изменился в лице, не поинтересовался, для чего мне все это нужно, ничего не попросил взамен, да он даже не знал меня! Похоже, что свое вознаграждение он уже давно получал из другой “инстанции”.

Что же касается меня, то я взял все, что мне было нужно, не спросив, откуда он все это узнал. Моим источником был сам карлик.

Примерно через полчаса я уже был у моего ближайшего начальника, а спустя два часа арестовали молодого Кропоткина.

Он пробыл в заключении недолго, совсем недолго. Всего три дня. На третий день я был вызван к нашему главнокомандующему и услышал следующее:

— Молодой человек, мне думалось, что вы умнее!

Я молчал.

— Молодой человек, — начал он снова, — объясните мне свою глупость.

— Ваша светлость, — сказал я, — должно быть, я сделал что-то не так, поскольку ваша милость это утверждает, но я ни в коем случае не берусь объяснить это.

— Хорошо, — сказал граф, — тогда я тебе объясню.

Ты влюбился. И я позволю себе в связи с этим некоторые, как говорят, философские замечания. Запомните, молодой человек, кто хочет в жизни чего-то добиться, никогда не влюбляется! Человек, а особенно тот, кому повезло работать у нас, вообще должен быть лишен ка́ких бы то ни было чувств. Можно желать конкретную женщину — ладно, это я еще могу понять! Но если на пути встанет могущественный человек, наш брат должен подавить в себе это желание. Слушайте внимательно! За всю мою долгую жизнь у меня была лишь одна страсть: я хотел стать велико́им и сильным. И я стал им. Я достиг того, что могу следить за его величеством, нашим государем, даруй ему Господь здоровье и счастье! Но почему могу? Потому что никогда в жизни не любил и не ненавидел. Я отказался от всех удовольствий. И поэтому не знаком с настоящим горем. Я никогда не был влюблен, а значит, мне не ведома ревность. Я никогда не ненавидел и поэтому не знаю, что такое жажда мести. Я никогда не говорил правды, вследствие чего не испытываю морального удовлетворения от удавшейся лжи. Молодой человек, руководствуйтесь этим! Я должен вас наказать. Князь силен, и он никогда не забудет этого вашего оскорбительного выпада. Из-за этой жалкой, ничтожной девчонки вы загубили свою карьеру. Я и сам из-за вас, понимаете ли вы это, могу впасть в немилость! Я много размышлял над тем, как вас наказать. И принял решение наложить на вас самое строгое взыскание. Вы последуете за этой женщиной. Этим я, так сказать, приговариваю вас к вечной любви. Вы отправляетесь в Париж в качестве нашего агента. По прибытии сразу же зарегистрируетесь у советника посольства П. Здесь ваши документы. Пе-

няйте на себя, молодой человек! Это самый жестокий приговор, который мне когда-либо приходилось выносить.

Друзья мои, я был молод и я жил! После того как его светлость огласил свой приговор, со мной произошло что-то невероятное, даже смехотворное: я почувствовал, что какая-то неведомая сила принуждает меня упасть перед этим властителем на колени. Сделав это на самом деле, я стал искать его руку, чтобы поцеловать. Он руку отдернул, встал, приказал мне немедленно подняться и больше не совершать глупостей.

Ах! Он был великим и сильным, потому что он не был человеком! Конечно, ему было не понятно, что со мной творилось. И он выгнал меня из комнаты.

В коридоре, просматривая документы, я остолбенел от счастья и удивления. Они были оформлены на Кропоткина. Именно эта фамилия стояла в моем паспорте. В сопроводительном письме к советнику посольства П. я был прямо назван агентом, которому дано задание следить во Франции за так называемыми неблагонадежными элементами из России. Какое отвратительное занятие, друзья мои! А тогда оно казалось мне благородным! Каким отвергнутым я был! Отвергнутым и заблудшим! Собственно говоря, все отвергнутые сбиваются с пути.

Спустя пару дней наш экстравагантный господин Шаррон со своими барышнями в моем сопровождении должен был отбыть во Францию. Он был представлен мне перед самым отъездом. Шаррон был глуп и тщеславен, я казался ему представителем аристократической России, князем Кропоткиным. Он на самом деле вообразил, что в сопровождающие ему назначили настоящего князя. Я и сам это о себе возомнил, когда впервые положил в карман паспорт на имя Кропоткина. Но уже тогда, в самой глубине души, я предчувствовал то двойное или даже тройное бесчестие, что было мне уготовано. Я был Кропоткиным, Кропоткиным по крови. И я был стукачом. Я носил принадлежащую мне фамилию разве что как полицейский. Это в высшей степени недостойно, ведь я купил, я украл то, что мне и так полагалось. Так я тогда думал, друзья мои. И если бы не любовь к Лютеции, я был бы очень несчастен. Но она, я имею в виду любовь, извиняла и сглаживала все. Я был подле Лютеции, я сопровождал ее, ехал с ней в город, где она жила. Я хотел ее, хотел всем своим существом. Я, как говорится, сгорал от любви к ней. Но покамест я не обращал на нее внимания, старался казаться равнодушным и, разумеется, надеялся, что она сама меня заметит и то ли взглядом, то ли жестом, то ли улыбкой даст мне это понять. Но она никак себя не проявляла. Она определенно меня не замечала. А почему, собственно, она должна была меня замечать?

Впрочем, прошли только первые двенадцать часов нашей поездки. Разве ей так уж нужно было заметить меня в первые же двенадцать часов?

Нам предстояло сделать небольшой крюк. Дело в том, что некоторые дамы из высшего общества, случайно оказавшиеся в то время в Москве или проживавшие там постоянно, ни в коем случае не хотели упустить возможность хоть одним глазком увидеть известного мастера и его кукол. Они требовали, чтобы он хоть на один день заехал в Москву. Хорошо! Мы прибыли в Москву поутру и разместились в гостинице "Европа". Всем девушкам я преподнес букеты темно-красных роз, всем — одинаковые. И только в букет, предназначенный Лютеции, я вложил свою визитную карточку. О, конечно, не с моей настоящей фамилией — таких у меня вообще никогда не было. Зато теперь в моем распоряжении было не менее пятисот фальшивых визиток на имя Кропоткина. Должен признаться, что я частенько доставал такую визитку из бумажника и любовался ею. И чем дольше я на нее смотрел, тем больше верил в ее подлинность. Я разглядывал эту фальшивую визитку, как женщина смотрится в зеркало, которое показывает ее в наиболее выгодном свете. Порой, будто я не знал, что паспорт тоже фальшивый, я доставал его и изучал, как доказательство того, что в визитке все указано верно.

Вот каким глупым и самовлюбленным я был, несмотря на то, что мною тогда владела еще более сильная страсть, чем тщеславие. В том-то и дело, что эта моя страсть, то есть любовь, была вскормлена моей глупостью и тщеславием.

Мы пробыли в Москве два дня. Вечером в гостинице для светских дам, живущих не только в Москве, но и специально приехавших из своих близких или отдаленных имений, был устроен небольшой, так сказать, сокращенный показ мод. Господин Шаррон был не во фраке, а в фиолетовой визитке, бледно-розовой шелковой рубашке и коричневых лакированных туфлях без задников. Женщины были от него в восторге. Он обратился к ним с длинной приветственной речью, и они ответили ему еще более длинным приветствием. И хотя мой французский в то время был весьма скверным, я все же отметил, что наши дамы старались подражать его манере говорить. Я остерегался вступать с ними в разговор, так как по моему произношению легко было понять, что я никакой не Кропоткин. Впрочем, наших дам интересовал только господин Шаррон и его туалеты. Но в особенности он! С какой бы радостью они, наперекор всему женскому, носили точно такие же фиолетовые визитки и бледно-розовые шелковые рубашки!

Ладно, хватит этих бесплодных рассуждений! У каждого времени есть свои смешные портные, модели и женщины. Те женщины, которые сейчас в России носят красногвардейскую форму, — дочери тех дам, что тогда были готовы надеть мужские фиолетовые сюртуки. А их дочери в будущем еще придумают, что им носить.

Итак, мы оставили Москву и прибыли на границу. Именно в тот момент, когда мы ее пересекали, до меня вдруг дошло, что если я быстро что-нибудь не придумаю, то потеряю Лютецию. А что я мог придумать? Что мог придумать погибший человек моего склада, имевший самую гадкую из всех возможных профессий. Ах, друзья мои, у такого человека нет крылатой божественной фантазии влюбленного. Человек моей породы наделен приземленной фантазией полицейского. Любимую женщину он преследует с помощью средств, предоставленных его ремеслом. Даже страсть не смогла облагородить такого человека, как я. Злоупотребление властью — вот наш принцип! И, Бог свидетель, — я ею злоупотребил.

На границе я подал знак одному моему коллеге, и он меня сразу понял. Вы помните, друзья мои, что́ тогда представляла собой русская граница. Это не была граница могущественной царской империи. Скорее это была граница нашего произвола, произвола русской полиции. Царская власть имела свои пределы даже в царском дворце. Но наша власть, власть полиции, прекращалась только на границе империи, а часто — и вы об этом скоро услышите — далеко за ее пределами. Любому полицейскому доставляет огромное удовольствие видеть перед собой дрожащего от страха невинного человека или угождать сослуживцу. Наконец, совершенно особое удовольствие он испытывает, если ему доведется ввергнуть в ужас какую-нибудь молодую красивую женщину. Это, друзья мои, особый вид полицейской эротики.

Итак, мой коллега сразу же понял меня. Я на некоторое время исчез, притаившись в полицейском кабинете. Известный портной и его дамы должны были подвергнуться одной неприятной проверке, и никакие заверения и даже упоминания высоких покровителей не помогли бы портному ее избежать. На границе просто-напросто никто не понимал французского. Напрасно он несколько раз взывал ко мне, князю Кропоткину. Хотя в стене между кабинетом и таможенным помещением располагалось маленькое окошко, устроено оно было так, что я мог его видеть, а он меня — нет. Я для него был безвозвратно потерян. Я видел, как важный и в то же время беспомощный, надменный и одновременно испуганный, гордый как петух, трусливый как заяц и глупый как осел, он метал-

ся посреди взволнованной толпы своих красоток. Это, признаюсь, порадовало меня. Но вообще мне было не до него, я ведь любил Лютецию! Таким уж, друзья мои, я уродился. Я сам часто не понимаю, что я за человек...

Но не это главное. Главным было то, что неожиданно, благодаря товарищеской помощи нашего сотрудника на границе, в чемодане Лютеции был обнаружен револьвер. Шаррон растерянно забегал, он звал меня, выкликивая мое имя, как заклинают Господа, но я не показывался. Через потайное окошко я – довольный и ничтожный, Бог и провокатор – видел бледную, беспомощную Лютецию. Она сделала то, что в подобной ситуации делают все женщины: она заплакала. И я вспомнил, что примерно две недели назад через похожее окошко я видел ее счастливую и смеющуюся в объятьях молодого Кропоткина. О, я не забыл этот особенный смех! И так как, друзья мои, я был подлецом, то почувствовал удовлетворение. Поезд может подождать, подождать два, три часа! Я не спешил.

Наконец, когда все это зашло уже так далеко, что плачущая Лютеция молча повисла на шее портного, а все остальные девушки, обступив их, дрожали, когда дело приняло опасный оборот, а все происходящее стало напоминать бойню, встревоженный птичий двор и одновременно романтическое приключение некого портного, на сцене появился я. Поклонившись, мой коллега тут же выпалил:

– Ваше высокоблагородие, к вашим услугам!

– А что здесь вообще происходит? – не глядя на него и ни на кого другого, спросил я.

– Ваше высокоблагородие, в чемодане одной дамы обнаружен револьвер.

– Это мой револьвер. Я охраняю этих дам.

– Как прикажете! – сказал служащий.

И мы сели в поезд.

Само собой разумеется, что едва мы вошли, как теперь уже портной повис на моей шее.

– А кто, собственно, эта дама с револьвером? – спросил я.

– Одна невинная девушка, я ничего не понимаю... – начал Шаррон.

– Я хотел бы с ней поговорить, – сказал я.

– Сию минуту. Я сейчас ее к вам приведу.

Он привел ее и тут же ушел. Мы были одни, Лютеция и я.

Вечерело. Набирая скорость, поезд шел сквозь сгущающиеся сумерки. Меня удивило, что она меня не узнала. Все указывало на то, как мало у меня времени для достижения главной цели. Поэтому мне показалось уместным тут же спросить, где же сейчас мой револьвер.

Вместо того чтобы просто ответить, а это все-таки еще было возможно, Лютеция бросилась в мои объятья.

Я посадил ее к себе на колени, и в темноте вечера, проникающего к нам сквозь окна купе, началось... Больше не было вечера, а были лишь те ласки, которые вы, друзья мои, знаете и которые так часто предваряют катастрофу нашей жизни.

Дойдя до этого места, Голубчик надолго замолчал. Нам показалось, что он молчал очень долго, еще и потому, что он ничего не пил. Он вроде бы и не замечал своего стакана, и потому все мы от смущения и скованности лишь слегка прикасались губами к своим. Его молчание как бы имело двойной смысл. Человек, прервавший свое повествование и не подносящий к губам свой стакан, пробуждает в слушателях какую-то странную подавленность. Мы все почувствовали себя неловко. Стесняясь смотреть Голубчику в глаза, мы тупо пялились на наши стаканы. Если б хотя бы тикали часы! Но нет! Ни тиканья часов, ни жужжания мухи, ни проникающего через тяжелые металлические жалюзи уличного шума — ничего. Словно в смертельной тишине мы были брошены на произвол судьбы. Казалось, что с тех пор как Голубчик начал свой рассказ, прошла целая вечность. Я говорю не *часы*, а именно *вечность*. Настенные часы ресторана стояли, и, хотя мы все это знали, каждый из нас украдкой на них поглядывал. У всех нас было впечатление, что времени больше нет, и стрелки на белом циферблате не просто черные, а какие-то угрюмые. Да, угрюмые, как вечность. Они были неизменны в своей упрямой, прямо-таки пугающей неподвижности. И еще они представлялись нам неподвижными не потому, что сломался часовой механизм, а от какой-то злости, от желания показать нам, что история, которую намеревается рассказать нам Голубчик, не зависит от времени и места, дня и ночи. Что это всегда безотрадная история и что окружающее нас пространство, равно как и время, отменило все свои законы, и под нами уже не твердая почва, а беспрестанно качающиеся воды вечного моря. Мы были на корабле, и нашим морем была ночь.

Только теперь, после долгой паузы, Голубчик сделал глоток.

— Я подумал, — снова начал он, — стоит ли, друзья мои, и дальше подробно рассказывать о том, что мне довелось пережить. Лучше я от этого воздержусь и перейду сразу к моему прибытию в Париж.

Итак, я приехал. Не стоит и говорить, что́ для меня, жалкого Голубчика, стукача, презирающего самого себя фальшивого Кропоткина, любовника Лютеции, значил Париж. Мне стоило больших усилий не думать о том, что мой паспорт поддельный и что передо мной стоит самая гнусная задача —

следить за беглыми субъектами, которых государство считает опасными. Но еще сложнее мне было уверить себя в том, что мое существование — пропащее и лживое, моя фамилия позаимствована или попросту украдена, а мой паспорт — всего лишь позорное удостоверение мерзкого стукача. Но в тот самый миг, когда мне это стало ясным, я себя возненавидел. Я, друзья мои, всегда себя ненавидел. Ведь после всего что я вам рассказал, для вас это не новость! Но ненависть, которую я испытал к себе тогда, была другого свойства. Впервые в жизни я себя презирал. Прежде я не знал, что украденная фамилия может тебя вообще уничтожить. Теперь же на собственной шкуре я ощутил необъяснимую силу написанных слов. Наверняка тот недалекий, не привыкший размышлять полицейский, выписывая мне паспорт, не только не удивился, но посчитал вполне естественным одолжить шпиону Голубчику фамилию Кропоткин. И все-таки в каждом произнесенном, и уж тем более в каждом написанном слове, всегда есть какая-то магия. Я был Кропоткиным лишь потому, что у меня был паспорт на имя Кропоткина. Удивительно, но этот же паспорт указывал на то, что я его добыл, не только поправ справедливость, но еще и для неблаговидных целей. В каком-то смысле он был постоянным свидетелем моей нечистой совести. Паспорт принуждал меня стать Кропоткиным, между тем как я не мог перестать быть Голубчиком. Дорогие мои друзья, я был, есть и останусь Голубчиком!..

А кроме того — и это "кроме того" очень существенно — я был влюблен в Лютецию. Поймите, в нее был влюблен я, Голубчик. А она, отдавшись мне, была влюблена (если, конечно, была) в того князя Кропоткина, за которого я себя выдавал! И выходило, что наедине с собой я был Голубчиком, даже если сам твердо верил, что я Кропоткин, а для той, что была тогда содержанием моей жизни, я был Кропоткиным, кузеном того лейтенанта, моего сводного брата, которого я ненавидел, в чьих объятьях она была на моих глазах.

Я говорю "на моих глазах". В том возрасте, в каком я тогда находился, естественно глубочайшим образом ненавидеть мужчину, если тот на твоих глазах, как говорится, обладает твоей любимой женщиной. И разве мог я не испытывать ненависти к моему фальшивому сводному брату, когда он отнял у меня отца, имя и любимую женщину? Если я кого-нибудь и мог назвать своим врагом, так только его! Я еще не забыл, как он ворвался в комнату моего (а вовсе не его!) отца, чтобы изгнать меня оттуда. Я его ненавидел. Ах, как сильно я его ненавидел! Кто, как не он, повинен в том, что я занимаюсь таким грязным делом? Он постоянно переходил мне дорогу. Я перед ним был

бессильным, а он, наоборот, — всесильным. Он все время оказывался у меня на пути и все время меня опережал. Его породил не князь Кропоткин, а другой человек. Он меня уже обманул в ту самую секунду, когда родился. Ох, как я его ненавидел!

Опустим, друзья мои, подробное описание обстоятельств, при которых я стал любовником Лютеции. Это было не трудно и не легко. Я тогда любил, и сейчас мне сложно сказать, насколько трудно мне было стать ее любовником. Как хотите, друзья мои, это было одновременно и трудно и легко, и легко и трудно!..

В то время у меня не было никаких устойчивых представлений о мире и о тех странных законах, что управляют любовью. Да, я был сыщиком и, казалось, должен был пройти огонь и воду, но, несмотря на мою профессию и тот опыт, что она мне давала, в отношении Лютеции я был дурак-дураком. В отношении Лютеции — это значит в отношении вообще всех женщин или женщины как таковой. Ведь Лютеция была просто женщиной. Она была женщиной моей жизни.

Теперь, друзья мои, мне легко говорить о состоянии, в котором я тогда находился, и даже посмеиваться. Я стал старше, опытней. Да и все мы повзрослели и поумнели. Но каждый из нас может вспомнить тот час, когда он был молод и безрассуден. Может быть, у вас этот период был коротким, измеряемым днями, у меня же он оказался долгим, как вы скоро увидите, слишком долгим!..

Как мне было приказано, я явился в русское посольство.

Человек, к которому я обратился, скажу я вам, понравился мне с первого взгляда, понравился чрезвычайно. Это был рослый, крепкий, красивый мужчина. Ему бы служить не в нашей тайной полиции, а в императорской гвардии. Подобных ему людей я у нас видел немного. Да, должен признаться, что минут через пятнадцать я уже с досадой думал о том, что он оказался на службе, неизбежно связанной с подлостью. Да, мне было больно! От него исходило такое неподдельное спокойствие, такая гармония, какая возможна только при чистом сердце.

— Мне доложили о вас, — такими словами он встретил меня, — я знаю, какую нелепость вы совершили. Ну, а теперь под какой фамилией вы думаете жить здесь?

— Под какой фамилией? У меня одна, одна-единственная заявленная фамилия. Я Кропоткин. У меня ведь есть визитные карточки.

Такими никудышными были тогда мои рассуждения. За несколько лет я уже проделал бесчисленное множество махинаций, и ничто, поверьте мне, друзья, ничто не делает человека умнее, опытнее, изощреннее, чем шпионаж. И все-таки это за-

блуждение! Конечно, мои жертвы были не только благородней, но и значительно умнее меня. И даже самого примитивного из них не назовешь пустым и совсем уж простодушным.

Я был уже в самом пекле. Да, я был уже искушенным слугой ада, и во мне — я ощущал это каждую минуту — все еще жива была боль от фамилии Голубчик, от пережитых мною унижений, от моего маниакального желания любой ценой стать Кропоткиным — единственной тупой и слепой движущей силы моей жизни. Я все еще думал, что благодаря коварству и низости мне удастся стереть то, что я считал для себя позорным пятном. Я обрушивал на свою бедную голову один позор за другим и при этом не было дня, когда бы я смутно не чувствовал, что за Лютецией я последовал отнюдь не из-за любви, что эту сильную страсть, свойственную одним благородным душам, я придумал лишь для собственного оправдания. В действительности я упорствовал в своем желании овладеть Лютецией так же, как был одержим идеей не быть больше Голубчиком. Мое немыслимое сумасбродство было направлено против меня самого, я обманывал и предавал себя, как должен был обманывать и предавать других. Я загнал себя в собственные сети, но было уже слишком поздно. И хотя иногда меня посещали какие-то сомнения, я все равно продолжал лгать, потому что из-за Лютеции не мог отказаться от своей фальшивой фамилии Кропоткин.

— У меня же есть фамилия, — показывая свой паспорт, сказал я.

— Милый мой, чтобы здесь с этой фамилией делать дела, надо быть большим аферистом, а вы всего лишь среднький, скромный агент. Возможно, у вас на то личные причины. В этом, вероятно, замешана дама. Будем надеяться, она молода и хороша собой. Вы только не забывайте, что молодым и красивым дамам нужны деньги, а я очень экономный. Внеочередные премии я плачу только за внеочередные подлости. И для вас не будет никаких исключений. Поддельные документы на другие имена вы сможете получать в любом количестве. Идите! Можете обращаться ко мне, когда вам угодно. Где вы остановились? Я знаю, в гостинице “Лувуа”. Вот еще что: учите язык, посещайте курсы, университет, что хотите. Вам нужно приходить ко мне дважды в неделю в вечерние часы. Вот вам чек. Вы понимаете, что за вами наблюдают ваши коллеги. Так что без глупостей!

Выйдя на улицу, я с облегчением вздохнул. Я почувствовал, что пережил такие минуты, которые в молодости называют решающими. Позднее привыкаешь к тому, что решающими могут быть многие, да почти все минуты. Безусловно, случают-

Новый театрально-художественный сезон, открываемый 5 сентября в Москве празднованием Дня города, богат на события и премьеры. Программа празднования Дня города, составленная Департаментом культуры города Москвы, получила в этом году название **"Москва Триумфальная"**, она включает в себя Международный фестиваль театрального искусства **"Яркие люди"**, посвященный Году Литературы в России, бесплатные авторские экскурсии от московских музеев, библиотек, парков, усадеб и Городского экскурсионного бюро Музея Москвы. Бульварное кольцо станет центром мероприятий под эгидой **"Творческая Москва"**: активная программа отдыха молодежи пройдет на Покровском ("Студенческом") бульваре, выступления музыкантов москвичи смогут послушать на Сретенском и Чистопрудном бульварах, понаблюдать массовый пленэр на Петровском ("Художественном"). Гоголевский бульвар превратится в "Литературный": здесь выступят известные поэты и писатели. На Никитском развернется "Московский дворик" с концертной площадкой. На Страстном бульваре можно будет увидеть фрагменты спектаклей московских театров. Рождественский бульвар украсят арт-объектом в виде Триумфальной арки, который в ночное время будет красиво подсвечен, благодаря чему все желающие смогут сделать сказочные фотографии на память. Взглянуть на Москву глазами инженера и архитектора можно будет на Яузском бульваре, где научат отличать модерн от барокко и расскажут о разных архитектурных стилях. Здесь же для детей будет работать детская песочница. Тверской бульвар станет центром притяжения активной аудитории благодаря танцевальным мастер-классам.

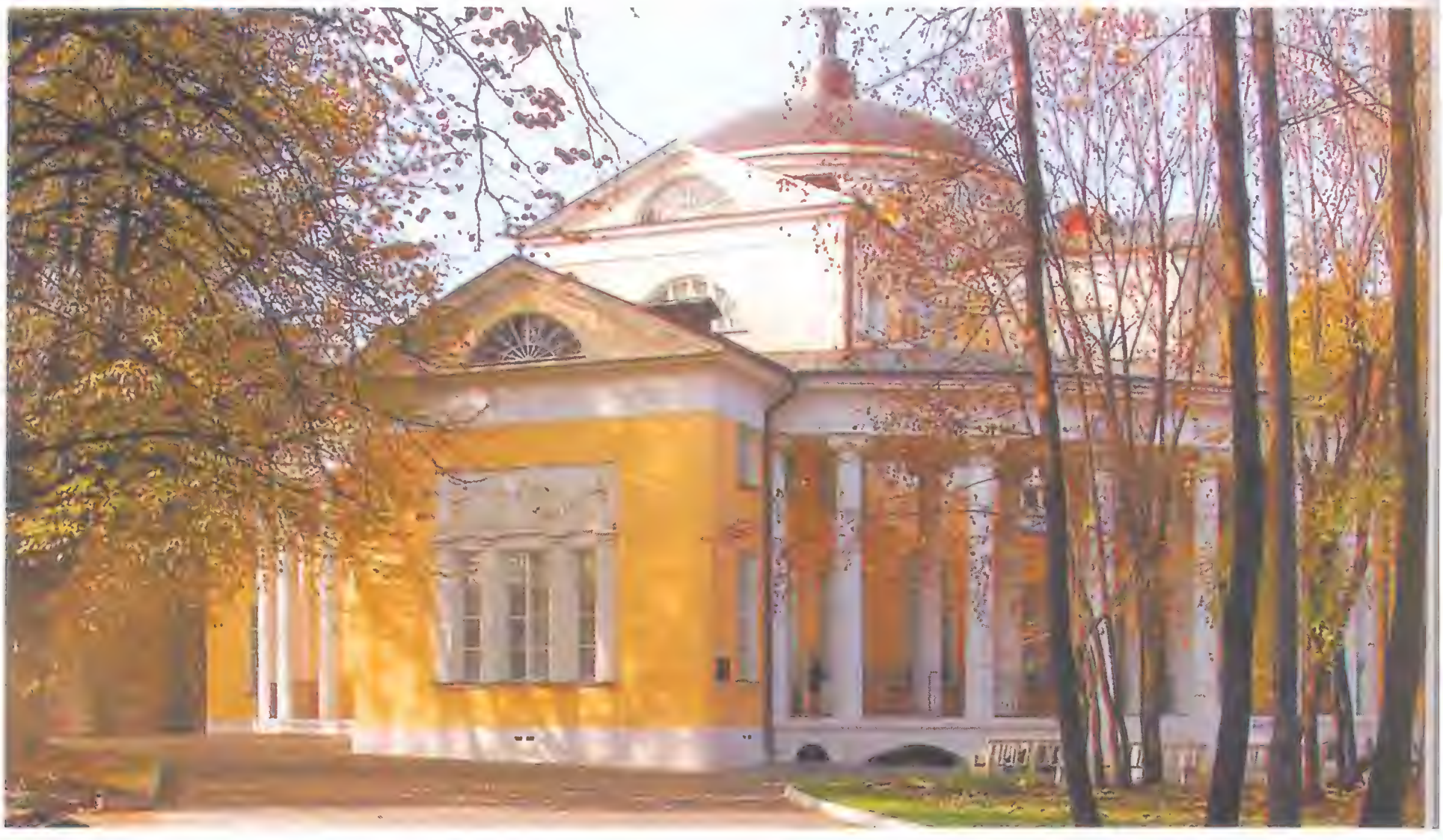
В воскресенье 6 сентября на Цветном бульваре пройдет фестиваль благотворительных фондов **"Добрая Москва"**. Москвичи смогут принять участие в специальной программе, включающей благотворительный забег, концерт и благотворительную распродажу одежды и аксессуаров. Все собранные средства и пожертвования будут переданы в благотворительные организации Москвы.

В столичных парках пройдут выступления оркестров — участников международного военно-музыкального фестиваля **"Спасская башня"**. На Пушкинской площади пройдет вечерняя концертная программа **"Московский Бродвей"**, объединяющая лучшие мировые постановки мюзиклов.

4-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА

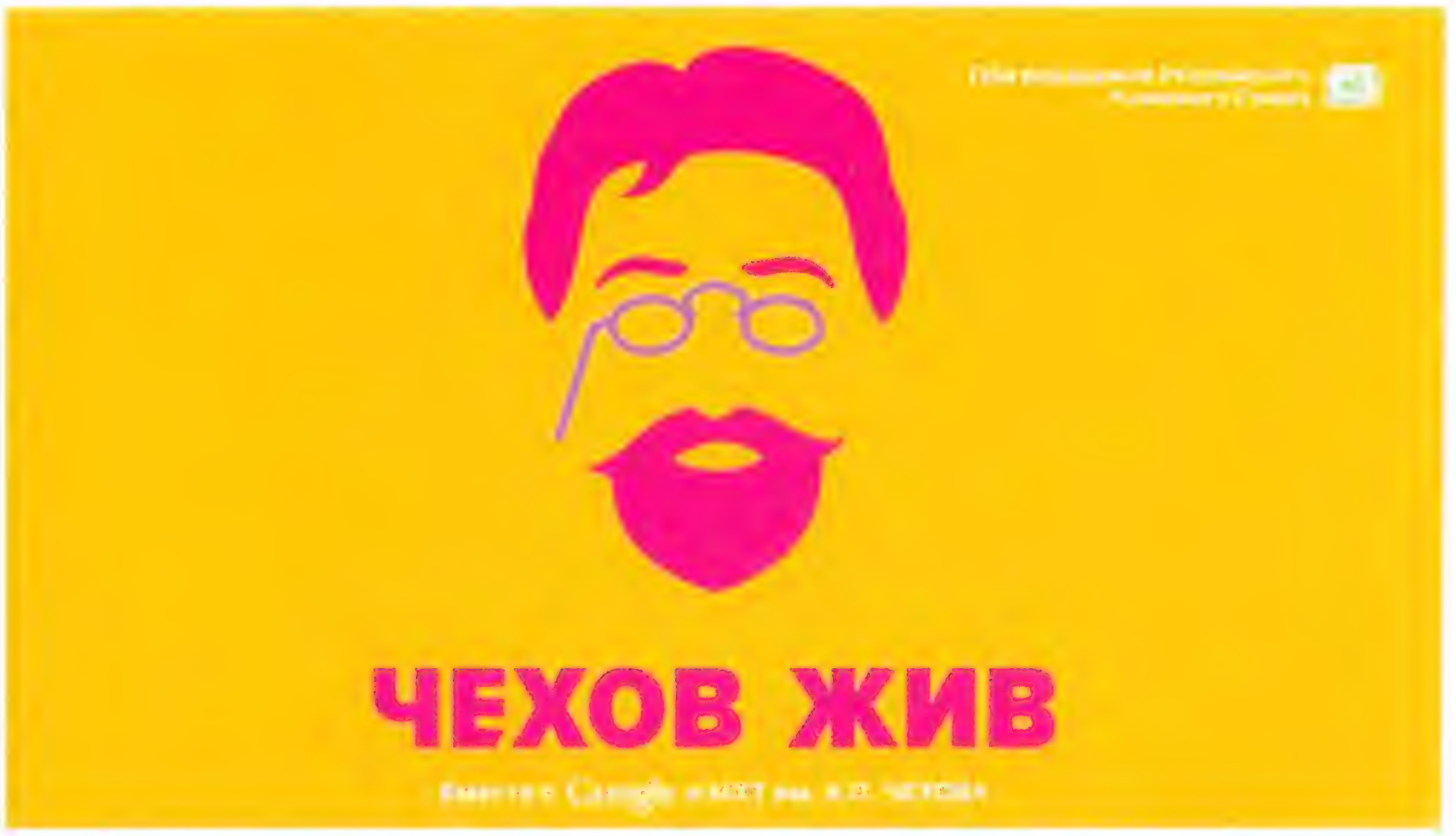
Завершит празднование Дня города Москвы-2015 **ФОТОВЫСТАВКА** “Москва Триумфальная”, которая продлится до 13 сентября и объединит несколько тематических выставок на главных бульварах города: Чистопрудном, Гоголевском, Рождественском, Страстном — и на Арбате.

Однако день города только запустит целую серию увлекательных культурных мероприятий – город предлагает на выбор **СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ЭКСКУРСИИ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ** для всех возрастов и на все вкусы. Так, до конца года продлится выставка “Будни и праздники крепостного театра. Крепостной театр России второй половины XVIII — начала XIX века” в Московском государственном объединенном музее-заповеднике в Театральной школе в Люблине, организованная при участии Департамента культуры столицы. Подмосковная усадьба Люблино, входящая в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника, некогда принадлежала Николаю



Алексеевичу Дурасову и является шедевром архитектуры начала XIX века. Усадьба интересна не только своим оригинальным и хорошо сохранившимся домом-дворцом, но и отдельно расположенными от дворца зданиями Театра и Театральной школы. На выставке можно увидеть редкие документы, касающиеся устройства и организации театров Шереметевых, партитуры, рукописные и печатные ноты, музыкальные инструменты, эскизы театральных декораций и костюмов, детали костюмов, великолепные веера.

В Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева работает выставка "Чехов жив", посвященная творчеству великого писателя. 25 сентября 500 человек из разных городов планеты соберутся на первых в мире театрализованных онлайн-чтениях чеховских произведений. Выступление будет проходить в течение 24 часов на мировой онлайн-сцене YouTube, где каждый чтец будет играть свою роль. Всего для онлайн-чтений было выбрано около 50 произведений А. П. Чехова. Выставка "Чехов жив"



приурочена к совместной акции Google, Российского книжного союза и МХТ им. Чехова. Наряду с обычными пользователями в проекте примут участие известные актеры, писатели, музыканты, спортсмены и политики. Среди них — Олег Табаков, Рената Литвинова, Константин Хабенский и другие.

Любители **СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА** в сентябре смогут отправиться в Государственный центр Современного искусства на выставку "Люди в городе", которая объединила больше 70 работ из собрания ГЦСИ по теме "Человек и город" — фотографии Сергея Браткова здесь соседствуют со скульптурой Стефана Балкенхола "Человек", обобщенным образом жителя города.

Любителей **КЛАССИКИ** приглашает Музей-заповедник "Царицыно", на новую экспозицию "Воспоминание о великой руине", посвященную истории разрушения и реставрации Большого дворца, построенного в конце XVIII века по проекту Матвея Казакова. Царицыно приглашает также на выставку "Дон Кихот в России и дон кихоты на троне" (выставка открыта в рамках межмузейного проекта "Книга века" и приурочена к 400-летию выхода в свет полной версии романа Мигеля де Сервантеса Сааведры "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" на испанском языке и проходит в Перекрестный год русского языка в Испании и испанского языка в России при поддержке посольства Испании и Института Сервантеса в Москве), выставку фарфора из фондов музея-заповедника , посвященную 70-летию Великой Победы, собрание скульптуры из Московского музея-усадьбы Останкино.

ДЛЯ ДЕТЕЙ в Музее Москвы открыты мастерские, в которых современные малыши смогут узнать о профессиях прошлого и освоить их — совместный проект Музея и детского города мастеров "Мастерславль". Дети откроют для себя Москву такой, какой она была 50 лет назад, и увидят ее глазами своих бабушек и дедушек. Музей Москвы приглашает на многочисленные лекции о прошлом столицы, ее архитектуре, проводит экскурсии по городским усадьбам. В Петровском путевом дворце, входящем в музейный комплекс, открыта выставка "Москва прифронтовая", экспозиция в Провиантских складах рассказывает о древней и средневековой Москве.

ся кризисы, взлеты, самые разные события, но в тот момент мы об этом не знаем, и сами не можем отличить взлет от чего-то несущественного. В лучшем случае мы приобретаем опыт, но и он нас ничему не учит. Умения сразу распознать и увидеть смысл нам не дано.

Наша фантазия всегда сильнее совести. И хотя совесть мне говорила, что я негодяй, жалкий слабак, все же я не смог разглядеть, что моя жизнь достойна сожаления, и моя фантазия диким галопом мчала меня неведомо куда. В кармане у меня был чек на кругленькую сумму, полученный от моего симпатичного начальника. Впрочем, если раньше сей господин мне нравился, то теперь казался назойливым. На улице я почувствовал себя свободным и независимым в свободном и вольном Париже. В прекрасном расположении духа я шел навстречу приключениям, я шел к самой красивой в мире женщине и к самому модному портному. В тот момент мне казалось, что наконец-то у меня началась жизнь, к которой я всегда стремился. Теперь я был почти настоящим Кропоткиным. И я подавил в себе настойчивый, но еле слышный голос совести, говоривший, что на самом деле я сам себя загоняю в двойной или даже тройной плен. Во-первых, я попадаю в ловушку собственной глупости, легкомыслия и порока, к которым уже как будто привык. Во-вторых, я должен буду подчиниться своей любви, и, в-третьих, я зависим от профессии.

Был по-зимнему мягкий солнечный парижский полдень. На террасах перед кафе сидела добропорядочная публика, и с каким-то блаженным злорадством я подумал, что у нас в России в это же время люди прячутся в натопленных темных жилищах. Я бесцельно переходил из одного кафе в другое. Повсюду я видел посетителей, хозяев, официантов, от них исходило веселье и благодушие, которое может дать только постоянная радость. Зима в Париже на самом деле была весной, парижские женщины — настоящими женщинами, мужчины — задушевными приятелями, а официанты в белоснежных фартуках походили на приветливых проворных божьих посланников из какого-то полного наслаждений сказочного мира. А в России, которую, как мне думалось, я оставил навсегда, было темно и холодно. Будто я и не состоял на службе — да еще на какой службе — у этой державы! В России жили голубчики, и это жалкое имя я носил лишь потому, что случайно там родился. Еще там жили не менее несчастные, по своей натуре несчастные Кропоткины, отрекшиеся от своей крови, как это возможно только в России. Французский Кропоткин никогда бы так не поступил. Я, как вы видите, был тогда молод, глуп и жалок, но казался себе гордым благородным победителем.

Все, что в этом роскошном городе попадалось мне на глаза, убеждало меня в моей правоте, оправдывало мои мысли, мои поступки и мою любовь к Лютеции.

Только с наступлением вечера, который с моей точки зрения наступил слишком рано из-за искусственного света фонарей, мне стало как-то грустно. Я напоминал себе разочарованного верующего, внезапно растерявшего всех своих богов. Я сел в фиакр и поехал в гостиницу. В один миг все для меня сделалось пошлым и фальшивым. Изо всех сил цеплялся я за единственно оставшуюся у меня надежду — Лютецию. У меня была Лютеция, и у меня был завтрашний день. Завтра, завтра я увижу ее!

Что в такой ситуации начинает делать наш человек? Он начинает пить. Сначала я выпил пива, потом вина, потом шнапса. Постепенно в моем сердце все прояснилось, и к утру я достиг такого же душевного блаженства, какое наполняло меня накануне.

Когда не вполне уверенный в своих силах я вышел на улицу, уже серело мягкое, зимнее утро. Моросил тихий, приятный дождь, какой у нас в России бывает только в апреле. А поскольку мои мысли и без того путались, в какой-то момент я перестал понимать, который час и где я нахожусь. Удивленно и несколько испуганно я наблюдал за тем, с каким рвением меня обслуживает персонал гостиницы. Мне пришлось вспомнить, что вообще-то я — князь Кропоткин.

Вскоре свежий утренний дождик привел меня в сознание. Получилось так, словно именно дождь сделал из меня князя Кропоткина. Если точнее — парижского князя Кропоткина. Тогда мне казалось, что парижский намного выше русского. На мою непокрытую голову и осунувшиеся плечи лил мелкий ласковый дождь. Я долго стоял перед главным входом в гостиницу и чувствовал, как мне в спину почтительно смотрят ее служащие, стараясь казаться равнодушными. Мое профессиональное чутье подсказывало мне, что в этих взглядах сквозит настороженность. Мне нравилось, что они на меня смотрят, мне нравилось, что идет дождь. Парижское небо благословляло меня. Уже наступило парижское утро. Мимо меня бодро прошел почтальон, от него исходило невероятное спокойствие. Город просыпался. И я, не как Голубчик, а как настоящий парижанин Кропоткин, зевнул. Зевнул не только от усталости, но и от высокомерия, и в высшей степени небрежно, прямотаки барственно прошел под благоговейными и в то же время недоверчивыми взглядами персонала гостиницы, чьи согнутые спины предназначались Кропоткину, а глаза — сыщику Голубчику.

Смущенный и усталый я рухнул в постель. По подоконнику монотонно барабанил дождь.

Я решил или, если хотите, вообразил, что начну новую жизнь с нового гардероба. Я вызвал к себе одного из тех никудышных закройщиков, что одевали в то время сильных мира сего. Я начал истинно новую жизнь, подобающую князю. Пару раз я был приглашен к портному моей любимой Лютеции. Пару раз приглашал его. Поверьте, друзья мои, поскольку все мои тогдашние мучения остались позади, я теперь могу откровенно, как я это и делаю, без высокомерия и чванства вам сообщить, что тогда я был чрезвычайно способен к языкам. Очень способен. В течение одной недели я почти свободно заговорил по-французски. Во всяком случае, я уже мог бегло общаться с портным и его девушками, которые знали меня со времен нашей поездки. Я говорил и с Лютецией. Конечно, она помнила меня. Помнила благодаря инциденту на границе, моей фамилии и, наконец, тому вечеру в купе. В то время я был всего лишь обладателем фальшивой фамилии. Я уже давно не был самим собой. Не став Кропоткиным, я перестал быть Голубчиком. Я словно был подвешен между небом и землей. Или более того: между небом, землей и адом. И ни в одной из этих сфер я не чувствовал себя своим. Где я, в сущности, был и кем? Голубчиком? Кропоткиным? Был ли я влюблен в Лютецию? Любил ли я ее или только нового себя? Изменился ли я на самом деле? Лгал я или говорил правду? Порой я думал о моей бедной-бедной маме, жене лесника Голубчика. Она ничего обо мне не знала, я совсем исчез из поля зрения ее стареющих глаз. У меня больше никогда не будет мамы, моей мамы! У кого еще на всем белом свете нет мамы? Я был потерян и опустошен. Но чтобы вследствие совершенных мною мерзостей испытывать еще и определенное чувство гордости, я рассматривал свое положение как некий знак отличия, уготованный провидением.

Постараюсь быть кратким. После нескольких совершенно бесполезных визитов к известному столичному портному, чьи работы я похвалил, — он сам и все газеты называли их шедеврами — мне удалось завоевать у Лютеции тот особый вид доверия, который между двумя людьми означает торжественное обещание. Через некоторое время я имел сомнительное счастье быть гостем в ее доме.

В ее доме! То, что я назвал “ее домом”, было бедненькой гостиницей, просто-таки домом свиданий на рю де Монмартр. У нее была всего одна комната, на желто-коричневых обоях которой неустанно повторялись два вечно целующихся попугая, ярко-желтый и снежно-белый. Они ласкались почти как голуби. И эти обои задели меня. Да, именно эти обои. Мне по-

казалось недостойным Лютеции, что в ее комнате попугаи ведут себя, как голуби. И что там вообще попугаи. Я тогда терпеть их не мог, а заодно и голубей. Почему? Не знаю.

Я принес цветы и икру. Два подарка, которые, как мне тогда казалось, подходят русскому князю. Наша беседа была долгой, подробной и задушевной.

— Вы знали моего кузена? — бесстыдно спросил я.

— Да, маленький Сергей, — так же бесстыдно солгала она, — он ухаживал за мной часами! Дарил мне орхидеи. Понимаете, мне одной, больше никому из девушек! Но на меня это не действовало! Он просто мне не нравился!

— Мне тоже, — сказал я. — Я знаю его с малых лет, и уже тогда он мне не нравился.

— Вы правы, — сказала Лютеция, — он ничтожный мошенник.

— И тем не менее вы с ним в Петербурге встречались, — начал я, — он сам мне об этом рассказывал. Встречались в chambre séparée[1] у старого Гуданова.

— Это неправда! — вскрикнула Лютеция, как только может кричать женщина, когда она отрицает очевидную правду. — Я никогда ни с одним мужчиной не была в chambre séparée! Ни в России, ни во Франции!

— Не кричите и не лгите. Я сам это видел. Я видел вас. Вы, наверное, это забыли. Мой брат не обманывал.

Как и следовало ожидать, Лютеция тут же начала жалобно плакать. А я не выношу женских слез, поэтому спустился вниз и заказал бутылку коньяка. Когда я вернулся, Лютеция больше не плакала, но держалась так, словно из-за лжи, в которой я ее уличил, все имеющиеся у нее жизненные силы были крайне напряжены. Она лежала на кровати.

— Да, бросьте вы! — сказал я. — Вот я вам тут кое-что принес для подкрепления.

Через некоторое время она поднялась и попросила:

— Давайте больше не говорить о вашем брате.

— Не будем, — согласился я, — поговорим о вас.

И все, что она тогда рассказала, я почему-то вначале принял за чистейшую правду, хотя только что сам же слышал от нее ложь!

По ее словам, она была дочерью старьевщика. В раннем возрасте ее соблазнили — ранним возрастом она называла шестнадцать лет, сегодня я бы никак не мог сказать, что это

1. Отдельная комната (*франц.*).

так уж рано; совратителем был некий жокей, за которым она последовала, а потом он бросил ее в руанской гостинице.

О, недостатка в мужчинах у нее не было! В Руане она пробыла недолго. И поскольку она выделялась своей красотой, ее заметил экстравагантный портной, занимавшийся тогда поиском моделей среди скромного парижского люда... Вот так она к нему и попала.

Во время рассказа она много пила. И врала тоже немало. Через полчаса я уже это почувствовал. Но где, друзья мои, скажите, где находится та правда, которую желаешь слышать из уст любимой женщины? И разве сам я не лгал? Обманывая, я сам так хорошо и приятно устроился, что должен был не только любить свою собственную ложь, но признавать и ценить ложь других людей. Безусловно, Лютеция была такой же дочерью старьевщика, сапожника или бог весть кого еще, как я был князем. Если бы она тогда догадалась, кто я на самом деле, то, наверное, уверила бы меня в том, что она — внебрачная дочь какого-то барона. Но так как она считала, что я знаю толк в баронах, и на собственном опыте убедилась, что высокопоставленные господа на униженных и несчастных смотрят с какой-то возвышенной тоской и любят сказки о счастливой нищете, то она и мне рассказала о чуде, которое произошло с бедной девушкой. Впрочем, говорила она довольно убедительно. Она ведь уже давно жила во лжи, в этой особого рода лжи, и порой уже сама верила в такие истории. Как и я, она была пропащим человеком. А ложь такого человека невинна, как ложь ребенка. Дрянное существование нуждается во лжи. В действительности Лютеция была дочерью одной уважаемой в свое время портнихи и того самого знаменитого мастера, у которого и состояла на службе. И конечно же его одежду демонстрировали не девушки из простого народа, а дочери его коллег.

Впрочем, друзья мои, Лютеция была очень хороша собой, а красота всегда внушает доверие. Демон, составляющий мнение мужчин о женщинах, — на стороне красивых и привлекательных. В правду некрасивых женщин мы верим редко, зато верим выдумкам красавиц.

Трудно сказать, что, собственно, мне так нравилось в Лютеции. На первый взгляд, она мало чем отличалась от остальных девушек Шаррона. Она была так же подкрашена и, в сущности, как какой-то предмет, состояла из воска и фарфора — той смеси, из которой тогда делали манекенщиц. Сейчас мир, конечно, ушел вперед, и в разное время года женщины состоят из различных, то и дело меняющихся материалов. У Лютеции был неестественно маленький рот. Когда она молчала, он напоминал продолговатый коралл. Ее брови представляли собой

две идеальные, словно очерченные циркулем, дуги. А когда она опускала глаза, видны были невероятно длинные, с большим искусством подкрашенные ресницы, а вернее — занавес из ресниц. Как она, отклонившись, красиво сидела! Как затем поднималась и шла! Как брала в руки и ставила обратно какую-нибудь вещь! Все это, разумеется, было следствием многочисленных репетиций. Казалось, что ее тонкие пальцы были вытянуты хирургом и их каким-то образом надо укоротить. Они немного напоминали карандаши. Во время разговора она ими играла, внимательно рассматривала, и, казалось, искала в блестящих ногтях свое отражение. Очень редко можно было уловить взгляд ее голубых глаз. Она не смотрела, а скорее хлопала глазами. Но когда она переставала говорить и на какое-то мгновение забывалась, ее рот становился широким и чувственным. И меж ее блестящих зубов на долю секунды показывался ее сладострастный язык — живой, красноватый, ядовитый зверек. Друзья мои, я был влюблен в ее рот. Вся низость женщин обитает в их устах. К слову сказать, именно здесь рождается измéна и даже, как вам известно из катехизиса, первородный грех...

В общем, я ее любил. Я был потрясен ее лживым рассказом, равно как и этой маленькой комнатой с попугаями на обоях. Окружение, в котором она жила, было недостойно ее, особенно ее рта. Я вспомнил лицо хозяина этой гостиницы — он был похож на собаку в мужской рубашке, и я решил дать Лютеции другую, счастливую жизнь.

— Вы бы позволили мне вам помочь? Ох, только не поймите меня превратно, я ни на что не претендую! Помогать — моя страсть. Мне нечего делать, у меня, к сожалению, нет профессии.

Итак, вы позволите?..

— На каких условиях? — присев на кровати, спросила Лютеция.

— Как я уже вам сказал — никаких условий.

— Согласна! — сказала она.

И так как я собрался встать, она снова заговорила:

— Вы не подумайте, князь, что я здесь чувствую себя несчастной. Но маэстро, которого вы знаете, бывает очень часто недоволен, и я, к несчастью, от его настроения завишу больше, чем другие женщины. Знаете, у них у всех — и тут ее язык начал выделять яд — есть благородные, богатые друзья, а я предпочитаю оставаться одинокой и добропорядочной. Я не продаю себя! — добавила она под конец и спрыгнула с кровати.

Ее халат в фантастических розовых и голубых цветах распахнулся. Нет, она не продавалась! Она всего лишь предлагала мне себя.

С этого момента началось самое запутанное время моей жизни. Я снял маленькую квартирку вблизи Елисейских Полей. В то время такие квартиры кокетливо называли "любовным гнездышком". Лютеция сама, на свой вкус, обставила ее. На стенах снова появились ненавистные мне попугаи. Еще были пианино, хотя Лютеция и не умела играть, две кошки, чьи бесшумные, неожиданно коварные прыжки вызывали во мне страх, камин, в котором из-за отсутствия тяги сразу гас огонь, и, наконец – особый, облюбованный Лютецией знак внимания ко мне, – настоящий латунный русский самовар. Была нанята услужливая, безукоризненно одетая горничная, выглядевшая так, будто ее изготовили на специальной фабрике по производству горничных. И в заключение скажу, что еще был куплен живой попугай, который досаждал мне тем, что прямотаки со зловещей скоростью выучил мою фальшивую фамилию Кропоткин и постоянно напоминал мне о моей лживой и легкомысленной сущности. Уверен, что Голубчик он бы так быстро не осилил.

Кроме того, в этом "любовном гнездышке" постоянно толпились подруги Лютеции всех мастей. Они тоже были из фарфора и воска. Кошки, обои, попугай и подруги – все они для меня были на одно лицо. Но Лютецию я все же отличал. Я был в неволе, в настоящей тяжкой, гадкой, но сладкой неволе, из которой я не мог выпутаться. И я попадал в нее добровольно, два раза в день.

Однажды вечером я пришел к Лютеции и остался на ночь. Ведь иначе и быть не могло! Клетка с попугаем была покрыта красным плюшем, в коробке сладко мурлыкали коварные кошки, а я, даже не плененный, а навечно прикованный, спал в объятьях Лютеции. Бедный Голубчик!

Проснувшись на рассвете, я почувствовал себя одновременно и счастливым, и несчастным, втянутым во что-то порочное. Все-таки я еще не до конца потерял представление о чистоте и порядочности. Мысль о чистоте была нежной, как дуновение раннего летнего дня, и все же, друзья мои, вопреки всему этот легкий ветерок был сильнее, чем шквалистый ветер греха, который сбивал меня с ног. Вот в таком состоянии я и покинул дом Лютеции. Не зная, радоваться мне или нет, я, полный сомнений, бесцельно шатался по ранним улицам города.

Очень быстро, друзья мои, я понял, что Лютеция стоит денег! Все женщины стоят денег, особенно любящие, эти стоят даже больше, чем любимые. А мне казалось, что Лютеция меня любит. Я был благодарен за то, что кто-то на этом свете любит меня. В общем-то Лютеция была единственным человеком, который без колебаний верил в то, что я – Кро-

поткин, и подтверждал реальность моего нового существования. Я был полон решимости принести жертву не ей, а самому себе – фальшивому Голубчику, настоящему Кропоткину.

И тут началась жуткая неразбериха. Нет, не в душе, там она была уже давным-давно, а в моих частных финансовых делах. Я, как говорится, начал щедро сорить деньгами. В принципе, Лютеции требовалось не так и много. Деньги, чтобы тратить их на нее, нужны были мне. И я стал их тратить, тратить безрассудно, сломя голову, с той одержимостью, с какой обычно женщины обращаются с деньгами своих мужей и любовников. Будто, разбрасывая деньги, они получают доказательства мужских чувств.

Одним словом, мне нужны были деньги. Много и сразу. Как и было положено, я пошел к моему обаятельному начальнику. Кстати, его звали Михаилом Николаевичем Соловейчиком.

– Что вы имеете мне сообщить? – спросил он.

Было около девяти часов вечера, и мне показалось, что в этом большом, просторном здании нет ни души. В полной тишине откуда-то издалека доносился смутный гул большого Парижа. В комнате было темно, и стоящая на столе Соловейчика лампа с зеленым абажуром представилась мне яркой зеленой сердцевиной этой мрачной комнаты. Под покровом темноты я немного осмелел и произнес:

– Мне нужны деньги.

– Чтобы получать необходимые вам деньги, нужно работать. У нас есть для вас множество поручений. Речь лишь о том, в состоянии ли вы или, лучше сказать, захотите ли вы исполнить подобного рода поручения, – сказал он.

– Я на все согласен. Я для того сюда и пришел.

– На все? Действительно ли на все?

– Да, на все!

– Не верю, – сказал Соловейчик. – Я знаю вас недолго, но я не верю! Вы хоть знаете, о чем идет речь? О низком предательстве. Да, именно о низком предательстве. Причем беззащитных людей, – он выждал и добавил, – в том числе беззащитных женщин!..

– Я к этому привык. В нашей профессии...

– Я знаком с вашей профессией! – не дав мне договорить, сказал он и опустил голову.

Он начал перебирать лежавшие перед ним на столе бумаги. Было слышно только шуршание и слишком размеренное тиканье настенных часов.

– Сядьте, – сказал Соловейчик.

Я сел, и мое лицо, попав в круг исходящего от лампы света, оказалось напротив его лица. Он поднял голову и пристально посмотрел на меня. В сущности, его глаза были мерт-

вы, в них было что-то от глаз слепого, что-то унылое, почти нездешнее. Я выдержал этот взгляд, хотя испугался, ибо в его глазах нельзя было прочесть ни мысли, ни чувств — ничего. И тем не менее я знал, что они были не слепыми, а, наоборот, очень даже зрячими. Я точно знал, что он меня рассматривает, но я не выдал себя, не показал, какое впечатление на меня произвели эти глаза. Кстати говоря, Соловейчик был единственным человеком, у которого я обнаружил эту способность скрывать выражение глаз. Он делал их непроницаемыми, как многие умеют делать непроницаемым лицо.

Я рассматривал его. Это длилось секунды, минуты, а мне показалось, что прошли часы. На его висках виднелась легкая седина. Его челюсти неустанно двигались, как будто обдумывая что-то, он должен был непременно жевать. Наконец он встал, подошел к окну, отодвинул штору и знаком подозвал меня к себе. Я подошел.

— Взгляните! — сказал он и указал на человека, стоящего на противоположной стороне улицы. — Вы знаете его?

Я напрягся и увидел лишь сравнительно невысокого, хорошо одетого мужчину с поднятым меховым воротником, в коричневой шляпе и с черной тростью в правой руке.

— Узнаете его? — еще раз спросил Соловейчик.

— Нет! — сказал я.

— Ладно, подождем немного.

Мы подождали. Через некоторое время этот человек начал расхаживать туда-сюда. Он сделал шагов двадцать, и меня как молнией пронзило. Мои глаза и мой мозг по-прежнему его не узнавали, но мое сердце заколотилось сильнее, как будто к моим мышцам, моим рукам и пальцам вернулась та память, в которой было отказано мозгу. Это был он, его пританцовывающая походка, которую когда-то в Одессе, где я, совсем еще молодой и невинный, тотчас же заметил, вопреки моей неопытности. Это был первый и единственный раз в моей жизни, когда я подумал, что хромой человек мог быть танцором. Итак, я узнал того, кто был на противоположной стороне улицы. Это был не кто иной, как...

— Лакатос! — сказал я.

— Вот как! — отходя от окна, произнес Соловейчик.

Мы снова сидели напротив друг друга. Соловейчик бросил взгляд на свои бумаги и спросил:

— Давно вы знакомы с Лакатосом?

— Очень давно. Он вечно попадается мне на пути. И всегда в решающие часы моей жизни.

— Думаю, вы еще не раз его повстречаете, — сказал Соловейчик. — Я редко и с большой неохотой думаю о сверхъесте-

ственных явлениях. Но в связи с этим Лакатосом, который время от времени меня посещает, я не могу отделаться от некоторого суеверия!

Я молчал. Что я мог сказать? Мне стало совершенно ясно, что я попался. Чьим пленником я был? Соловейчика? Лютеции? Лакатоса?

После небольшой паузы Соловейчик сказал:

— Он предаст вас и, возможно, уничтожит.

Я принял у Соловейчика увесистый пакет с бумагами и собрался идти.

— До следующего четверга! — сказал Соловейчик.

— Если мне суждено будет вас снова увидеть, — сказал я, и мое сердце сжалось.

Когда я вышел на улицу, Лакатоса уже не было. Сколько я ни искал его, все без толку. Я боялся его, а потому искал с особым усердием. Но уже тогда я почувствовал, что его не найду. Да, я был в этом уверен.

Как можно найти черта? Он появляется и исчезает неожиданно, и он всегда где-то рядом.

С того самого момента я потерял покой. Не только из-за Лакатоса. Я чувствовал свою неуверенность. Кто такой Соловейчик, кто такая Лютеция, что такое Париж и кто такой я сам?

Более всего я сомневался не в чем-нибудь, а в себе! Кто распоряжается моими днями, ночами, моими поступками — я сам или чужая воля? Кто заставлял меня делать то, что я делал? Люблю ли я Лютецию? Или я всего лишь люблю мою страсть, а точнее — потребность этой страстью подтверждать мою так называемую человечность? Кем и чем, в сущности, я был — я, Голубчик? Если Лакатос здесь, то ясное дело, мне уже не быть Кропоткиным. Внезапно я понял, что уже не в состоянии оставаться ни Голубчиком, ни Кропоткиным. У Лютеции я проводил полдня или полночи. Я уже давно не слушал, что она мне говорила. Впрочем, говорила она о всякой чепухе. Я запоминал многие незнакомые мне прежде выражения. И вообще прогрессу во французском — произношению, новым фразам — я полностью был обязан ей. Ибо, несмотря на всю свою растерянность в те дни, я все же никогда не забывал данный мне Соловейчиком совет — стараться в совершенстве овладеть языками. Короче, через пару недель я уже прекрасно говорил по-французски. Дома я порой погружался в английские, немецкие, итальянские книги, они буквально оглушали меня, мне представлялось, что благодаря им я обретаю свое истинное существование. В гостиничном холле, к примеру, я читал английские газеты. И пока я их читал, я видел себя соплеменником седовласых английских полковников, которые, надев

очки, сидят в креслах, я казался себе таким полковником из какой-нибудь колонии. Отчего бы мне было им не стать? Разве я Голубчик или Кропоткин? И кто же я вообще?

Я беспрерывно боялся встречи с Лакатосом. Он мог прийти в гостиницу или в дом мод, куда я периодически заезжал, чтобы забрать Лютецию. Он в любой момент мог выдать меня. Я был, как говорится, у него на крючке. А самое ужасное, что он мог выдать меня в присутствии Лютеции. И чем больше я боялся Лакатоса, тем сильнее становилась моя страсть к Лютеции. Я ощущал ее с удвоенной силой. В действительности, друзья мои, уже давно, на протяжении нескольких недель, не было никакой любви, а было бегство в страсть. В наше время врачи, рассматривая некоторые симптомы женских болезней, говорят о бегстве в болезнь, а это было самое настоящее бегство в страсть. Только лишь любя и обладая телом Лютеции, только в эти моменты я был уверен в себе. Я любил это тело вовсе не потому, что оно принадлежало моей любимой женщине, а потому что оно было для меня в какой-то степени убежищем, кельей, местом, где я был защищен от Лакатоса.

К сожалению, произошло именно то, что и должно было произойти. Лютеции, считавшей меня беспредельно богатым (как себя – дочкой старьевщика) все время нужны были деньги, все больше и больше денег. Довольно быстро стало очевидно, что она так же ненасытна, как красива. И дело не в том, что она меня обманывала, пыталась сама откладывать деньги, как это делали многие обывательницы. Нет! Ей на самом деле нужны были деньги! Она их тратила!

Она была такой, как большинство женщин ее типа. Не то чтобы она хотела злоупотребить моими чувствами, нет. Она просто не могла упустить представившийся случай! Она была падка на деньги и невероятно тщеславна. А для женщин тщеславие не просто недостаток, а в высшей степени активная страсть, как для мужчин игра. И то и другое лишь порождает все новые и новые желания. Это мать и дитя в одно и то же время. Меня затягивала страсть Лютеции. До сей поры я и не подозревал, как много одна-единственная женщина в состоянии потратить, при этом я верил, что она тратит “на самое необходимое”. Не знал я также, сколь безвольным может быть любящий мужчина. А я тогда старался быть именно таким, а влюбленному, думал я, пристало потакать женскому сумасбродству. Именно безрассудство и чрезмерность, присущие Лютеции, казались мне необходимыми, естественными. Признаюсь, ее сумасбродство даже льстило мне, оно как бы подтверждало мои лживые княжеские притязания. А мне были нужны подтверждения такого рода. Нужны были наряды для

меня и Лютеции, равно как и услужливость портного, снимавшего с меня бережными пальцами мерки в гостинице, словно я был каким-то хрупким божеством, так что моих плеч и ног едва можно было коснуться сантиметром. Именно потому что я был всего лишь Голубчиком, мне требовалось все то, что было бы обременительно для Кропоткина. Мне были необходимы по-собачьи преданный взгляд портье, согбенные спины официантов и прочей прислуги, иначе бы я не увидел их безупречно выбритые затылки. И деньги, мне нужны были деньги...

Я старался как можно больше заработать. И я зарабатывал много — нет нужды объяснять вам, каким образом мне это удавалось. Временами для Лютеции и всех остальных я был недоступен, я говорил, что уезжаю. В такие дни я внедрялся в круг наших политических беженцев, в небольшие редакции убогих подпольных газет. Я был настолько циничен, что позволял себе занимать немного денег у моих жертв. Брал не потому, что нуждался в их жалких грошах, а для того, чтобы, имитируя потребность в них, в плохоньких забегаловках делить с преследуемыми, поруганными, голодными их скудную трапезу. Я был достаточно низок, для того чтобы то и дело соблазнять женщин, которые, по каким-то там идейным причинам, были в восторге, оттого что отдались единомышленнику. В общем, я был тем, кем был по своей сути всегда, с самого рождения, — негодяем. Просто раньше эти свои качества я не использовал так откровенно. Словно бы я сам себе в то время доказывал, что я — негодяй, да еще какой! Мне везло, черт управлял каждым моим шагом. Как-то вечером, когда я пришел к Соловейчику и сообщил ему намного больше, чем другие мои коллеги, то почувствовал, что от моего рвения лишь возросло его презрение ко мне.

— Я недооценивал ваши способности, — заключил Соловейчик. — После совершенных вами в Петербурге глупостей я всегда думал, что вы — малый не промах. Недурно, Голубчик! Я вам хорошо заплачу.

Впервые он назвал меня Голубчиком, хорошо зная, что для меня это, как удар нагайкой. Я взял деньги, много денег, переоделся, поехал в гостиницу, снова увидел спины и затылки, увидел Лютецию, ночные рестораны, гадкие, холеные лица официантов и все забыл. Все! Я был князь. Я даже забыл ужасного Лакатоса.

Зря забыл.

Одним прекрасным весенним утром я сидел в холле гостиницы, и, хотя там не было окон, казалось, что солнце пробивается сквозь стенные поры. Я был доволен, ни о чем не думал, и именно в этот момент мне было уготовано сомнительное удо-

вольствие встретиться с Лакатосом. Он был по-весеннему радостен. В каком-то смысле он уже предчувствовал лето. Он вошел, размахивая так давно знакомой мне тростью, словно сама весна в человеческом обличье, в очень светлом летнем пальто, в усеянном яркими цветами галстуке, в светло-сером низком цилиндре. Поочередно он называл меня то "ваша светлость", то "князь", а иногда даже, на манер прислуги, — "ваше высокоблагородие". Для меня это светлое утро омрачилось в одночасье. Он так громко спросил, как мне жилось все это время, что все, кто был в холле, включая портье, это услышали. Я был немногословен. Не только от страха, но и от высокомерия.

— Значит, ваш батюшка все же признал вас? — тихо спросил он меня, нагнувшись ко мне так близко, что я почувствовал запах его ландышевого одеколона и тяжелую волну бриолина, исходящую от его усов. А еще — отчетливо увидел красное тление в его сверкающих карих глазах.

— Да, — сказал я и отодвинулся от него.

— Тогда вас порадует то, что я сообщу.

Он ждал. Я молчал.

— Со вчерашнего дня здесь находится ваш брат. Он живет в Париже в своем собственном доме — у него здесь постоянное жилье. Как и каждый год, он полагает остаться здесь на пару месяцев, — равнодушно сказал он, — думаю, вы помиритесь?

— Пока нет! — сказал я, едва сдерживая нетерпение и страх.

— Ну, я надеюсь, что это произойдет. Во всяком случае, я всегда к вашим услугам.

— Благодарю, — сказал я.

Он встал и низко поклонился. Я продолжал сидеть.

Вскоре я поехал к Лютеции. Не застав ее дома, отправился к портному. Я ворвался туда с букетом цветов, как с обнаженным мечом. Лютецию я видел всего несколько минут. О приезде Кропоткина она пока ничего не знала. Оставив ателье, я зашел в кафе в надежде, что, посидев там и хорошенько все обдумав, смогу прийти к какому-нибудь разумному решению. Но любая моя мысль была подточена ревностью, ненавистью, страстью и жаждой мести. Мне даже подумалось, что наилучшим выходом было бы сегодня же пойти к Соловейчику и попросить его отправить меня назад, в Россию. Потом меня снова охватил страх, страх потерять эту парижскую жизнь, Лютецию, мое украденное имя — все-все, что составляло мое существование. В какой-то момент пришла мысль о самоубийстве, но я жутко страшился смерти. Намного легче и лучше, но отнюдь не приятнее было бы убить князя, раз и навсегда избавиться от этого смехотворного, бесполезного малого! Но в

этот же миг моя совесть подсказала мне, что если он бесполезный, то, по логике вещей, я еще хуже, злее и опаснее его. Правда, еще через мгновение я уже был уверен: во всем, что во мне было плохого, виноват только он, а потому его убийство, в сущности, — это вполне нравственный поступок. Устранив его, я тем самым уничтожу причину моей испорченности, я приобрету свободу и смогу стать человеком. Пожалуй, искуплю страдания добропорядочного Голубчика. Однако, уже обдумывая все это, я почувствовал, что сам я на убийство не способен. Я, друзья мои, еще долго не был честен перед самим собой настолько, чтобы убить самому. Когда я думал об убийстве какого-нибудь конкретного человека, мне казалось, что это то же, что растление. Мы, сыщики, — не убийцы. Мы занимаемся только подготовкой обстоятельств, ведущих человека к неминуемой смерти. Тогда иначе я и думать не мог. По своей профессии и по природе, как я уже не раз говорил, друзья мои, я был обыкновенным подлецом.

Среди множества людей, в предательстве которых заключалась тогда моя позорная миссия, была и одна еврейская девушка по имени Ханна Лея Ривкина из Радзивилова. Я никогда не забуду ее имени, места рождения, лица, фигуры. Два ее брата были приговорены в России к каторге за подготовку покушения на одесского губернатора. Как мне было известно из документов, уже три года как они находились в Сибири, у самой границы с тайгой. Их сестре удалось вместе с еще одним братом своевременно бежать. Этот брат был наполовину парализованным молодым человеком, целыми днями он должен был находиться в кресле. Двигать он мог только правой рукой и ногой. Было ясно, что он обладает великолепной памятью и что он необычайно одаренный физик и математик. План нападения на губернатора, а также несложная формула взрывчатки, которую можно было сделать из подручных средств, — были его рук делом. Брат и сестра жили у своих швейцарских друзей из Женевы. Это был сапожник с женой, в чьей мастерской часто собирались русские. Я был у них несколько раз. Эта милая еврейская девушка была полна решимости вернуться в Россию, чтобы спасти своих братьев. Всю ответственность она брала на себя. Ее мама умерла, отец болел, у нее остались лишь три несовершеннолетних брата. В многочисленных прошениях, отправленных в русское посольство, она объясняла, что готова вернуться в Россию, чтобы понести наказание, если у нее будут гарантии, что освободят ее невинных братьев, схваченных лишь из-за ее преступных действий. Нам же, то есть русской полиции, нужно было заполучить эту девушку, не давая ей при этом никаких официальных подтверждений. Этого посольство

сделать никак не могло и даже не имело права, но сама Ханна Лея нужна была нам буквально позарез. "Она нам нужна" — вот что дословно говорилось в предписаниях.

До появления Лакатоса, хотя я по природе и был подлецом, все же я считал для себя невозможным погубить эту девушку и ее брата. Они, единственные среди русских, которых мне надлежало выдать, пробуждали во мне остатки совести. Если у меня и были тогда хоть какие-нибудь представления о смертном грехе, то только благодаря этим двоим. От этой хрупкой, нежной девушки — если существует еврейский ангел, то в нем должны сочетаться твердость и очарование, — так вот от этой хрупкой девушки исходила какая-то завораживающая сила. Да, именно завораживающая, по-другому не скажешь. Она не была красива той признанной красотой, которую люди называют обольстительной. Нет, но эта маленькая, неприметная девушка трогала мою душу и мои чувства. Я смотрел на нее, и мне казалось, я слышу песню. Да, не вижу, а слышу что-то прекрасное, никогда не слышанное, незнакомое и все же очень родное. Порой, в тишине, когда ее парализованный брат на краю дивана читал лежащую перед ним на высоком кресле книгу, когда мирно щебетала канарейка, а узкая полоска доброго весеннего солнца касалась голой половицы, я, сидя напротив этой милой девушки и спокойно рассматривая ее бледное, немного скуластое, измученное жизнью лицо, в котором читалось страдание всех наших русских евреев, был близок к тому, чтобы обо всем ей рассказать. Конечно, я был не единственным сыщиком, которого подсылали к ней, и кому ведомо, сколько моих коллег я мог здесь встретить (мы редко знали друг друга), но я уверен, что со всеми или, во всяком случае, с большинством из них происходило то же самое, что и со мной. В этом ребенке было нечто, что нас сражало. В принципе нам было нужно, посулив освобождение братьев, заманить ее в Россию. Но обмануть ее было нелегко, она бы поверила только такому обещанию, которое бы подписал царский посол. Но, на худой конец, достаточно было бы выведать у нее имена всех оставшихся в России товарищей. Да, друзья мои, как я уже сказал, хоть я и был по натуре негодяем, но вблизи этой девушки я исправлялся, иногда я чувствовал, как плачет, как буквально тает мое сердце.

Шли месяцы. Уже наступило лето. Я собирался с Лютецией куда-нибудь поехать. Как-то раз ко мне в гостиницу пришел седовласый, строго одетый, очень церемонный господин. Со своей густой шевелюрой, белыми, аккуратно расчесанными, внушающими почтение бакенбардами, краси-

вой тростью из черного дерева, чья серебряная матовая рукоятка, казалось, была сделана из того же материала, что его шевелюра и бородка, он производил впечатление высокопоставленного угрюмого царского сановника. В моем представлении так должны были выглядеть царские придворные, выполняющие свои обязанности в предсмертные часы и во время погребения царей. Но когда я хорошенько вгляделся, он показался мне знакомым. Из моего давно ушедшего детства вдруг всплыли его лицо, его густые волосы, бакенбарды, голос. И стоило ему только сказать: “Я рад нашей новой встрече, господин Голубчик!”, как я уже знал, кто стоит передо мной. Он, по-видимому, был уже очень стар. Однажды, стоя за дверью, я слышал его голос, и один раз в темном коридоре мельком видел его серебристо-черную фигуру. Это был душеприказчик старого князя. Сколько же лет прошло с тех пор, как он приходил к хозяину пансиона, чтобы платить за меня! Он едва протянул мне руку. На долю секунды моей руки коснулись три холодных, худощавых, прямо-таки окаменевших кончика пальцев. Я предложил ему сесть. Он, словно не желая оказывать слишком много чести моему стулу, сел на самый его краешек таким образом, что должен был, дабы не соскользнуть, опираться на стоящую между коленей трость. Двумя пальцами он держал черную, нарядную, жесткую шляпу. Не теряя зря времени, он сразу перешел к самому главному, как говорится на латыни, in medias res:

– Господин Голубчик, здесь находится молодой князь. Старый князь тоже здесь на некоторое время остановится по дороге на юг. Вы незаконно и самым недостойным образом – если не сказать покрепче – доставили обоим господам чрезвычайно много хлопот. Вы называете себя здесь Кропоткиным. Вы поддерживаете определенные отношения с одной... как бишь ее зовут. У нее тоже много имен. Молодой князь не хочет больше терпеть этих ваших отношений, уж так он решил. Вот такой каприз. Но это мелочи. Молодой князь великодушен. Обдумайте быстренько и скажите мне напрямик, сколько вы запросите, чтобы навсегда исчезнуть с нашего горизонта. Однажды вы уже узнали, сколь велика наша власть. Если же вы заупрямитесь, наказание будет посерьезней, чем у ваших жертв здесь. Я, естественно, ничего не имею против вашей профессии. Она, скажем, не самая почетная, но необходимая в интересах государства – в высшей степени необходимая, это понятно. Нашему государю, несомненно, нужны подобные вам. Но семье, которую я вот уже сорок лет имею честь везде представлять, вы просто неприятны. Кропоткины готовы вам посодействовать, если вы начнете новую

жизнь где-нибудь в Америке или даже в России. Итак, подумайте, сколько вам для этого надо.

При этих словах седовласый господин достал из кармана тяжелые золотые часы. Он держал их как врач, проверяющий пульс своего пациента. Я думал. Я действительно думал. Увиливать, уговаривать дать мне время на раздумье, было бесполезно, я это понимал, это ни к чему бы не привело и было бы просто смешно. Его часы тикали неустанно. Время шло. Как долго он будет ждать?

Я не мог принять никакого решения. Но добрый дух, который не покидает никого, даже подлецов от рождения, вдруг неожиданно напомнил мне о Ханне Лее Ривкиной, и я сказал:

— Мне не нужны деньги. Мне нужна княжеская протекция. И если он могуществен, как вы об этом говорите, пусть он мне поможет. Я могу его увидеть?

— Разумеется, — пряча свои часы, сказал мой собеседник, — идемте со мной!

Перед гостиницей ждала собственная парижская коляска князя Кропоткина, настоящего Кропоткина. Мы поехали и остановились перед его виллой, расположенной в Булонском лесу. В лакеях, носивших такие же бакенбарды, как и сопровождавший меня господин, я пытался узнать кого-нибудь из тех, кого видел много-много лет назад в летней резиденции старого князя в Одессе.

Обо мне доложили. До меня в кабинет князя вошел секретарь, и мне пришлось ждать еще долгих полчаса. Печальный, подавленный я сидел в приемной, как когда-то — в приемной старого князя. Но теперь я был еще более жалок, чем Голубчик в те времена. Тогда мир передо мной был еще открыт, теперь же я был Голубчиком, потерявшим его. И это было мне известно. Но стоило мне лишь подумать о Ханне Лее, как ничего уже не имело значения.

Наконец я вошел в кабинет молодого князя. Он выглядел точно так, как в тот раз, когда через щель в стене я наблюдал за ним и Лютецией в chambre séparée. Да, он был таким же. Как бы мне его описать? Наверняка вам знаком этот тип мужчин: элегантный, потрепанный ветреник. Его кожа была столь бледной и безжизненной, что лицо походило на смыленный кусок желтого мыла с тонкими, черными усиками. Я ненавидел его ничуть не меньше, чем много лет назад.

Когда я зашел, он, не переставая, ходил по комнате. Вел себя так, словно вместо меня душеприказчик князя принес ему куклу. И со своим вопросом он подошел тоже не ко мне, а к нему:

— Сколько?

— Я бы хотел сам с вами переговорить, — сказал я.

— А я бы не хотел, — возразил он и, посмотрев на седовласого господина, добавил: — Вы сами ведите с ним переговоры!

— Мне не нужны деньги, — сказал я, — если вы на самом деле такой влиятельный, то я сделаю все, что вы хотите, при условии, что вы освободите от каторги двух молодых людей и избавите от наказания одну девушку. И сделаете это незамедлительно, в течение одной недели!

— Хорошо! — сказал душеприказчик, — Но вы все это время, по возможности, держитесь в тени, и предоставьте мне все данные.

Я сообщил ему сведения о братьях Ривкиных. Через несколько дней я должен был узнать об их судьбе.

Прошло несколько дней. Признаюсь, я ждал с великим нетерпением, с нравственным, можно сказать, нетерпением. Я говорю о нравственности, потому что меня тогда одолела сильная тяга к раскаянью, и я думал, что пришло мгновение, когда одним-единственным хорошим поступком я смогу искупить всю низость моей жизни.

Я ждал, ждал.

Наконец, пришло приглашение к князю.

Старый, почтенный секретарь встретил меня сидя. Ничего не говоря, он сделал рукой едва заметный жест, как будто не предлагал мне присесть, а отгонял, как отгоняют муху.

Но из чистого упрямства я сел, положил ногу на ногу и, из того же упрямства, спросил:

— Где князь?

— Для вас его дома нет, — сухо ответил старик. — Князь поручил передать вам, что он вообще не занимается политикой и не вмешивается в грязные дела. Кроме того, он не хочет никаких с вами сделок. Ведь однажды вы уже себя показали, и сейчас способны выставить князя покровителем государственных преступников. Полагаю, вы все поняли. Мы можем предложить вам только деньги. Если вы не примите наши условия, у нас найдется другой способ выдворить вас из Парижа. Не так уж вы незаменимы. Наверняка есть другие, может, даже лучшие исполнители.

— Я не возьму денег и никуда не уеду, — сказал я, уже думая о своем обаятельном начальнике, Соловейчике. Я хотел ему все подробно объяснить, хотел довериться ему, и при этом совершенно забыл о том его неживом взгляде, которым он в последний раз одарил меня. Я вообразил себе, что Соловейчик на моей стороне, что я ему нравлюсь. Было решено тут же пойти к нему.

— Фальшивый Кропоткин предлагает отступные, а настоящий Кропоткин их не берет, — встав, сказал я, сделав акцент на слове “настоящий”.

Сейчас бы я назвал это заявление смешным, но тогда я ждал какого-то жеста, слов возмущения, но секретарь не шевельнулся, даже не взглянул на меня. Он смотрел на гладкую, черную поверхность стола, будто читал написанную на дереве фразу, которую произнес через несколько секунд:

— Идите! И действуйте удобоваримым для вас образом, — не глядя в мою сторону и даже не привстав, сказал он.

От этого “удобоваримым” я покраснел и вышел, не попрощавшись. На улице шел дождь, и я приказал портье взять для меня коляску. Я все еще казался себе князем, хотя и было понятно, что я снова Голубчик. Кропоткиным я мог побыть еще пару дней.

Но, несмотря на то что я возвращался к моему прежнему существованию и моему старому имени, мне, друзья мои, было хорошо. Поверьте мне, я был доволен. И если меня тогда что-нибудь беспокоило, так это то, что я не смог помочь Ханне Лее. Однако я думал, что случай еще предоставит мне возможность искупить все то зло, что я совершил. И если мне не удастся спастись, то хотя бы немного очиститься.

Мне было хорошо.

В гостиницу я вернулся довольно поздно, когда в холле уже горели лампочки. Мне сказали, что в кабинете меня ожидает какой-то господин.

Я подумал, что это Лакатос и, ничего не говоря, отправился в кабинет. К моему большому удивлению моего друга Лакатоса в комнате не было — с широкого кресла за одним из письменных столов поднялся экстравагантный портной, “творец высокой моды”.

В кабинете была полутьма, на других столах горели лампы под зелеными абажурами, но казалось, что свет от них еще больше затемняет комнату. Эти лампы показались мне сосудами с ядом.

При таком странном освещении широкое, желтоватое лицо господина Шаррона выглядело, как тесто, набухающее в печи. И чем ближе он ко мне подступал, тем шире становилось его вязкое лицо; даже в сравнении со слишком просторной, летящей одеждой, больше подходящей женщине. Он поклонился мне, как поклонился бы квадратный шар. Я не мог поверить, что передо мной стоит живой, реальный человек.

— Князь, вы позволите мне обсудить с вами одну безделицу? — спросил он, с трудом приподнимая свое неуклюжее, круглое тело.

Мне показалось смешным, что кто-то меня все еще называет князем, но, тем не менее, меня это успокоило. Я попросил этого чудаковатого господина поделиться со мной всем, что у него на сердце.

— Ах, чепуха, князь, мелочь, — уверял он, очерчивая при этом в воздухе своей пухлой, тестообразной рукой большую дугу. — Речь о небольшом долге. Мне очень неловко, даже противно... Это касается платьев фрейлейн Лютеции.

— Каких платьев? — спросил я.

— Это дело двухмесячной давности. Фрейлейн Лютеция особенная, я хотел сказать, особенная женщина, дама. С ней иногда бывает нелегко ладить. Она, должен сказать, настоящая дама, не то что другие. Хотя она дочь моей обыкновенной, да что я говорю, самой обыкновенной коллеги, у нее (и не без основания) претензии, как у дамы из круга наших самых знатных заказчиц. Князь, я должен признаться, что продал ей, фрейлейн Лютеции, три моих лучших платья, которые она сама же демонстрировала. Я бы не побеспокоил вас, если бы не острая необходимость, не определенные сложности, которые в данный момент я переживаю.

— Сколько? — спросил я, как настоящий князь.

— Восемь тысяч! — не мешкая, ответил господин Шаррон.

— Хорошо! — как истинный князь, сказал я и оставил его.

Расставшись с портным, я сразу же поехал к Лютеции. Восемь тысяч франков, друзья мои, в те времена для меня, жалкого, бедного сыщика, не были мелочью. Конечно, мне, наверное, не следовало на себя ничего брать. Но разве я все еще не любил, разве не был все так же пленен?

Я пришел к Лютеции. Она сидела за накрытым к ужину столом и, как всегда, ждала меня, ждала, как подобает женщине ее статуса, даже в те вечера, когда я не мог прийти.

Я поцеловал ее тем привычным, обязательным поцелуем, каким настоящие господа целуют содержанку.

Я ел без аппетита, и должен сознаться, что, вопреки влюбленности, с некоторой неприязнью наблюдал за здоровым аппетитом Лютеции. Мною владели низменные мысли о восьми тысячах франках. Тут сошлось многое. Я думал о себе самом, о Голубчике. Два часа назад я радовался, что снова им стану, а сейчас, сидя рядом с Лютецией, по этой же причине я был переполнен горечью. Все-таки в какой-то степени я еще оставался Кропоткиным и должен был заплатить эти восемь тысяч франков. Заплатить как Кропоткин. Меня, никогда не считавшего деньги, неожиданно разозлила величина этой суммы. Друзья мои, случаются такие моменты, когда деньги, которые платишь за свою страсть, кажутся тебе почти такими же важными, как сама

страсть и предмет ее возбуждающий. Я не думал о том, что я сам мошенничеством и подлой ложью приобрел и содержал мою любимую Лютецию, зато упрекал ее в том, что она верила моей лжи и жила за ее счет. Во мне поднималась какая-то незнакомая доселе ярость. Я любил Лютецию и в то же время негодовал. Вскоре, еще во время ужина, мне пришло в голову, что она одна виновата во всех моих бедах. Я все перебирал в голове, выискивая у нее недостатки, и нашел: если она ничего не рассказала мне о платьях, то это приравнивается к обману. И поэтому, медленно складывая салфетку, растягивая слова, я произнес:

— Сегодня у меня побывал господин Шаррон.

— Свинья! — только и сказала Лютеция.

— Отчего же? — спросил я.

— Старая свинья! — сказала она.

— Но почему? — повторил я свой вопрос.

— Ах, что ты вообще знаешь! — сказала Лютеция.

— Я должен заплатить за тебя восемь тысяч франков. Почему ты об этом мне ничего не сказала?

— Я не обязана тебе обо всем говорить.

— Напротив, обо всем!

— Но не о мелочах! — сложив на коленях руки и посмотрев на меня с вызовом, зло сказала она. — Не обо всех!

— Почему не обо всех? — спросил я.

— Так!

— Что значит это “так”?

— Я женщина! — сказала она.

Какой аргумент, подумал я и, как говорится, взяв себя в руки, сказал:

— Я никогда не сомневался в том, что ты женщина.

— Но ты этого так и не понял, — заявила Лютеция.

— Давай поговорим по-деловому, — все еще сохраняя спокойствие, сказал я. — Почему ты мне ничего не рассказала о платьях?

— Такая чепуха! Сколько там они стоят?

— Восемь тысяч!

И хотя я уже решил, что буду вести себя, как обыкновенный Голубчик, все же боялся, что в создавшейся ситуации уже не выгляжу князем Кропоткиным.

— Мелочь, — сказала Лютеция, — я женщина, и мне нужны платья!

— Почему ты мне раньше ничего не сказала?

— Я женщина!

— Это мне известно!

— Ничего тебе не известно, иначе бы ты об этом и слова не проронил!

— Ты могла бы избавить меня от визита Шаррона, я не люблю этого, мне не нужны такие сюрпризы! — сказал я в манере князя, в то время как заботили меня восемь тысяч франков.

— Ты хочешь продолжать ссориться? — спросила Лютеция, и в ее красивых, но бездушных глазах, которые мне показались в тот миг стеклянными шарами, уже зажглись те сердитые огоньки, которые все вы, друзья мои, наверняка время от времени замечали в глазах ваших женщин. Если у огня может быть пол, то этот, думаю я, без сомнения относится к женщинам. Для него не нужны основания, видимые причины, я подозреваю, что он всегда тлеет в женских душах, иногда разгораясь в их глазах настоящим пламенем, добрым и одновременно злым. Как посмотреть... В любом случае, я его боюсь.

Отбросив салфетку, Лютеция встала из-за стола с той чувственной порывистостью, которая у женщин часто бывает искренней, но не менее часто они ее изображают.

— С меня хватит! Мне надоело, — сказала она и повторила, как будто не говорила это уже несколько раз, — ты никогда не поймешь, что я женщина!

Я тоже встал. Еще неопытный, я тогда думал, что одним ласковым прикосновением можно смягчить женщину, умиротворить. Как раз наоборот, дорогие мои! Едва я протянул к ней свою полную нежности руку, как милая моему сердцу Лютеция начала обеими руками колотить меня по лицу и одновременно топать ногами — странное поведение, совершенно не свойственное мужчинам.

— Ты заплатишь, заплатишь! Завтра же утром заплатишь! Я требую этого! — кричала она.

Друзья мои, как бы повел себя при этом князь Кропоткин? Вероятно, он сказал бы “конечно!” и ушел. А я, Голубчик, сказал “нет!” и остался.

Лютеция вдруг рассмеялась тем звонким смехом, который, как вы знаете, еще называют театральным. Но он никакой не театральный. Смеясь на сцене, женщины просто подражают себе же, подражают тому, как они смеются в жизни. Кто скажет, где заканчивается жизнь и где начинается этот так называемый театр?

Короче говоря, она смеялась. Это продолжалось достаточно долго. Но все, как вы понимаете, когда-нибудь заканчивается. В конце концов, замолчала и Лютеция, и вдруг совершенно серьезно, чуть ли не трагическим голосом тихо сказала:

— Если ты не заплатишь, то заплатит твой брат.

Да, то, что я услышал, напугало меня, хотя, казалось бы, меня уже ничего не должно было пугать. Если мой так назы-

ваемый брат уже был у Лютеции, то вскоре она узнает, кто я на самом деле. И почему, спросил я себя, от нее это надо скрывать? Разве прежде, чем я сюда пришел, я не желал прекратить этот скверный спектакль и просто быть обыкновенным Голубчиком?

Почему же тогда отказ от моей бестолковой, моей запутанной жизни вновь причинил мне боль? Настолько ли сильно я любил Лютецию? Достаточно ли было одного ее взгляда, чтобы я отказался от своих намерений? Нравилась ли она мне именно в тот момент? Неужели я не видел, какая она лживая, какая продажная? Да все я видел, видел и презирал ее за это. И, быть может, я бы оставил ее, если б на моем пути снова не встал этот "брат". Я по отношению к нему повел себя благородно — не взял его денег, и вот опять я сталкиваюсь с его страшной властью надо мной.

Разумеется, я не мог уплатить эту непомерно большую сумму, даже ее треть. Что я должен был предпринять, чтобы одним ударом погасить хотя бы три тысячи франков? И даже если заплачу, поможет ли это и дальше скрывать от Лютеции правду? Будь у меня деньги, думал я тогда как в бреду, я бы ей сказал, кто я на самом деле, сказал бы, что самые большие подлости я совершал ради нее и что любая женщина предпочла бы Кропоткину Голубчика. Так я думал. Хотя и видел, что она лживое, лишенное всякой совести существо, но все-таки верил в ее благородство, ее способность не только вынести мою искренность, но и оценить ее. Я даже верил в то, что моя искренность растрогает ее. Может быть, женщинам, а впрочем, и мужчинам, и нравятся больше честные люди, тем не менее они крайне неохотно слушают признания лжецов и притворщиков.

Но вернусь к своему рассказу. Я спросил Лютецию, виделась ли она уже с моим братом.

— Нет! — ответила она, не виделась, но он ей написал, и она ждет, что рано или поздно он навестит ее, возможно, в ателье Шаррона.

— Ты его сразу же выставишь! — сказал я. — Мне это не нравится!

— А мне совершенно все равно что тебе нравится, а что нет! Ты мне вообще уже надоел!

— Ты что, любишь его? — не глядя на нее, спросил я.

Я был настолько глуп, что верил, что она скажет "да" или "нет". Но она ответила:

— Ну, а если люблю, что тогда?

— Тогда берегись! — сказал я. — Ты не знаешь, кто я и на что способен.

— Да ни на что! — отрезала она и, подойдя к клетке с этим мерзким попугаем, начала щекотать его жгуче-красную шею. В следующее мгновение попугай три раза подряд протрещал: “Кропоткин, Кропоткин, Кропоткин”.

Это был результат дрессировки. Но можно было подумать, что Лютеция уже все обо мне знает и лишь сообщает это через попугая.

Из вежливости, словно это был человек, я дал ему высказаться, а затем сказал:

— Ты еще увидишь, на что я способен!

— Так покажи! — впадая в ярость или только изображая ее, крикнула она.

В комнате совсем не было ветра, но мне вдруг показалось, что одновременно начали развеваться ее волосы и взъерошились перья попугая. Она схватила металлические качели, на которые обычно, вылетев из клетки, садилась эта ужасная птица, и стукнула меня ими, куда попало. Я хорошо почувствовал этот удар, было больно, несмотря на то что я был очень выносливым. Но намного сильнее удара было мое удивление при виде этой хорошо знакомой, любимой мною женщины, превратившейся в надушенный ураган. Этот манящий ураган вызвал у меня желание все же его укротить, и я схватил Лютецию за руки. Она заорала от боли, и тут же, точно зовя на помощь соседей, пронзительно завопил попугай. Лютеция качнулась, побледнела и упала на ковер. Она, разумеется, не могла потянуть меня за собой, поскольку я был слишком тяжелым, но я упал. Она обняла меня, и мы в беспредельном счастье своей ненависти лежали так еще очень, очень долго.

Я поднялся, когда была еще глубокая ночь, но уже предугадывался приход утра. Думая, что Лютеция спит, я не стал ее тревожить. Но она нежным, милым, детским голоском сказала:

— Приходи завтра в ателье! Избавь меня от своего брата. Я не выношу его! Я люблю тебя!

Я шел домой сквозь тишину постепенно отступающей ночи, шел осторожно, ибо в любой момент ждал встречи с Лакатосом.

Время от времени мне чудился его слегка прихрамывающий шаг. И хотя я страшился его, но понимал, что этой ночью мне необходим его совет. Несмотря на то что знал — совет этот будет дьявольским.

На следующий день, прежде чем пойти в ателье, то есть к Лютеции, я изрядно выпил. Я думал, что, одурманив себя, смогу подготовить более четкий и разумный план.

Наш портной встретил меня с большим воодушевлением. В приемной его ждали кредиторы, их легко было узнать по сумрачной улыбке и красноречивому молчанию.

Я не понимал, что говорю, я хотел увидеть Лютецию. Она стояла в примерочной между трех зеркал, ее то закутывали во всевозможные ткани, то эти ткани снимали. Выглядело это так, словно сотнями иголок ее медленно и элегантно пытали.

Когда я проходил мимо голов трех орудующих иголками молодых людей с набриолиненными волосами, я спросил:

— Он уже был здесь?

— Нет. Только прислал цветы!

Я хотел еще что-то сказать, но, во-первых, у меня сдавило горло, а, во-вторых, Лютеция попросила меня выйти.

— Встретимся вечером! — сказала она.

Под дверью меня уже ждал господин Шаррон.

— Сегодня непременно, во второй половине дня, — сказал я, чтобы больше с ним ни о чем не говорить. Правда, у меня не было никакой надежды, что я получу эти деньги.

Я стремительно вышел и поехал к Соловейчику. Мне было хорошо известно, что в эти часы он редко бывает на месте. С противоположных сторон от его кабинета располагались две приемные, примыкавшие к канцелярии, как уши к голове. Одна из них была изолирована белой дверью с золоченой планкой, другая — занавешена тяжелой зеленой портьерой. В первой приемной, как правило, находились те, кто не имел понятия об истинных обязанностях Соловейчика, в другой — мы, посвященные. Я знал только некоторых из них. Через портьеру мы могли слышать все, о чем говорилось в кабинете с ничего не подозревавшими посетителями. Речь шла о незначительных вещах: о ввозе и вывозе зерна, разрешениях на сезонную торговлю хмелем, продлении загранпаспортов для больных и т. д. Нас, посвященных, все эти дела не интересовали, но наши уши, привыкшие к подслушиванию, вбирали в себя все подряд. Ожидая своей очереди, мы легко вступали друг с другом в разговоры, но избегали обсуждать то, что, вопреки желанию, услышали наши профессиональные уши. Да, мы не доверяли друг другу и даже испытывали взаимное отвращение. Как только Соловейчик заканчивал с этой группой посетителей, он, отдернув портьеру, заглядывал в нашу приемную и вызывал к себе наиболее важную на данный момент персону. Остальные сразу же должны были выйти и, пройдя сквозь двор, переместиться в ту приемную, из которой ничего нельзя было услышать.

В тот день Соловейчик пришел поздно. С обычными посетителями он говорил громко, а порой и прикрикивал, их он

отпустил достаточно быстро. Нас, ожидавших его, было человек шесть. Первым он вызвал меня.

— Вы выпили? — спросил он. — Садитесь!

Приветливый, как никогда, он даже предложил мне сигарету из своего большого тяжелого портсигара тульского серебра. Я хорошо подготовил начало своей речи, но эта его приветливость как-то меня усыпила, и я растерялся.

— У меня нет для вас никаких новостей. Есть только одна просьба: мне нужны деньги, — сказал я.

— Конечно, здесь же находится князь! — выпуская в воздух облачко дыма, сказал Соловейчик. — Молодой человек, — начал он снова, — вы не сможете долго выдерживать эту конкуренцию. Вас ждет плачевный конец.

Слово "плачевный", дробя на слоги, он растянул на целую вечность.

— Вы человек, — продолжал он, — которого даже я (и тут я впервые заметил в нем что-то вроде тщеславия), даже я, — повторил он, — до конца не раскусил. Вы же не хотели брать деньги. Вы хотели освободить Ривкиных. Несомненно, вы талантливы, но несовершенны. Должен сказать, вы — просто человек и вы негодяй... простите мне это вырвавшееся слово, в нем нет ничего личного, это я так, образно. Вы полны страстей. Решайтесь!

— Я решился, — сказал я.

— Будьте откровенны, вы хотели бы загнать князя в ловушку, чтобы он был вынужден вступиться за Ривкиных? — спросил Соловейчик.

— Да, — сказал я, хотя это, как вы знаете, не было правдой.

— Так, — сказал Соловейчик, — тогда вы все-таки совершенны. Но это вам не удастся. Князь никогда не ввяжется в это дело. А вот что касается денег — вы их сможете получить. Для этого вам нужно доставить эту крошку в Россию.

— Но как? — спросил я. — Люди так недоверчивы.

— Как — это уже ваше дело. Подделаете что-нибудь.

Погасив сигарету в тяжелой, черной, агатовой пепельнице, беспомощно, как ребенок, я сказал:

— Я не умею подделывать.

Ах, друзья мои, перед моими глазами стояла тогда эта благородная девушка. Но не менее ясно я представлял себе и мою возлюбленную Лютецию, и врага всей моей жизни молодого Кропоткина, и хромающего Лакатоса. Все, все они — так мне казалось — завладели моей жизнью. Только что же это за жизнь? И была ли она моей собственной? Внезапно я разозлился на всех четверых, разозлился одинаково сильно, хотя хорошо понимал, какая между ними разница. Я точно знал,

что люблю эту чудесную девушку Ханну Лею, что, ни во что не ставя, страстно желаю Лютецию и желаю ее только потому, что она дает мне возможность одержать ничтожную, жалкую победу над Кропоткиным, знал, что боюсь Лакатоса — этого специально предназначенного для меня посланника дьявола. Меня внезапно охватило какое-то несказанное, упоительное желание стать сильнее их всех, сильнее своих собственных чувств, которые я испытывал к этим людям. Сильнее моей настоящей любви к Ханне Лее, моей ненависти к Кропоткину, моего влечения к Лютеции и моего страха перед Лакатосом. Да, мои дорогие, даже сильнее, чем я сам хотел быть, — вот что, по сути, это значило.

С головой погрязнув в самых чудовищных злодеяниях, я так и не знал, как изготавливаются подделки, и еще раз нерешительно сказал:

— Я не умею подделывать.

Соловейчик посмотрел на меня своими мертвыми, светло-серыми глазами:

— Возможно, вам посоветует ваш старый друг. Выйдете вот здесь.

И он указал не на дверь, а на портьеру, через которую я вошел.

Друзья мои, всем известно, что нашей жизнью правит судьба, эта мысль стара, как мир, и, тем не менее, в большинстве случаев мы от этой истины отворачиваемся. Я тоже был одним из тех, кто не хотел смотреть правде в глаза и, как страшащийся темноты ребенок, слишком часто судорожно закрывал глаза. Может, я был проклят, может — избран, как хотите, но судьба шаг за шагом, самым очевидным, самым банальным образом снова и снова заставляла меня открыть глаза.

Покинув посольство, располагавшееся, как вы знаете, рядом с другими посольствами на одной из самых аристократических улиц Парижа, я стал разыскивать бистро, поскольку принадлежал к не способным мыслить на ходу людей. Мне надо было сесть, чтобы прийти хоть к какой-то ясности. Сесть и выпить. Я увидел бистро под названием “Табак”, оно находилось примерно в сорока шагах справа от посольства и не далее, чем в двадцати, — от другого бистро. Мне не хотелось в “Табак”, а хотелось в другое. В общем, я пошел дальше. Но, стоя уже перед этим другим, по совершенно непонятной мне причине, я круто повернулся и пошел назад, в “Табак”. Я сел за маленький столик в тыльной части заведения. Сквозь стеклянную дверь, отделяющую от меня буфет, я видел, как заходили и выходили покупатели сигарет. Сидя лицом к этой двери, я не заметил, что за моей спиной тоже находится дверь, обычная,

деревянная дверь. Заказав себе бургундского, я собрался поразмыслить.

— Это вы, старина? — услышал я за спиной и повернулся.

Вы не ошиблись, друзья мои, это был Лакатос! Я протянул ему два пальца, но он их пожал так, будто я подал ему всю руку, и тут же сел. Он был в приподнятом настроении, его зубы блестели, черные усы отливали синевой, свою соломенную шляпу он сдвинул набок, на левое ухо. Мне бросилось в глаза, что при нем не было трости, я впервые видел его без нее. Еще я обратил внимание, что у него был портфель из красного сафьяна.

— Хорошие новости! — сказал он и показал на портфель. — Награда увеличилась.

— Что за награда?

— За врагов государства, — сказал он так, словно речь шла о награде самому быстрому бегуну или велосипедисту: такого рода соревнования в то время устраивали достаточно часто.

— Я только что от господина Шаррона, — продолжил Лакатос, — он ждет вас.

— Пусть ждет! — сказал я, ощутив некоторое беспокойство.

Макая в кофе рогалик (я точно помню, что это был рогалик, как его еще называют — круасан), он небрежно сказал:

— Кстати, у вас ведь есть здесь друзья, Ривкины.

— Да, — бесстыдно ответил я.

— Знаю, — сказал Лакатос, — девушку должны отправить в Россию. Тяжело, тяжело выдавать такого славного человека.

Он молча продолжал макать рогалик в кофе, затем, втягивая в себя размокшее тесто, сказал:

— Две тысячи, — и после долгой паузы добавил: — Рублей!

Несколько минут стояла тишина. Вдруг Лакатос встал, открыл стеклянную дверь, посмотрел на висевшие над буфетом часы и произнес:

— Мне надо выйти. Я оставляю здесь портфель и шляпу. Вернусь через десять, самое большее, пятнадцать минут.

И он направился к двери.

Я наклонился к огненно-красному портфелю Лакатоса. Рядом с ним по-рабски преданно лежала шляпа. Замок на портфеле сверкал, как закрытый золотой рот. Такой жадный рот. Меня охватило не только профессиональное, но и какое-то необъяснимое, дьявольское любопытство. Я все время косился через стол, пристально вглядываясь в портфель. Я мог, пока не вернулся Лакатос, его открыть. Десять минут! Он сказал: "Десять минут!" Через стеклянную дверь я слышал настойчивое тиканье стенных часов. Я боялся этого портфеля. По обе-

им сторонам от центрального замка, напоминающего рот, расположились два маленьких замочка, казавшихся мне глазами. Я выпил двойную порцию бургундского, и эти глазки начали мне подмигивать. Между тем часы тикали, время шло, и я вдруг отчетливо понял, сколь ценным может быть время.

В некоторые моменты мне даже казалось, что этот огненно-красный, лежащий на стуле портфель сам собой тянется ко мне. В конце концов, возомнив, что он мне сам себя предлагает, я вцепился в него и открыл. Так как я все время слышал настойчивое, грозное тиканье часов, то понимал, что в любую минуту может войти Лакатос, и поэтому, взяв с собой портфель, пошел в туалет. Явись Лакатос, я скажу, что взял его из предосторожности. Я чувствовал, что не просто беру, а похищаю его.

Лихорадочными пальцами я открыл портфель. Вообще-то мне и так следовало знать, что в нем. Ведь я был с дьяволом накоротке и догадывался о его отношении ко мне, и разве я мог этого не понять? Но, как это часто бывает, друзья мои, и как это было со мной, мы не полагаемся на знания, которые исходят от наших чувств или разума, мы прикрываемся ленью, малодушием и привычкой. Именно так случилось и со мной. Я не доверился своему опыту. А точнее я приложил определенные старания, чтобы ему не довериться.

Кто-то из вас, мои дорогие, может быть, уже догадался, что за бумаги находились в портфеле Лакатоса. Что до меня, то, в силу своей профессии, я частенько имел с ними дело. Это были проштампованные, подписанные формуляры паспортов, которые наши люди обычно вручали бедным эмигрантам, чтобы те могли вернуться в Россию. Вот таким образом властям выдавалось множество людей. Они были уверены, что их документы настоящие, на родину они ехали с радостными чувствами, ничего не подозревая, но на границе их задерживали, а затем, после мучительных недель и даже месяцев, судили и отправляли на каторгу в Сибирь. Эти несчастные доверяли таким, как я. Как они могли сомневаться? Печати, подписи, фотографии — все было настоящим. Даже официальным властям не было известно о наших мерзких методах. Лишь по мельчайшим признакам наши сотрудники на границе могли понять, что это паспорта подозреваемых. От обычного человеческого взгляда эти признаки, конечно, ускользали. К тому же мы их часто меняли. То это был крошечный след на фотографии в паспорте от укола иголки, то в круглой печати не хватало половины какой-нибудь буквы, а то фамилия владельца была напечатана немного измененным шрифтом. Обо всем этом официальные власти знали не больше, чем сами жертвы. В этих

коварных знаках разбирались только наши люди на границе. В портфеле господина Лакатоса лежали безукоризненно сделанные печати, красные, синие, черные и фиолетовые штемпельные подушечки... Я вернулся и сел за свой столик.

Через несколько минут появился Лакатос. Он сел, с некоторой торжественностью вынул из кармана пиджака конверт и без единого слова протянул его мне. Только я собрался открыть конверт, на котором стоял штамп нашего посольства, как он достал из своего красного портфеля формуляр для паспорта и заказал чернила и перо. Он написал письмо, в котором имперское посольство якобы сообщало князю Кропоткину, что особой царской милостью братья Ривкины освобождаются от каторги и что для их сестры Ханны Леи Ривкиной, в случае ее возвращения в Россию, нет никакой угрозы ареста. Я, друзья мои, пришел в ужас. Но даже не подумал встать, вернуть Лакатасу бумагу и уйти. Я только смотрел, как он, не обращая на меня никакого внимания, своим красивым, каллиграфическим, канцелярским почерком спокойно заполняет паспорт на имя Ханны Леи Ривкиной.

Дорогие мои, сейчас, рассказывая это, я весь дрожу от ненависти и презрения к себе! Но тогда я был нем, как рыба, и безучастен, как палач после в сотый раз совершенной им казни. Я думаю, что какой-нибудь добродетельный человек точно так же не может объяснить свой благородный поступок, как подлец, вроде меня, — свою низость. Я ведь понимал, все идет к тому, что самая лучшая девушка, которую я когда-либо знал, будет уничтожена. В своем воображении я уже видел этот тайный, этот сатанинский укол иглы над ее фамилией. Но я не дрогнул, даже не шевельнулся. Я, окаянный, думал о бездушной Лютеции. Я был настолько ничтожен, я боялся только того, что сам должен буду явиться к Ривкиным, дабы принести им эту "радостную" весть. Я боялся этого до такой степени, что, когда Лакатос, тщательно промокнув написанное, встал и сказал, что отнесет паспорт сам, я самым ужасным, самым бесстыдным образом почувствовал себя свободным от какой-либо вины.

— Только напишите два предложения: "Человек, передавший вам паспорт, — наш друг. Доброго пути, до встречи в России. Кропоткин".

Сказав это, Лакатос тут же подсунул мне чернильницу и бумагу, вставил в мою руку перо, и, друзья мои, — позволите ли вы мне еще так вас называть? — я написал. Моя рука написала, никогда она еще не писала так быстро.

Даже не дожидаясь, пока эти слова высохнут, Лакатос взял бумагу. Когда он выходил, она, как знамя, развевалась в его руке. В другой руке покачивался красный портфель.

Все произошло значительно быстрее, чем я об этом рассказываю. Уже через пять минут я вскочил, поспешно расплатился и помчался на поиски экипажа. Экипажа не было. Вместо него я увидел прямо на меня бегущего лакея, который служил при посольстве. Меня звал к себе Соловейчик.

Разумеется, я сразу понял, что это Лакатос сообщил, где меня можно найти. Вместо того чтобы использовать какую-нибудь отговорку и найти экипаж, я последовал за лакеем.

Хотя в приемной для посвященных я был один, он заставил меня долго ждать. Прошло десять минут, которые показались мне вечностью. И тут он меня вызвал.

– Мне надо бежать! Речь идет о жизни дорогих мне людей, мне надо бежать! – сразу выпалил я.

– О ком это вы? – не спеша спросил он.

– О Ривкиных!

– Не знаю, ничего о них не знаю, – сказал Соловейчик. – Сидите! Вам нужны были деньги. Вот, пожалуйста! За особые заслуги!

И он дал мне мое вознаграждение! Друзья мои, кто никогда не получал деньги за предательство, для того "тридцать сребреников" – лишь расхожая фраза. Но для меня – нет! Нет, нет!

Я выбежал оттуда, даже не взяв шляпу, и немедленно схватил экипаж. Я то и дело барабанил по спине извозчика, а он все сильнее щелкал кнутом. Мы подъехали к дому швейцарца. Я соскочил. Этот добрый человек встретил меня со счастливым лицом.

– Наконец-то они свободны, наконец, спасены! – закричал он. – Спасибо вам! Они уже на железной дороге. Ваш секретарь сразу же их отвез. О, вы благороднейший человек!

В его глазах стояли слезы. Он наклонился, чтобы поцеловать мою руку. Где-то заливалась канарейка.

Одернув руку и не попрощавшись, я снова сел в экипаж и поехал в гостиницу.

По дороге я достал из кармана чек и судорожно сжал его в руке. Это были мои греховные деньги, теперь они должны были искупить мой грех. Это была невероятно большая сумма. И хотя я и так уже рассказал о себе много позорного, мне и сегодня стыдно назвать эту цифру. Больше – никакой Лютеции, никакого портного, никакого Кропоткина! В Россию! С такими деньгами можно перехватить их еще на границе. Телеграфировать коллегам. Меня знают. С деньгами можно вернуть их назад. Больше – никаких идиотских амбиций! Все исправить! Исправить! Сложить чемодан и – в Россию! Спастись! Спасти свою душу!

Я оплатил гостиницу, велел упаковать чемоданы и заказал себе выпить. Я пил и пил. Меня одолело какое-то дикое веселье. Я уже был спасен. Я телеграфировал шефу нашей пограничной тайной полиции Канюку, чтобы он придержал Ривкиных. Вместе с прислугой я стал рьяно укладывать вещи.

Около полуночи я был готов. Мой поезд отправлялся только в семь утра. В кармане я нащупал ключ. По форме его бородки я узнал ключ от квартиры Лютеции. Ах, стало быть — указание свыше. Надо еще успеть к ней. Благословенная ночь! Во всем признаться и все рассказать. Попрощаться, дать свободу ей и себе.

Я поехал к Лютеции. На улице я почувствовал, что слишком много выпил. Повсюду я видел поющих, возбужденных людей со знаменами, взволнованных ораторов, плачущих женщин. Как вы знаете, тогда в Париже застрелили Жореса. Все, что я видел, конечно, означало войну. Но я был настолько погружен в свои мысли, что ничего не понимал, такой себе подвыпивший дуралей.

Я был готов сказать, что обманывал ее. Раз уж я решил быть порядочным, ничто не могло меня удержать. Я упивался своей порядочностью, как раньше — злодейством. И лишь намного позже я понял, что подобный дурман не держится долго, это невозможно. Добродетель — вещь трезвая.

Да, я хотел во всем исповедаться, хотел — и это представлялось мне таким трагичным — унизить себя перед любимой женщиной, чтобы потом навсегда с ней проститься. Достойное, смиренное отречение казалось мне в тот момент куда возвышенней напускного аристократизма, и даже выше страсти. Если все это время я был героем, достойным сожаления, то с этого момента я хотел стать страдающим, униженным, безымянным, но настоящим героем.

В этом состоянии, если можно так выразиться, торжественной угрюмости я шел к Лютеции. Это было время, когда она меня ждала. Я открыл дверь и удивился, что в прихожей, вопреки обыкновению, навстречу мне не вышла горничная. Все двери были открыты. Мимо противного попугая и остального зверья надо было пройти в освещенный салон, а потом через туалетную комнату в нежно-голубую спальню, которую Лютеция, как правило, называла будуаром.

Не знаю почему, но я медлил, шел осторожнее, чем обычно. Дверь, ведущая в спальню, была прикрыта. Я нерешительно отворил ее.

Лютеция лежала рядом с мужчиной, ее голова покоилась на его руке. И, как вы могли уже догадаться, это был молодой Кропоткин. Казалось, они оба так крепко спали, что не слышали,

как я вошел. На цыпочках я приблизился к кровати. О, в мои планы совсем не входило устраивать сцену. Представшее передо мной зрелище в тот момент причинило мне сильную боль, но это не было ревностью. Эта боль, учитывая то героическое настроение, в котором я пребывал, была чуть ли не желанной. Она в какой-то мере подтверждала мой героизм и укрепляла принятые мною решения. Собственно говоря, я намеревался потихоньку их разбудить, и, пожелав обоим счастья, обо всем рассказать. Но получилось так, что Лютеция проснулась, истошно закричала и, конечно, разбудила Кропоткина. Он сел прежде, чем я успел что-то сказать. На нем была ярко-синяя шелковая пижама, открывавшая голую грудь. Это была бледная, слабая, безволосая юношеская грудь. Грудь мальчика. И я не знаю, почему, но в тот момент меня это сильно разозлило.

— А, Голубчик, — потирая глаза, сказал он, — вы еще до сих пор не уехали? Разве мой секретарь не рассчитался с вами окончательно? Подайте мне пиджак и, сделайте одолжение, возьмите мой бумажник.

Лютеция молча глядела на меня. Наверняка она уже обо всем знала.

Поскольку я не шевелился и продолжал с грустью смотреть на князя, он, по своей дурости, принял этот взгляд за наглый вызов с моей стороны и внезапно зарычал:

— Вон отсюда! Наемный стукач, негодяй! Вон!

А так как в этот же самый момент я увидел, что совершенно обнаженная Лютеция, приободрившись, выпрямилась, то, вопреки всем намерениям, хотя я не ощутил никакого плотского вожделения при виде обнаженной женщины (по тупому мужскому разумению вообще-то принадлежавшей мне), во мне проснулась страшная ярость.

Голая Лютеция совершенно сбила меня с толку, а в мой мозг, мою кровь, возбуждая ненависть, врезалось только одно слово: “Голубчик!”. И громче князя я завопил ему прямо в лицо:

— Голубчиком зовут не меня, а тебя! Кто знает, с каким голубчиком спала твоя мать! Никто этого не знает. А с моей мамой спал старый Кропоткин. И я — его сын!

Тут этот хлюпик вскочил и схватил меня за горло. Без одежды он казался еще слабее. Его нежные руки не могли обхватить мою шею. Я толкнул его, и он повалился на кровать.

Отныне я не соображал, что творил. Я и сейчас еще слышу пронзительный крик Лютеции. Я вижу, как она, абсолютно голая, соскочила с кровати, чтобы защитить этого типа. Больше я не владел собой. В моем кармане лежала тяжелая связка ключей, к которой был прикреплен железный замок. Этот замок в

целях безопасности я иногда вешал на свой чемодан, когда в нем лежали особо важные документы. Теперь у меня не было никаких важных документов. Я больше не был сыщиком. Я был порядочным человеком. Меня спровоцировали, меня вынудили совершить убийство. Не сознавая, что делаю, я полез в карман. Я ударил по голове Кропоткина и Лютецию. До того часа я еще никогда никого, будучи разъяренным, не бил. Я не знаю, что бывает с другими, когда их охватывает ярость. Со мной, друзья мои, было так, что каждый новый удар приносил мне до тех пор неведомую радость. В то же время мне казалось, что эти удары приносят радость и моим жертвам. Я бил, бил — и мне, друзья мои, не стыдно об этом говорить.

Тут Голубчик встал со стула, и все, кто его слушал, посмотрели вверх, на его лицо. Оно становилось то бледным как полотно, то фиолетовым. Несколько раз он обрушил свои кулаки на стол с такой силой, что, жалобно опрокинувшись, на пол покатились до половины наполненные шнапсом стаканы, и хозяин поспешил от этой участи спасти графин. Он тоже взволнованно наблюдал за Голубчиком, тем не менее, в силу своего положения, сохранял присутствие духа. Сначала Голубчик закрыл глаза, потом открыл. Видно было, как дрожали его веки, а тонкий след слюны образовал вокруг посиневших губ подобие белого рубца. Да, так, должно быть, он выглядел тогда, в момент убийства. Теперь все мы знали — он был убийцей...

Он снова сел. К нему вернулся обычный цвет лица. Вытерев тыльной стороной ладони губы, а затем носовым платком — руку, он продолжил:

— Вначале я увидел на лбу у Лютеции, повыше левого глаза, глубокий порез, из которого на лицо и подушку хлестала кровь. Хотя Кропоткин, моя вторая жертва, лежал рядом, мне все же казалось, что его там нет, — это удивительная способность с открытыми глазами не замечать того, чего не хочешь. Я видел только струящуюся кровь Лютеции. Мое злодейство не напугало меня. Нет! Мне только было страшно от этого непрекращающегося потока, этого изобилия крови, содержащегося в человеческом черепе. Словно скоро, если подождать, я утону в крови, которую сам пролил.

Вдруг я совершенно успокоился. Теперь я был уверен, что они оба будут молчать. Что они замолчали на целую вечность. Было совсем тихо, только незаметно подкравшиеся кошки прыгнули на кровать. Наверное, почуяли кровь. В соседней комнате попугай прохрипел мою фамилию, мою украденную фамилию Кропоткин!

Я подошел к зеркалу. Я был спокоен. Рассматривая себя, я сказал вслух своему отражению: “Ты — убийца!”. И тут же по-

думал о том, что полицейский должен хорошо выполнять свою работу!

Затем в сопровождении бесшумных кошек я пошел в туалет, вымыл руки, связку ключей и замок.

Сев за неудобный изящный письменный стол Лютеции, я искаженным почерком латинскими буквами написал несколько бессмысленных фраз: “Мы и без того хотели умереть. Теперь мы мертвы от третьих рук. Наш убийца — друг моего возлюбленного князя!”

Точное копирование почерка Лютеции доставило мне тогда особое удовольствие. Впрочем, с ее чернилами и пером, это было несложно. У нее был почерк, как у всех мелких и вдруг вознесшихся мещанок. И все же я потратил необычайно много времени на убедительную подделку этого почерка. Вокруг меня увивались кошки, и время от времени попугай выкрикивал “Кропоткин”!

Закончив писать, я вышел из комнаты, запер на два оборота спальню и входную дверь. Спокойно и бездумно спустился по лестнице, как всегда, вежливо поздоровался с привратницей, несмотря на поздний час сидевшей с вязанием в конторке. Она даже встала. Ведь я был князем, и она часто получала от меня княжеские чаевые.

В ожидании экипажа я еще постоял перед воротами дома. Увидев свободную коляску, я подозвал ее жестом, сел и поехал к дому, где жили Ривкины. Разбудив швейцарца, я сказал, что должен у него спрятаться.

— Заходите, — сказал он, повел меня в комнату, которую раньше я никогда не видел, и добавил: — Оставайтесь, здесь безопасно.

Он принес мне хлеба и молока.

— Я должен вам кое-что рассказать. Я совершил убийство не по политическим мотивам, а по личным, — сказал я.

— Это меня не касается, — ответил он.

— Я должен сообщить вам намного больше.

— Что же?

Было темно. Набравшись мужества, я сказал, чем занимаюсь уже много лет, и повторил, что сегодняшнее убийство носит личный характер.

— В этом доме вы останетесь до рассвета, и ни секундой больше! — сказал швейцарец.

А потом, словно в нем пробудился ангел, добавил:

— Спокойной ночи. Да простит вас Господь!

Нет нужды говорить вам, друзья мои, что я не спал. До рассвета было еще далеко. Я лежал без сна, не раздеваясь.

Я должен был покинуть этот дом, и я его покинул. Я бесцельно блуждал по просыпавшимся улицам. Когда на всех башнях пробило восемь, я направился в посольство. Я все верно рассчитал. Без всякого предупреждения я вошел в кабинет Соловейчика и все ему рассказал. И вот что я от него услышал:

— В вашей жизни много бед, но кое в чем вам все же повезло. Вы не знаете, что сейчас происходит. Во всем мире идет война. Она разразилась в эти дни, может быть, даже в те часы, когда вы совершали преступление или, скажем лучше, — ваше убийство. Вы должны быть призваны! Подождите полчасика, и это произойдет!

Что ж, друзья мои, я был призван на фронт, и с радостью туда отправился. Напрасно на границе я пытался что-либо узнать о Ривкиных. Канюка там уже не было. О моей телеграмме никто ничего не знал. Всем вам, кто побывал на войне, не надо рассказывать, какой она была, эта Мировая война. Смерть всегда ходила рядом. И мы все с ней сроднились, как с родным братом. Многие ее боялись, я же искал ее. Искал изо всех сил. В окопах, в дозоре, перед колючей проволокой, в перекрестном огне, в газовой атаке — везде, где только можно, я искал смерти. Я получал награды, но так и не был ранен. Смерть избегала и презирала меня. Вокруг гибли мои товарищи. Но я не оплакивал их. Я сожалел лишь о том, что погиб не я. Убивая других, сам я оставался жив. Я приносил жертвы на алтарь смерти, а она наказывала меня тем, что меня, меня одного, не желала знать.

Я жаждал ее, потому что верил, смерть — это мучение, которым можно искупить свою вину. Лишь позже я начал понимать, что она — не мучение, она — спасение. А я его не заслужил.

Нет смысла, друзья мои, сообщать вам обо всех несчастьях, которые затем обрушились на Россию, вы и так все это знаете. И это не относится к моей истории. Меня же касается только то, что, уцелев против собственной воли на войне, я сбежал от революции. Сначала я попал в Австрию, потом в Швейцарию. Оставим, пожалуй, подробности всех этапов моего пути.

Меня тянуло во Францию, в Париж. После того как смерть пренебрегла мною, меня, как и любого убийцу, тянуло на место моего отвратительного преступления. И вот я прибыл в Париж. Хотя стояла поздняя осень, день был очень приветливый. Ведь в Париже зима выглядит так, как у нас, в России, — осень. Город праздновал победу, радовался миру. Но что мне было до победы, до мира? Я побрел на Елисейские Поля, к дому, в котором когда-то совершил убийство.

Перед дверью стояла та самая привратница. Она меня не узнала. Как она меня, поседевшего, могла узнать? Я был таким, как сейчас. С колотящимся сердцем я спросил ее о Лютеции.

— Третий этаж, слева, — сказала она.

Я поднялся, позвонил. Дверь открыла сама Лютеция. Я сразу ее узнал. Она меня — нет. Она не собиралась меня впускать.

— Ах, — сказала она через мгновение, отступила назад, закрыла дверь и снова открыла.

— Ах, — раскрыв объятья, повторила она.

Друзья мои, я не знаю, почему я упал в эти руки. Мы долго-долго стояли, обнявшись. У меня было отчетливое ощущение, что все это жутко банально, смешно и даже гротескно: обнимать женщину, которую, как я думал, я убил собственными руками.

Теперь, друзья мои, я пережил самую большую, самую глубокую из всех возможных трагедий — трагедию пошлости!

Поначалу я остался у Лютеции. Кстати, ее давно уже так не звали, и о нашем портном к тому времени она и думать забыла. Я остался у нее из любви, раскаянья, слабости... Кто знает, из-за чего, друзья мои?

Я никого не убил. Возможно, Ривкиных. Не далее как позавчера в Люксембургском саду я повстречал молодого князя Кропоткина. Его сопровождал все тот же секретарь с серебристо-черными бакенбардами. Он был жив, только выглядел более жалким и бедным, чем когда-то. Князь шел, прихрамывая, опираясь на две трости — наверное, то было следствие нанесенного мною удара.

— Ах, Голубчик! — увидев меня, крикнул он. И это прозвучало почти что приветливо.

— Да, это я. Простите меня!

— Ни слова, ни слова о прошлом! — выпрямившись с помощью своих тросточек, сказал он. — Важно только настоящее и будущее!

Я сразу понял, что он не в своем уме, и сказал:

— Да-да.

В его глазах неожиданно зажглись едва заметные искорки, и он спросил:

— Лютеция? Она жива?

— Жива, — сказал я и поспешил проститься.

— В сущности, на этом моя история заканчивается, — сказал Голубчик, — хотя я мог бы рассказать вам и о другом...

На улице светлело. Это ощущалось через опущенные дверные жалюзи, сквозь редкие щели которых робко и в то же время победоносно пробивалось золотистое летнее утро. Уже был слышен шум просыпающихся парижских улиц и особенно — ликующий гомон птиц.

Мы все молчали. Наши стаканы давно уже были пустыми. Неожиданно раздался резкий стук.

— Это она! — вырвалось у Голубчика. И в следующую секунду он исчез, спрятавшись под столом.

Хозяин заведения неторопливо подошел к двери, открыл ее и, вставив в замок большой ключ, начал медленно и шумно подымать вверх железные жалюзи. Это длилось бесконечно долго, и, наконец, нашу бессонную ночь сменил стремительно ворвавшийся день. Еще стремительнее в ресторан вошла худая, уже немолодая женщина, напоминающая большую, сухопарую птицу. Над ее левым глазом виднелся глубокий, уродливый шрам, который она тщетно пыталась прикрыть слишком тонкой и короткой черной вуалькой, свисающей со смешной шляпки. Ее пронзительный голос, которым она спросила: "Где мой Голубчик? Он здесь?" — напугал нас настолько, что даже если бы мы захотели сказать ей правду, то не смогли бы. Бросив еще пару неприятных нечеловечески быстрых, птичьих взглядов, она удалилась.

Только спустя некоторое время из своего укрытия вылез Голубчик.

— Она ушла! — сказал он с облегчением. — Это была Лютеция. — И тут же добавил: — До свидания, друзья мои! До вечера!

С ним вместе ушли водители. На улице уже ждал первый пассажир, нетерпеливо нажимавший на клаксон.

Мы с хозяином остались одни.

— Каких только историй не наслушаешься у вас, — сказал я.

— Они самые обыкновенные, самые обыкновенные, — ответил хозяин. — Чем жизнь может еще удивить? Она делится с нами самыми обычными историями. Вам ничего не помешает снова прийти, а?

— Ну, конечно, нет! — сказал я.

Произнося это, я был убежден, что и хозяина, и убийцу Голубчика, и всех остальных завсегдатаев этого ресторана увижу еще не раз. Я направился к выходу.

Хозяин счел необходимым проводить меня до самого порога. Было видно, что он сомневался в том, что я и правда собираюсь впредь посещать это место.

— Вы точно придете? — еще раз спросил он.

— Само собой разумеется! Вы ведь знаете, я живу напротив, в гостинице "Fleurs Vertes".

— Знаю, знаю, — сказал он, — но мне вдруг показалось, что вы уже где-то очень далеко.

Эти неожиданные слова не испугали меня, но сильно смутили. Я почувствовал в них какую-то важную, пока еще скрытую от меня правду. То, что хозяин "Тары-бары" после ночно-

го застолья проводил до двери своего постоянного гостя, — было не чем иным, как общепринятой вежливостью. И все-таки в этом было что-то странное, торжественное. Я бы сказал, неоправданно церемонное. Из гаражей уже вернулись первые экипажи. Они бодро подкатывали к ресторану, хотя уставшие после ночной работы извозчики, сидя на козлах, еще спали. И поводья в их сонных руках тоже казались спящими. К большим войлочным туфлям хозяина близко скакнул доверчивый дрозд. Он так спокойно стоял рядом с нами, будто о чем-то задумался или же его заинтересовал наш разговор. Пробуждались всевозможные утренние звуки: со скрипом отворялись ворота, тихо позвякивали окна, скребя мостовую, шаркала метла, где-то хныкал внезапно вырванный из сна ребенок. Про себя я подумал, что это утро такое же, как все. Обычное парижское летнее утро! И вслух сказал:

— Но я ведь никуда не уезжаю. У меня и мысли такой нет!

При этих словах вместо громкого и уверенного из меня вырвался слабый, робкий смех — не смех, а какой-то выродок.

— Ну, значит, до свидания! — сказал хозяин. И я пожал его мягкую, пухлую, желтоватую руку.

Я шел, не оборачиваясь, но чувствовал, что он уже вернулся в ресторан. Я намеревался перейти дорогу, чтобы попасть в свою гостиницу, однако не сделал этого. Мне показалось, что это утро манит меня совершить небольшую прогулку и что есть что-то неуместное и даже неприятное в том, чтобы в такое время, когда не можешь сказать, слишком рано сейчас или слишком поздно, возвращаться в убогий гостиничный номер. Я решил пару раз обойти этот жилой квартал.

Не знаю, как долго я бродил, и не помню ничего, кроме доносившегося с разных башен звона бесчисленных колоколов, когда я, наконец, подошел к гостинице. Солнце уже основательно, по-свойски заполнило весь вестибюль. Хозяин гостиницы в своей розовой рубашке успел уже так вспотеть, как в другие дни это с ним бывало только после полудня. Во всяком случае, у него был очень озабоченный вид, хотя в данный момент он ничего не делал. И я сразу понял почему.

— Наконец-то гость! — сказал хозяин, показывая на стоящие возле его письменного стола три чемодана. — Вы только взгляните на эти чемоданы, и тогда вы сразу поймете, какой это гость!

Я посмотрел и увидел три грандиозных желтых чемодана из свиной кожи с медными замками, блестевшими, как таинственные закрытые золотые рты. На каждом стояли кроваво-красные инициалы Й. Л.

— Он занял двенадцатый номер. Рядом с вами. Знатных гостей я всегда селю рядом.

Сказав это, он дал мне ключ. Подержав ключ какое-то мгновение, я вернул его.

— Мне бы хотелось внизу выпить кофе. Слишком устал, чтобы идти наверх, — сказал я.

Я пил кофе в маленьком кабинете. На столе стояли чернильница с давно высохшими чернилами и керамическая ваза с искусственными фиалками, напоминающими о дне поминовения усопших.

Открылась стеклянная дверь, и, пританцовывая, вошел элегантный господин. От него исходил поразительно сильный запах фиалок, так что на мгновение я подумал, что ожили эти искусственные фиалки в керамической вазе. При каждом шаге — я это видел отчетливо — левая нога этого господина очерчивала полный круг, но не без изящества. Он был одет во все светло-серое, словно его уже окутало лето. Казалось, что его разделенные на прямой пробор блестящие иссиня-черные волосы были приглажены не расческой, а языком.

Он приветливо и в то же время сдержанно мне кивнул.

— Мне тоже кофе, — крикнул он хозяину через оставленные им открытыми двери.

Это "тоже" — возмутило меня. Получив свой кофе, он долго, слишком долго размешивал его ложечкой. Я хотел было подняться, но тут он голосом, звучавшим бархатисто, как флейта, как флейта из бархата, сказал:

— Вы здесь тоже чужой, не так ли?

Эти слова в моих ушах прозвучали как эхо той фразы, которую я сегодня (или это было вчера?) уже слышал. Да-да! От Голубчика! Может, не дословно. В тот же миг меня озарило: Йено Лакатос, и я вспомнил о кроваво-красных инициалах, которые увидел на желтых замках: Й. Л.

— Как долго вы здесь пробудете? — вместо ответа спросил я.

— О, у меня много времени! Оно все в моем распоряжении! — сказал он.

С незаполненным бланком к нам подошел хозяин. Он попросил нового гостя вписать свое имя.

— Записывайте, — сказал я, хотя меня никто не спрашивал, и я до сих пор не знаю, как решился на эту дерзость, — в графе фамилия — Лакатос, в графе имя — Йено.

Я встал, поклонился и вышел. В этот же день я покинул рю Де-Катр-Ван и никогда больше не видел ни Голубчика, ни тех, кто слышал его историю.

Ян Твардовский

Стихи

Переводы с польского
Вступление Игоря Баранова

© Alexsandra Iwanowska 2007
Fot. © Aleksandra Iwanowska
© Игорь Баранов. Перевод, вступление, 2015
© Евгений Рашковский. Перевод, 2015
© Андрей Базилевский. Перевод, 2015

В этом году исполняется “самый круглый” юбилей со дня рождения “поэта улыбающегося Христа”, как часто называют в Польше Яна Твардовского. Хотя он сам считал себя просто “священником, пишущим стихи”, его творчество принесло ему поистине общенародную любовь, которая проявилась в том числе в присвоении его имени многим польским школам, гимназиям и библиотекам. Его стихи нашли живой отклик и в сердцах юных читателей, а среди многочисленных наград, полученных Твардовским, он особенно ценил орден Улыбки, присуждаемый детьми. Знаменательно, что даже дата рождения Яна Твардовского совпала со Всемирным днем ребенка (1 июня).

Ян Твардовский по дороге из дома в церковь Сестер-визитанток. Варшава, 1997

Он умел говорить о высоком просто, о глубоком — легко, о самом важном — с улыбкой. Многие его строки стали крылатыми фразами: “Спешите любить людей — они так быстро уходят”, “всё есть тогда, когда ничего для себя”, “можно уйти навеки, чтобы всегда быть близко”, “тот, кого любят, будет спасен”, “забудь, что ты есть, раз говоришь, что любишь”.

В “Автобиографии” Твардовского, изданной уже после его смерти, поэт отмечает: “Нередко люди удивляются, что я, священник, столько пишу о любви. Но я постоянно о ней слышу, знаю, как она важна для каждого человека. Вся моя вера основывается на той Любви, которая замечает, что в каждом человеке кроется тоска по любви. Каждый хочет быть счастливым, а счастье можно найти, лишь когда ты любишь и любят тебя. <...> Для меня любовь — доказательство существования Бога”.

В той же “Автобиографии” приводится такой случай:

“Однажды меня спросили:

— Как вы себя чувствуете в качестве юбиляра?

Я ответил:

— Как покойник в отпуске.

Тогда меня спросили:

— Но, может, вы что-то и веселое скажете?

— Ну, я уже, собственно, и сказал".

А вот как Твардовский описывает атмосферу, в которой рождалась его поэзия: "Пал коммунизм. Совершенно неожиданно, вопреки всем научным предсказаниям политологов. Однако мир остался больным, опустошенным из-за тоски по Богу, по вечности, по Евангелию, которое всегда было и остается надеждой для людей. Однажды провозглашенное, оно пребывает всегда. Его можно обойти вниманием, заглушить, но нельзя заместить. Так же как нельзя заместить Бога наукой, у которой есть свои границы, или искусством, которое без метафизического содержания пусто".

Хотя стихи Ян Твардовский начал писать еще в ранней юности, подлинную известность его поэзия приобрела лишь после публикации в 1970 году сборника "Знаки доверия", а в 1990-х она завоевала широкую популярность во всей Польше к искреннему удивлению самого автора, даже не помышлявшего об успехе, а тем более к нему не стремившегося. Стихи Твардовского переведены на многие языки, в том числе на русский.

Храм Св. Иосифа Обручника в Варшаве, где о. Ян Твардовский служил в 1959–2006 годах. Справа — афиша спектакля на стихи Твардовского: "Спешите любить людей". Варшава, 2002

Перепелка

Перепелка что откликаешься громче
всегда на восходе или заходе солнца
действительно ли только две есть чистых минуты
эта ранняя светлая и та что на закате
когда Бог дает новый день и когда его забирает
когда кто-то меня искал и я ему вдруг не нужен
когда кто-то меня любил и я вдруг один остаюсь
когда я рождаюсь и когда умираю
две лишь секунды что всегда наступают
одна из них белая другая же темная
настолько искренние что обе нагие
настолько вне нас что и нас уже нет

1976
Перевод Игоря Баранова

Без изменений

Молодые бегущие стайкой
идущие парами взрослые
старики в конце жизни каждый отдельно только
сердце без изменений
всё трудится втайне как пчелка
в любви оно ищет любви
перед смертью великой и чистой

1976, 1979[1]

Тяжело

Вот видишь — говорила мне мать —
отрекся ты от родного дома
от женщины
от ребенка что постоянно бегает потому что летать
хотел бы
и от волненья — когда любовь подкатывает к горлу
теперь же тебя мучит
вот эта кружка с голубой каемкой
после меня пустое место за столом
ботинки о которых говорил ты
что как и все другие — для продажи
а не для ношенья

1. Две даты под стихами означают год первого издания и год публикации последней редакции текста. (*Прим. перев.*)

часы что ходят после смерти
и ты стучишь в незримое окно
глядишь как цапля в одну точку
и видишь как легко отречься
и тяжело лишиться

1980, 1986

Не *только мы*

Мы читаем — Бог так возлюбил мир...
а значит не только людей
но и трясогузку
и обкуренную пчелу
и франта-ежа одетого прямо с иголочки
даже мула который ни то ни се
ведь не конь он и не осел
(жаль что его сотворил человек
живёт он как холостяк без детей)
и грушу цветущую сразу же вслед за яблоней
листочки ландыша почти без стеблей
теленка что за мамою плетется
а мы так приникаем к Богу
словно Он должен в мире любить только нас

1989, 1990

Он

Тень какая-то
зависла под окном
а надо мной
бесприютные тучи
сделаю вид
что нет меня дома
а он все стучится
а я не отворяю...
и мысленно отвечаю:
— Поздно уже. И темно.
Спрашиваю наконец:
— Да кто ты такой?
— Твой Бог
с любовью Моей неразделенной

1991

Перевод Евгения Рашковского

Старые люди

Они порошков не любят
морщатся от аспирина
ждут любви доброты
возвращенья отца и матери
как в детстве
всему удивляются
рады рождественской елке
тоскуют зимой о весне
Старики — это дети которым вдруг пришлось
повзрослеть

1996

Перевод Андрея Базилевского

Только

Минуют романы
достопочтенные браки
как слоны утомленные своим весом
останутся только крохотки счастья
несбывшаяся любовь

1998

Пчела

Нет времени на свою смерть
так уж она решила
лишь иногда засыпает никогда не умирает
работа не тяготит
не мучит не затрудняет
маленькая бессмертная
среди смертных людей

2002

Хризантема

Никто бы и не подумал
никто.бы не предположил
что тысячелистник растертый
пахнет как хризантема

2002

Молния

Грозы никакой не бойся
ведь говорит нам разум
молния бьет в святого
в грешника реже гораздо

2003

Себялюбец

Эгоист и себялюбец
необходительный еж
лишь о себе подумал
когда расплакался пес

2004

Перевод Игоря Баранова

Знамена некоторых школ им. о. Яна Твардовского

Документальная проза

Чарльз Мур
Любовь и война в Оксфорде

Глава из книги *Маргарет Тетчер*

Перевод с английского Екатерины Живовой

“Это мрамор, Маргарет?”

МАРГАРЕТ опасалась Оксфорда. Она никогда не уезжала из дома больше чем на несколько дней, а в военное время любая разлука воспринималась особенно остро. К тому же ей предстояло найти себе место в новом окружении, отличном от того, к которому она привыкла в родном Грантэме. До нее ни одна женщина в семье не училась в университете, а на Оксфорд не посягали даже мужчины. Из Грантэма в Оксфорд ехали подруги ее детства Мэри Уоллес и Маргарет Гудрич, но обе поступили в другие колледжи, к тому же происходили они из более состоятельных семей, где высшее образование не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Маргарет спрашивала у них совета.

Мэри Уоллес – по ее воспоминаниям поступление Маргарет в Оксфорд произвело в Грантэме “довольно большой фурор” – разговаривала с ней в доме своих родителей на Хай-стрит в сентябре 1943 года. “Она очень хотела вести себя правильно” и, как во многие переломные моменты жизни, особенно беспокоилась, “что там принято носить”. По мнению Гудрич, “Оксфорд позволил Маргарет подняться сразу на несколько ступенек по социальной лестнице...” Однако, впервые навестив Маргарет в комнате студенческого общежития колледжа “Соммервилл”, они с отцом нашли ее одинокой и подавленной. Она угостила их кексом, поджаренным на очень маленьком огне: по рациону ей полагался только один совок угля в неделю. Маргарет сама признавала, что страдала от “робости и постоянной тревоги”. Иногда она прогуливалась вдоль реки по лугу, принадлежащему колледжу Церкви Христовой... убеж-

Reprinted by permission of Aitken Alexander Associates Ltd. © Charles Moore, 2013
© Екатерина Живова. Перевод, 2015

дая себя, что поступает в соответствии с рекомендациями Клайва Льюиса из книги "Христианское поведение" предаваться время от времени размышлениям в одиночестве. Но легко догадаться, что ее одиночество не было добровольным.

Маргарет не хватало денег. Она не получала стипендии и зависела от отца, а также от скромных университетских дотаций. В те времена университет брал на себя почти всех расходы по обучению тех студентов, которые собирались после выпуска заняться преподаванием, но Маргарет полагала, что к этой профессии у нее призвания нет. Несмотря на то что родители присылали ей небольшие суммы, а также домашнюю выпечку к чаю, который она пила с подругами в своей комнате, Маргарет жила в режиме строгой экономии. Она впоследствии вспоминала, что скопила на необходимый для полноценной жизни в Оксфорде велосипед только благодаря урокам, которые давала в школе Грантэма на каникулах после первого курса.

Не стоит думать, что другие студенты были необыкновенно богаты или Маргарет — необыкновенно бедна, тем более что тяготы войны сгладили социальное неравенство, столь бросавшееся в глаза в 1930-е годы. Но нехватка денег усиливала эмоциональный дискомфорт, который Маргарет приходилось преодолевать ежедневно, а также заметно влияла на впечатление, которое она производила на сокурсников. В их воспоминаниях часто встречается эпитет "замкнутая" — применительно как к одежде и волосам, так и к индивидуальности Маргарет. Рейчел Уиллинк, дочь министра и одна из двух женщин, возглавлявших Ассоциацию молодых консерваторов Оксфорда (МКО) до Маргарет, говорила о ней как о "тихой и невыразительной, замкнутой девушке", которой "не хватало стиля", чтобы "компенсировать" свое скромное происхождение. Она утверждала, что люди, знавшие Маргарет в Оксфорде, находили "противоестественным" грандиозный успех "скучной мышки". По словам Мэри Уоллес, тоже занимавшей высокое положение в Ассоциации, руководство организации "терпело" Маргарет как "человека, на которого можно свалить черновую работу". Она считалась рядовым исполнителем без звездных задатков.

Письма, которые писала Маргарет на первом курсе, не сохранились. Главной же темой писем, что она писала в последующие годы сестре Мюриел, были туалеты. Маргарет упорно отдавала предпочтение коричневому цвету: "материя цвета ржавчины... впишется в мой гардероб", говорилось в письме, отправленном в сентябре 1944 года, когда перед началом второго курса ей пришлось пораньше вернуться в Оксфорд для участия в гражданской обороне. Путь из Грантэма в университет лежал через Лондон. Маргарет впервые в жиз-

ни прошлась по магазинам Бонд-стрит, "ничего не сказав об этом маме", и купила в универмаге Маршалла и Снелгроува коричневые туфельки модели "Debutante Lanette" в тон сумочке. "Еще мне хотелось купить простое негритянское (это было стандартное название одного из оттенков коричневого цвета, а не придуманный Маргарет расистский эпитет) платье, чтобы смотреться олененком".

Такое платье было найдено, но возникла проблема: "Выглядело оно потрясающе, очень мне приглянулось. Я уже собралась сказать, что беру его, и вдруг вспомнила, что не узнала цену... это же был этаж недорогой одежды. К моему крайнему изумлению, на мой вопрос продавец ответил: '20 фунтов'..." К счастью, в отделе шерстяных тканей Маргарет наткнулась на наряд, восторженное описание которого заставило ее забыть о пунктуации: "простое но хорошенькое платьице с отложным воротничком 'питер пэн' с двумя кармашками на лифе и еще двумя симметричными на юбке" за 3 фунта 16 пенсов. Маргарет считала и такую цену слишком высокой, но пожилая продавщица сумела ее уговорить: "Заметив мое удивление, она сказала, что это превосходное соотношение цены и качества (аргумент, который всегда неотразимо действовал на Маргарет) и что о ценности вещи не всегда можно судить по стоимости, чему я готова была поверить, примерив 'недорогие платья'". Довольная выгодной покупкой, Маргарет возбужденно продолжала свой рассказ: "Короче говоря, я купила платье и убеждена, что это одна из самых стоящих покупок в моей жизни. Постараюсь привезти его домой в следующий раз, чтобы показать тебе тайком от мамы. Теперь я обеспечена нарядами на любой случай".

Беспокоил Маргарет и лишний вес. Когда ваш покорный слуга спросил ее, как она оценивала свою внешность в юности, последовал ответ: "Я никогда не считала себя красивой. Мне казалось, я несколько толстовата". В то время пухленькие женщины еще не вышли из моды, но в другой части процитированного выше письма Маргарет, пусть и с юмором, выражает озабоченность этим вопросом: "...Я все еще вешу чуть больше 65 кг... Можешь посоветовать что-нибудь... медицинское для той части тела, на которой я сижу, и для укрепления мышц живота... И еще – для уменьшения и подтяжки бюста?" В какой-то момент ее вес достиг 68 кг, что действительно немало для двадцатилетней девушки ростом 165 см.

Если сливки оксфордского общества не обращали особого внимания на "стеснительную толстушку", то в своем колледже она стала фигурой заметной. Бетти Спайс, одна из двух девушек, изучавших вместе с Маргарет химию, вспоминала, что сто-

лы в холле “Соммервилла” стояли в три ряда, отчего студентки делились на группы. Один из крайних рядов занимали “экзоты”: иностранки, еврейки, Нина Мебей (будущая писательница Нина Боуден) и девушки, изучавшие философию, политику и экономику. С другого края располагались студентки из хороших семей, для которых Оксфорд был продолжением, а не началом высшего образования. Ряд посередине принадлежал выпускницам средних школ — происхождение многих из них было таким же скромным, как и у Маргарет. По логике, ее место было среди них, и они приняли ее в свою компанию — правда, без особого энтузиазма; не проявила энтузиазма и Маргарет.

Одним из самых сильных раздражителей для новых приятельниц Маргарет стал ее голос. “Она говорила очень ненатурально”, вспоминала Бетти Спайс, которая находила внешность Маргарет “приятной, хотя и несколько кукольной”, при этом отмечала, что “с ней трудно было сблизиться. Она не хотела дружить с девушками своего круга, ее интересовали только влиятельные люди, которые могли ей помочь”. Ее манеру говорить отмечала и другая сокурсница Джин Саутерст: “Уроки красноречия, которые она брала в школьные годы, сделали ее речь излишне театральной, а чрезмерная озабоченность тем, как она выглядит, служила поводом для шуток. Она посещала самого дорогого в Оксфорде парикмахера и на каникулах целыми днями прочесывала магазины Вест-Энда в поисках приличных платьев”. В это же время Маргарет начала постигать основы ораторского искусства, чтобы исправить незначительный дефект дикции и научиться выступать на публике. По словам Джоан Паркер, которая поступила в школу Грантэма позже Маргарет, уроки красноречия, где девочек избавляли от линкольнширского акцента с его протяжными гласными, входили в обязательную программу. Эми Вуттен, изучавшая в Оксфорде математику и сидевшая за одним столом с Маргарет, не заметила, чтобы она была высокомерна, но подтвердила, что отличается сдержанностью и никогда “ни у кого не одалживается”. Мэри Моллинсон, соседка Маргарет по съемной квартире на Уолтон-стрит вспоминает, что Маргарет была аккуратна, следила за собой и нелегко сходилась с людьми. Соседка по предыдущей квартире на Ричмонд-роуд (1945–1946) Полин Коэн считала, что Маргарет слишком неуверенна в себе, чтобы рассчитывать на карьеру: “Ни разу за все время она не показалась мне совершенно счастливой”.

Однако дела у Маргарет шли не так уж плохо. Она завоевала уважение. Даже Бетти Спайс признавала ее “честным человеком” и вспоминала, что Маргарет нравились шутки о потенциальных воздыхателях; этими шутками студентки обменивались

за ужином ("Она краснела шеей"). Памеле Родс она казалась "слишком взрослой для своих лет", а Джин Саутерст, которую с Маргарет связывала еще и принадлежность к методистской церкви, рассказывала, что "в ее комнате мы провели много приятных вечеров, сплетничали, читали стихи (за что я до сих пор ей благодарна), пили прекрасный кофе, лакомились выпечкой и другими вкусностями. Дочь лавочника была отличной хозяйкой!"

Маргарет всегда держала слово, производила впечатление "девушки с четким представлением о том, чего она хочет добиться" и отнюдь не гнушалась принимать участие в общих развлечениях. После экзаменов в конце третьего курса она написала Мюриел, как ходила с друзьями на фильм "Тихая свадьба": "Я в восторге. Я уже давно так не смеялась, мне бы хотелось, чтобы и ты посмотрела. А вечером во вторник мы пошли на 'Путь в Марсель' с Хамфри Богартом. Неплохая картина, но ничего выдающегося. Нам понравилось, потому что у нас было праздничное настроение. Я говорила тебе, что семь студентов провалили экзамен?"

Описанные выше черты характера Маргарет не слишком ценились у студентов, ведь предусмотрительность была им не по душе. Мэри Моллинсон вспомнила случай, произошедший в воскресенье перед выпускным экзаменом Маргарет в квартире на Уолтон-стрит, где с ними жила еще одна студентка Мэри Фосс:

> Маргарет занималась, не поднимая головы... У нас выпускные экзамены были еще далеко и год был не такой сложный, но Мэри все равно паниковала: слишком много развлекалась и только накануне экзаменов осознала, как мало она знает. Мы с Маргарет сидели наверху, когда услышали в комнате Мэри глухой удар. Сбежав по лестнице, мы увидели, что Мэри лежит на полу в обмороке. Привели ее в чувство, поднялись к себе и попытались вернуться к занятиям. Когда же стук повторился в четвертый раз, Маргарет посмотрела на меня и сказала, что мы не можем весь день бегать вверх-вниз по лестнице. На ее взгляд, у Мэри была истерика. Поскольку Мэри ни разу не ушиблась, Маргарет предложила в следующий раз просто не обращать на нее внимания, и это с ее стороны была не черствость, а исключительно здравый смысл. Накануне экзамена Маргарет не могла позволить себе терять время...

Из четырех женских колледжей Оксфорда "Соммервилл" отличался наиболее строгими нравами. В качестве иллюстрации можно привести анекдот того времени. Как реагируют студентки каждого из колледжей на сообщение подруги, что она

познакомилась с молодым человеком? Студентка из "Леди Маргарет-Холл" спросила бы, кто его родители. Студентка из "Святой Хильды" — какими видами спорта он занимается. Из "Соммервилла" — что он читает. Из "Сэнт-Хью" — где он?

По большей части студентки колледжа, где училась Маргарет, рассчитывали на работу в образовательной или социальной сферах. О бизнесе, славе светской львицы или политической карьере никто из них не думал. Эти девушки относились к жизни серьезно, они понимали, что в долгу перед обществом за право обучаться в великом университете. Маргарет тоже свято верила в необходимость приносить пользу людям. Но то, как она свой моральный долг понимала, многим выпускницам "Соммервилла" не нравилось, что, возможно, объяснялось завистью к ее успехам. Они не могли смириться с тем, что из всех студенток, учившихся в это время в колледже, именно она добилась всемирной известности. Они обвиняли ее в снобизме и самодовольстве. Бетти Спайс говорила: "Мы не гордимся Маргарет. Нам кажется не совсем справедливым, что она стала премьер-министром и что вышла замуж за состоятельного Дениса Тэтчера, а потом очень быстро родила двух детей". На пятидесятую годовщину поступления ее сверстников в Оксфорд — в 1993 году — администрация "Соммервилла" устроила торжественный обед в новой аудитории имени Маргарет Тэтчер. Увидев там бюст бывшей главы правительства, кто-то из сокурсников под общий смех накрыл его курткой. Без особой теплоты относились к Маргарет и преподаватели, особенно — последователи Джанет Вон, декана "Соммервилла" с 1945 года, прогрессистки, которая считала консервативные взгляды чем-то вроде умственного расстройства. "Маргарет выделялась, — рассказывала она биографам. — В 'Соммервилле' всегда царил радикальный дух... А Маргарет была консерватором до мозга костей. По выходным мы устраивали приемы, но ее не приглашали никогда. Нам с ней было не о чем разговаривать, понимаете?" Полин Коэн вспоминала, как ее пригласили на ужин за преподавательским столом вскоре после избрания Маргарет премьер-министром в 1979 году. "Мы все будем в черном", — сказали ей преподаватели. Можно возразить, что карьера Маргарет являлась образцом радикального духа, который проповедовала Вон, ведь ее юношеский консерватизм отнюдь не был соглашательским. К сожалению, сокурсники в "Соммервилле" плохо Маргарет знали, а то, что им было о ней известно, не слишком их привлекало.

Со своей стороны, миссис Тэтчер всегда тепло отзывалась о "Соммервилле", даже о Джанет Вон, "выдающейся личности", за научными изысканиями которой она впоследствии с

интересом следила. Если она и замечала враждебность, то на нее не реагировала и, уж тем более, не вступала в пререкания. Она восхищалась уровнем преподавания – "колледж это всегда колледж, слава Богу" – и никогда не выражала неприязни к "Соммервиллу" или Оксфорду, отказавшему Маргарет в почетной степени в бытность ее премьер-министром. Отчасти из-за симпатии к Дафне Парк[1], декану колледжа с 1980-го по 1989 год, Маргарет, находясь у власти, следила за его судьбой. Однако дружеских отношений ни с кем из сокурсников она не сохранила.

В письме к Мюриел от 19 апреля 1945 года (меньше чем за две недели до смерти Гитлера, хотя про войну в письме не сказано ни слова) Маргарет описала свое возвращение в Оксфорд. Она приехала раньше, чем ее сокурсники (вероятно, чтобы принять участие в предвыборной кампании, организованной МКО). Отправившись ужинать сразу после приезда, она "с неприятным чувством" оказалась...

"...в одиночестве посреди огромного зала, где кроме меня была лишь горничная, которая принесла мне еду. На каникулах преподаватели едят в собственной столовой, так что мне не пришлось, слава Богу, их терпеть. Сначала подали чудесный крем-суп, потом – нежную постную говядину с жареной картошкой, цветной каупустой [sic] и белым соусом. На десерт я получила лимонный мусс с лимонным безе".

После ужина Маргарет не смогла найти носильщика, поэтому сама подтащила чемодан к лестнице. Поняв, что поднять его по ступенькам ей не под силу, она распаковала его прямо в коридоре и "отнесла вещи в комнату охапками. Потом я стала раскладывать их, чтобы хоть немного оживить пустоту", но в полдвенадцатого устала и легла спать. В письме не чувствуется ненависти к колледжу, но и счастья от возвращения Маргарет тоже не испытала.

Во многом причина относительной изоляции Маргарет в "Соммервилле" заключалась в том, что она как химик изучала точные науки – одна из пяти студенток ее года поступления во всем Оксфорде. Долгие часы в лаборатории и на лекциях, которые она, в отличие от студентов-гуманитариев, была обязана посещать, не оставляли времени на общение с однокурсниками. Маргарет трудилась добросовестно, но признавалась, что лабораторная работа ей не нравится: "Я всегда больше тяготе-

1. Дафна Парк (1921–2010) – высокопоставленная сотрудница Секретной Службы, декан "Соммервилла" с 1980-го по 1989 г., баронесса Монмут с 1990 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ла к теории, чем к практике". Впрочем, она понимала, как ей повезло, что ее наставницей была Дороти Ходжкин – одна из самых заслуженных химиков мира. Миссис Ходжкин, которая впоследствии получила Нобелевскую премию по химии, прославилась кристаллографическим анализом структуры молекул, а позже, изучая пенициллин, сделала важное открытие и в этой сфере. Пенициллин, первый антибиотик, был открыт в 1928 году, но ключевые испытания проводились много лет спустя в Оксфорде, за два года до поступления Маргарет: это был, как бы сказали сейчас, технологический прорыв того времени. Бетти Спайс, которая тоже занималась химией, считала Дороти Ходжкин "блистательным ученым и ужасным преподавателем", чьи объяснения часто были лишены всякого смысла. А Полин Коэн, не заходя так далеко, отмечала, что первокурсников ей лучше было не доверять. Маргарет, тем не менее, относилась к миссис Ходжкин с большим уважением и выбрала ее в научные руководители. Курс обучения в Оксфорде занимал и до сих пор занимает три года. Химик мог получить свидетельство об окончании курса по итогам экзаменов в конце третьего года, но диплом бакалавра выдавали лишь после четырех лет учебы и устной защиты. Именно к ней Маргарет и готовилась под руководством Дороти Ходжкин.

"Должна сказать, этим она меня подкупила, – писала профессор Ходжкин коллеге в 1988 году. – Я поощряла стремление моих студентов в "Соммервилле" поскорее расправить крылья, если они собираются 'лететь' в другие сферы. Из Америки и Москвы мне прислали некоторое количество грамицидинов, антибактериальных пептидов, которые не поддавались ультразвуковому анализу. Герхардт Шмидт (еврейский ученый-беженец) начал работать с самым простым, грамицидином С из Москвы... Маргарет помогала ему выращивать тяжелые атомы с кристаллами, но мы так и не нашли разгадку (на это потребовалось еще сорок лет). Наблюдения, которые они сделали, впоследствии оказались полезны".

Насколько Маргарет была талантлива как ученый? Став политиком, она продолжала интересоваться наукой и больше гордилась не тем, что стала первой женщиной премьер-министром, а тем, что ни один премьер до нее не мог похвастаться научной степенью. После отставки она приехала в Оксфорд навестить старых знакомых по кристаллографической лаборатории, а во время и после учебы с энтузиазмом описывала в письмах к Мюриел встречи со знаменитыми учеными Лайнусом Полингом и Максом Перутцем и поездку в Кембридж для обмена опытом. Ее трудно было упрекнуть и недостатке трудолюбия и старательности: за первые два года

в колледже она завоевала две премии, пережив множество творческих кризисов и продемонстрировав редкую способность заниматься умственной работой по ночам — ее отличительная черта. В результате часть экзаменов в конце третьего курса ей пришлось сдавать в санатории. Маргарет говорила друзьям, что "просто" заболела, хотя есть доказательства, что причиной "болезни" стало нервное истощение, вызванное усталостью. В конце четвертого курса она вполне достойно защитила диплом. Джанет Вон, специалист по естественным наукам (но не по химии), пренебрежительно говорила о Маргарет: "Как химик она была крепким середняком. О ней не скажешь ни хорошее, ни плохое". Впрочем, суждения декана могли быть вызваны резким неприятием политической позиции Маргарет; это неприятие усиливалось с годами. Профессор Ходжкин, которая тоже придерживалась в политике иных взглядов, но знала Маргарет ближе и относилась к ней с большей симпатией, старалась быть более объективной: "У нее был приличный уровень. Она всегда писала разумные, добротные доклады, но я не могла избавиться от ощущения, что чего-то ей все же не хватает".

Маргарет не стала бы спорить со своей наставницей. Позже, делясь своим восхищением Дороти Ходжкин, она вспоминала беседу с Максом Перутцем, который сказал ей: "В науке здравый смысл и математика могут довести лишь до половины пути; чтобы преодолеть вторую половину, нужно вдохновение". "Удивительно, как много общего между наукой и искусством", — продолжала Маргарет Тэтчер. Она считала, что Дороти Ходжкин наделена артистическим воображением, отсутствие которого признавала за собой. Несмотря на потрясающую самоуверенность в отдельных областях, Маргарет никогда не приписывала себе интеллектуальный блеск: в Оксфорде она общалась со многими людьми, превосходившими ее интеллектом, и отдавать им должное зазорным не считала.

Дороти Ходжкин справедливо отмечала, что "Маргарет не была готова посвятить себя химии". Или, как выразилась Бетти Спайс: "В науке она не горела". В Оксфорде она увлеклась юриспруденцией. В мемуарах она писала, что в 1945–1946 годах ее отец как мэр Грантэма автоматически получил место судьи в местном муниципальном суде. На каникулах Маргарет посещала заседания, протоколы которых вел опытный юрист: "Один раз мы обедали с ним — королевским советником Норманом Уиннингом... Я вдруг выпалила: 'Я хотела бы стать юристом, но химия — это все, что я знаю, и в любом случае Оксфорд не позволяет менять профилирующий предмет'". Уиннинг возразил, что изучал в Кембридже физику, а потом

получил там же второе образование, на что Маргарет ответила, что себе этого позволить не может. Уиннинг объяснил, что есть другой, более трудный, путь – найти работу в Лондоне или его ближайших окрестностях, вступить в одну из четырех профессиональных адвокатских ассоциаций и по вечерам учиться в их собственном учебном заведении. В своих воспоминаниях Маргарет Тэтчер утверждает, что этот разговор задал направление ее будущей жизни – "именно так я и поступила в 1950 году". При этом важно отметить, что уже в Оксфорде тяга к юриспруденции была у Маргарет настолько сильной, что у нее возникло желание бросить химию. А также не забывать, что в 1945–1946 годах она не могла быть уверенной, что сумеет воспользоваться подсказкой Уиннинга. Когда перед окончанием Оксфорда Маргарет начала искать работу, одним из главных критериев стала возможность совмещать ее с учебой по вечерам. В письме Мюриел ранним летом 1947 года Маргарет описывает интервью при приеме на работу на химический завод "Ай-си-ай Биллингэм" возле Стоктона. Ей все понравилось, но она сочла, что шесть часов пути до Лондона станут "серьезным препятствием для моих юридический штудий". Маргарет начала изучать юриспруденцию еще до замужества, в 1951 году, и уверенность, что она сможет изучение закончить, пришла лишь с финансовым благосостоянием, которым обеспечил ее Денис Тэтчер.

Позже Маргарет Тэтчер проследила закономерность в своих юношеских интересах. "Посещение методистской церкви в Грантэме помогло мне узнать законы божьи. Изучение химии в Оксфорде – законы науки, которые произошли от законов божьих. А когда я готовилась стать юристом, я узнала законы человеческие". Эта фраза достаточно ясно отражает ее благоговейное стремление к определенным видам знаний, основанное на непоколебимой вере в закон как фундамент политики. Но, возможно, не дает полного представления о том, насколько Маргарет рассматривала все свои основные занятия, в том числе и юридические, через призму будущей политической карьеры. В Оксфорде она оставалась активной прихожанкой методистской церкви и даже читала проповеди, производившие на паству "большое впечатление", пела в хоре, добросовестно и с интересом изучала химию, но ее навязчивой идеей, ее мечтой была политика. "Я всегда страстно увлекалась историей, – говорила Маргарет пятьдесят лет спустя. – А что есть политика, как не творящаяся на наших глазах история?" Скорее всего, она приписывала студенческому прошлому позднейшее увлечение, ибо в годы учебы особого интереса к изучению истории не проявляла, хотя политическими амбициями уже отличалась. Она стала членом МКО сразу после поступления и

быстро втянулась в ее деятельность — не потому, что стремилась отстаивать твердые убеждения, которых еще не имела, и не из юношеской склонности к политиканству. Ею руководило желание, по всей видимости не вполне осознанное, принимать непосредственное участие в политической жизни, вкладывать в нее силы и энергию.

Война постоянно и горячо обсуждалась в студенческих кругах, но, как ни парадоксально, в военные годы политическая активность в Оксфорде заметно снизилась по сравнению, скажем, с предыдущим десятилетием. Отчасти из-за того, что мужчины ушли на фронт. Оксфордский союз — центр политических дебатов университета — допускал к участию в дискуссиях только представителей сильного пола[1]. Кроме того, насущная необходимость победить в войне породила если не согласие во взглядах на послевоенную политику, то, по меньшей мере, стремление обойтись без конфликтов. Вспоминая атмосферу в "Соммервилле", Маргарет Тэтчер пятьдесят лет спустя говорила: "Во время войны можно быть только патриотом, потому что на кону стоит слишком многое". Ее сокурсники вспоминали, что положение на фронтах служило постоянной темой застольных разговоров, но спорные вопросы не затрагивались. По словам Эми Вуттен, в типичной беседе за ужином в колледже затрагивались новости с фронта, незначительные последствия происходящих там событий ("в магазинчик на Хай-стрит привезли бананы") и обычные пересуды о событиях дня. Многие студенты были религиозны, поэтому споры касались богословия чаще, чем Советского Союза или проблем экономики. Интерес к политике упал. Эми Вуттен, например, считала Маргарет либералкой только на том основании, что таких взглядов придерживались две другие девушки, изучавшие химию.

В своих письмах сестре из Оксфорда Маргарет почти не касается политики. Мы узнаем лишь, что ее деятельность в МКО была трудоемкой, но открывала определенные перспективы и приносила удовольствие. Политика представала чем-то, что требовало дел, а не обсуждений. О политических спорах вспоминает только одна сокурсница миссис Тэтчер. Познакомившись в "Соммервилле" с Полин Коэн, Маргарет сразу же попыталась рекрутировать ее в МКО, от чего та,

1. Даже будучи президентом МКО, Маргарет могла наблюдать за дебатами только с балкона и только в том случае, если кто-то из членов давал ей гостевой пропуск.

считая себя коммунисткой, отказалась. В 1945–1946 годах Полин снимала вместе с Маргарет квартиру на Ричмонд-роуд, хозяйка готовила девушкам несъедобные завтраки, например, жареные сардины с картофельным пюре. В памяти Полин сохранился всего один застольный спор о структуре послевоенного общества и о том, насколько эгалитарным ему следует быть. Она забыла бóльшую часть аргументов, но почувствовала, что Маргарет не одобряет идею всеобщего равенства. Даже Мэри Уоллес, которая знала Маргарет еще с Грантэма и активно работала вместе с ней в МКО, не смогла вспомнить, чтобы та хотя бы раз высказывалась о политике.

Несмотря на поразительно большое число приверженцев, оксфордские консерваторы не стремилось к борьбе, слепое доверие Сталину или увеличение процента людей, живущих на государственное пособие, не вызывало у них беспокойства. Работая над мемуарами в 90-е годы, миссис Тэтчер затруднилась сформулировать свою политическую позицию того времени. Об англо-советской дружбе она говорила: “Называть этого неправдоподобно жестокого человека ‘дядей Джо’, как того требовала военная пропаганда, никогда не казалось нам правильным”. Она вспомнила, что именно в Оксфорде прочитала книгу Фридриха фон Хайека “Дорога к рабству”, опубликованную в 1944 году. Однако эти воспоминания производят впечатление притянутых за уши, к тому же Маргарет сама признавала, что “не смогла тогда до конца понять смысл маленького шедевра Хайека”. “Мы жили политикой, – рассказывала она об оксфордском периоде своей жизни в 1994 году. – Задавались вопросом: ‘Грозит ли миру новая война?’” – но нет никаких доказательств, что молодые тори уделяли этому вопросу много внимания. Студенческие политические дебаты тех лет создают удивительное ощущение расслабленности, словно молодежь была убеждена, что все так или иначе наладится само собой.

Как почти все консерваторы в конце войны, Маргарет верила в способность чиновников из Уайтхолла управлять страной в духе гуманизма и порядка. Она восхищалась Докладом о полной занятости 1944 года, основанном на теориях Кейнса[1] и зачитанном в 1944 году, и отдавала дань мудрости Уинстона, как она в позднейшие годы всегда называла Черчилля[2], создав-

1. Джон Мейнард Кейнс (1988–1946) – британский экономист, один из отцов современной макроэкономики. В основе Доклада о полной занятости лежала его работа “Общая теория занятости, процента и денег”, опубликованная в 1936 г.
2. М. Тэтчер часто критиковали за эту привычку, усматривая в ней претензию на личное знакомство с великим человеком. Однако, скорее всего, Маргарет просто переняла ее у других молодых консерваторов: точно так же в годы ее премьерства не знакомые с ней называли ее Мэгги.

шего Министерство реконструкции и развития. Она безгранично доверяла административным мыслителям наподобие Оливера Франкса[1] из Министерства оборонного снабжения, который в будущем оказался чрезвычайно полезен ей самой во время войны на Фолклендских островах, уважала сэра Уильяма Бевериджа за доклад о Социальной защите 1942 года и Р. А. Батлера – за Закон об образовании 1944 года. Ей нравилось, что экономика военного времени была "целевой", направленной на то, чтобы обеспечить всех работой. Она говорила, что не относит себя к правому крылу консерваторов: "Стремление к справедливости, которое у британцев в крови, было удовлетворено системой рационирования". Там, где ее консерватизм выходил за пределы инстинктивной лояльности к "не трудовому народу", его основными характеристиками были ощущение, что коллективизм в равной степени угрожает свободе и процветанию экономики, а также романтический взгляд на Британскую империю как на оплот цивилизации даже в период ее упадка. Два этих пункта связались в ее представлении воедино. По ее словам, она хотела видеть "более свободное общество, которое было одним из главных источников мощи, прославившей Британию". Также Маргарет пришла к выводу, что утопии опасны. Будучи ученым, она, тем не менее, с подозрением относилась к людям, которые пытались заниматься политикой "по науке": "Так можно получить только утопическое правительство". В 1944 году она посмотрела спектакль по пьесе Дж. Б. Пристли "Они пришли в город" и пришла к выводу, что "нельзя найти решение, не принимая во внимание человеческий фактор".

Окончание войны в Европе в мае 1945 года и июльские выборы дали новый импульс политической жизни. Маргарет принимала участие в местных выборах, которые прошли 5 июля в Грантэме. В те времена основой предвыборных кампаний были встречи с избирателями – Маргарет ежедневно "разогревала" публику перед выступлениями кандидата от консерваторов, майора BBC Уорта, во время его поездок вокруг Грантэма. Этот опыт она вспоминала потом с изрядной долей самокритики: "Получалось не слишком хорошо. Меня учили делать научные доклады, поэтому я сыпала короткими предложениями... как пулемет", но она не отступала, что свидетельствовало о ее смелости и решительности. Маргарет уже пробова-

1. Оливер Франкс (1905–1992) – секретарь Министерства оборонного снабжения в 1945–1946 гг.; посол Великобритании в США с 1948-го по 1952 г., председатель комитета по Фолклендам в 1982-м.

ла выступать перед публикой: весной представила эссе "Один день из жизни студентки Оксфорда" женской половине Ротари-клуба Грантэма, а также доклад на заседании МКО, чем похвасталась Мюриел: "Моя работа о развитии сельского хозяйства имела оглушительный успех". И это не удивительно: совсем еще молодая, девятнадцатилетняя женщина, слишком юная для участия в голосовании[1], Маргарет в качестве докладчика не могла не привлекать к себе внимание.

Одно ее выступление — в Слифорде — было подробно описано в "Слифорд-газетт" в статье "Вдохновляющая встреча в торговом центре" 25 июня 1945 года. Журналист так описал шестую "разогревающую" речь Маргарет за один день: "Очень юная мисс М. Х. Робертс, дочь члена муниципального совета А. Робертса из Грантэма... сразу заговорила о международной политике и о том, что Британия не сможет достичь благосостояния до тех пор, пока 'не поможет другим европейским странам твердо встать на ноги'. О Германии мисс Робертс заметила, что 'на ее памяти один раз, дважды в памяти очень многих и трижды в памяти доживающих свой век, Германия втягивала мир в войну, за что ее следует разоружить и подвергнуть суду. Мисс Робертс не имела в виду, что немцы должны быть подвержены остракизму, речь шла лишь о необходимости справедливого возмездия". Впоследствии, особенно в 1990-е, леди Тэтчер часто повторяла фразу о периодичности, с которой Германия начинала войны, лишь иногда заменяя Германию на континентальную Европу.

В своей речи в Слифорде Маргарет превозносила Уинстона Черчилля: страна "не должна потерять единственного оставшегося у нее политика, пользующегося доверием и уважением во всем мире". В этом контексте Маргарет высказала неожиданное, на первый взгляд, мнение об СССР: "Социалисты говорят, что мы, консерваторы, не хотим дружбы с Россией, но мистер Черчилль и мистер Иден сочли нужным поехать в Россию и сделать все возможное для налаживания сотрудничества". Маргарет рассматривала Великобританию как сверхдержаву с равным правом голоса в переговорах с участием США и Советского Союза.

Остановилась она и на теме, в те годы очень ее занимавшей: "Мисс Робертс горячо отстаивала идею империи как самого продуктивного сообщества людей в истории. Связанные нерасторжимыми узами верности, одни ее подданные

1. В то время право голоса в Великобритании предоставлялось с двадцати одного года.

преодолевали полмира, чтобы помочь другим в беде. Уничтожения Империи нельзя допустить ни в коем случае".

В том, как девятнадцатилетняя дочь муниципального советника планировала будущее всего мира, возможно, было что-то смешное и в то же время — достойное восхищения. Речи Маргарет во время предвыборной кампании побудили Лиз Бэррингтон, подругу детства Мюриел, написать ей несколько недель спустя:

Должна сказать, я нахожусь под впечатлением от ее ораторского искусства. У тебя очень умная сестра — неудивительно, что дома ты предпочитаешь свои взгляды не высказывать! Хотя тебе ли молчать! Интересно, кем она станет? Возможно, когда-нибудь я буду с гордостью рассказывать, что имела удовольствие быть знакомой с этой юной леди... не забывая и про ее сестру, которая, я уверена, тоже так или иначе добьется известности. Не смейся, я действительно в этом убеждена.

Лиз также написала: "Как и ты, я не хочу выбирать между лейбористами и консерваторами". Эти ли взгляды Мюриел предпочитала не высказывать под крышей дома семьи Робертс?

Лейбористская партия Климента Эттли буквально ворвалась в правительство. В Грантэме экстравагантный независимый кандидат Дэнис Кендалл отстоял место в соперничестве с консерваторами. Маргарет присутствовала при подсчете голосов в Слифорде, а оттуда отправилась в Грантэм, где увидела результаты выборов на экране кинотеатра. Они потрясли ее. Шестьдесят лет спустя Маргарет говорила, что поражение Уинстона Черчилля ее шокировало, но в то же время она отмечала победу лейбористов как естественный пик популярности послевоенного коллективизма, которому она начиная с 1979 года оказывала всяческое противодействие. Для юной Маргарет в итогах выборов не было, впрочем, ничего естественного: они прервали доминирование тори, при которых она родилась и выросла. Однако поражение всегда заряжало ее избыточной энергией, что особенно явно проявилось позже, в 1974 году.

Оксфорд, куда она приехала в октябре 1945 года, сильно изменился — его политическую атмосферу всколыхнули атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также последующая победа союзников на Дальнем Востоке, триумф лейбористов и возвращение с фронта воевавших студентов. Несмотря на то что Маргарет тесно соприкоснулась с войной в Грантэме, который бомбили чаще, чем большинство британских го-

родов, никто из ее ближайших родственников в армии не служил. Знакомство с участниками боевых действий приводило ее в восторг. По ее словам, она вернулась в "повзрослевший Оксфорд", который только выиграл от "смешения поколений". Добившись к тому времени высокого положения в МКО, Маргарет вошла в подкомиссию по разработке политической линии партии вместе с инвалидом войны Стэнли Моссом и Майклом Кинчин-Смитом. Их первый доклад получился чрезвычайно амбициозным. Первую часть, пафосно озаглавленную "Фундамент консерватизма", написал Мосс, вторая — под названием "Роль консервативной партии в наши дни" — принадлежала перу Маргарет и Кинчин-Смита; авторами доклада, впрочем, значились все трое.

Формулировки Мосса были довольно расплывчаты, их совместный труд не содержал никаких откровений ни по содержанию, ни по форме, но в нем уже обозначились идеи, которые много позже войдут в политический репертуар Тэтчер: "человек важнее системы", "индивидуальное предпринимательство — двигатель прогресса", "нет эмпирических доказательств существования... некоей мистической группы людей, государства или нации, построенных на опровержении этих принципов", что постулировали нацисты. Доклад выдержан в полемическом тоне, что во время войны было бы немыслимо. Выступая против фракционности внутри партии, авторы настаивали на "мощной и откровенной" критике попыток правительства злоупотребить властью и заявляли, что против ограничения свобод следует бороться "любым оружием и без малейшего компромисса". Жестче всего они высказались о самих консерваторах: "Мы считаем, что эти выборы являются поворотным пунктом в политическом развитии страны, подобно созданию Реформистского парламента в 1831 году. Считаем, что адаптация идей консерватизма к реалиям текущего века — подобно той, что была осуществлена Пилом, — необходима, если партия не хочет прекратить свое существование". Партия должна была "как никогда четко определить свои базовые принципы", предпринять в своих рядах "генеральную чистку" и провести исследовательскую работу. Пункт "Политика" начинался со слов: "В глазах общественности политика консерваторов свелась к серии административных решений конкретных проблем, в отдельных случаях продиктованных иррациональными предрассудками и эгоистическими интересами обеспеченных классов. Если мы хотим изменить эту дискредитирующую партию позицию, необходимо, чтобы связь между ее генеральной линией и отдельными решениями прослеживалась безошибочно и чтобы не было противоречия между государственными и внутрипартийными интересами. В вопро-

сах, по которым у нас с лейбористами нет принципиальных разногласий, следует добиваться, чтобы итоговая политика была консервативной, исходящей из консервативных, а не социалистических принципов, — в том случае, если эти принципы вступают в противоречие".

Перечитав доклад через пятьдесят лет, леди Тэтчер раскритиковала некоторые положения, например — открытый, по существу, призыв к перераспределению богатств, оставив их на совести соавторов. Особенно ей не понравился исполненный комического самомнения вывод о природе лидерства: "В такой организации, как МКО, существующей за счет добровольных пожертвований, при выборе идеальной позиции для лидера, стоило бы руководствоваться примером Президента США Рузвельта: следовать общественному мнению, одновременно формируя его и держась на шаг впереди". Она заметила, что противоречие, содержавшееся в предложении следовать общественному мнению и в то же время вести его за собой, было не в ее стиле. Но, в целом, она согласилась, что документ отражает ее убеждения того периода. Не будучи революционными, эти идеи явились проявлением более агрессивного, бунтарского и социально мобильного консерватизма... исходившего из того, что за власть придется побороться.

В следующем марте Маргарет представляла Оксфорд на съезде Федерации университетских консервативных и юнионистских ассоциаций в лондонском отеле "Уолдорф". И она, и Кинчин-Смит потребовали, чтобы многочисленные резолюции об увеличении представительства рабочего класса в рядах партии были немедленно реализованы. На конференции в Йоркшире, в Суинтон-колледже, где в то время молодые тори дискутировали по выходным, Маргарет поспорила с группой более высокородных и радикально настроенных однопартийцев, которые настаивали на перераспределении имущества. Она вспоминала потом, что довольно резко спросила, как они планируют делить большие загородные имения, и ответа не получила. В октябре 1946 года — месяце ее избрания президентом МКО — Маргарет впервые отправилась на съезд партии в Блэкпуле. По меркам консервативных съездов того времени, присутствующие находились на грани бунта. Рядовые члены возмущались неспособностью верхушки выдвинуть четкую и ясную партийную линию. Как позже написала Маргарет, она была "в трансе". Наверное, это единственный задокументированный случай употребления подобных слов применительно к партийному съезду в истории человечества, и все же эти слова наиболее точно передают ее тогдашние ощущения. Маргарет разделяла настроение зала, чувствовала себя свободной и

раскрепощенной. Единодушие с рядовыми тори надолго обезопасило ее в будущем от попыток старших членов партийной верхушки подорвать ее авторитет. В 1946 году верхушка ощущала себя прижатой к стенке. "Сложилось впечатление, — писала Маргарет, — что партийное руководство, за исключением своего лидера (Черчилля), приехало в Блэкпул, чтобы примирить самих себя и консервативную партию в целом с торжеством социализма в Британии... Это было определенно не то, что хотели услышать рядовые члены партии... Инстинктивно я была с ними заодно, хотя моя позиция, направленная против коллективизма, еще до конца не сформировалась..."

Не стоит думать, что вера Маргарет в приоритет заслуг над происхождением и ее сочувствие простым партийцам заходили настолько далеко, чтобы исключить ее из высшего общества оксфордских тори. Серьезность, с которой юная Маргарет Робертс относилась к науке и политике, сочеталась с желанием развлекаться, жить в свое удовольствие и общаться с теми, к кому она не принадлежала по рождению. Какими бы искренними ни были ее политические убеждения, она рассматривала МКО еще и как способ подняться по социальной лестнице. По словам Уильяма Рис-Могга, ее младшего сокурсника по Оксфорду и будущего редактора "Таймс", будучи убежденным консерватором, Маргарет благодаря МКО росла и расширяла свои горизонты.

Одним из наиболее ярких символов общества, куда она стремилась, был Эдвард Бойл[1]. Некрасивый, неуверенный в себе, он, тем не менее, завоевал симпатии Маргарет. Выпускник Итона, продолжавший обучение в оксфордском колледже "Крайст-Черч" и уже унаследовавший титул баронета, он был умен, покладист, прекрасно воспитан, чем вызвал у нее такое уважение, какого не удостаивался больше никто до тех пор, пока много лет спустя ей не встретился еще один баронет Кейт Джозеф. В Бойле сокурсники видели будущего премьер-министра: он обладал "блистательным умом, который невозможно разгадать до конца". Человек он был страшно рассеянный: не раз забывал, к примеру, смывать с лица пену после бритья. Будущий министр образования в правительстве Гарольда Макмиллана, Бойл впоследствии примкнул к ра-

1. Эдвард Бойл (1923–1981) – президент Оксфордского союза в 1948 г.; член Парламента от консерваторов с 1950 по 1970 гг.; подал в отставку с поста младшего министра из-за ситуации с Суэцким каналом в 1956-м; министр образования с 1962 по 1964 гг.

дикальному крылу консерваторов, но в 40-х годах по политическим воззрениям он был близок к Маргарет. Впрочем, он оказывал на нее влияние скорее в области морали, чем идеологии. Она считала, что Бойл наделен "великим умом, который никогда не опускается до злобных или мелочных мыслей". Как это часто случалось с Маргарет в ее отношении к людям, она переносила восхищение его личностью на его окружение. С оксфордских лет она сохранила самые теплые воспоминания о принадлежавшей матери Бойла "восхитительной квартире на Портман-сквер" и ее "сокровищах", многие из которых были привезены из Китая: "Я будто бы попала в другой мир. Мне никогда не доводилось видеть такие квартиры". С 60-х годов, когда Маргарет с мужем снимали коттедж в Кенте, у нее осталось впечатление о поездках в гости к Бойлу в его фамильное имение Окхам в Сассексе, где их угощали "превосходным вином". В конце жизни Бойла подстерегали большие финансовые затруднения: "Эдвард не знал, откуда берутся деньги: они у него всегда водились". В отличие от Бойла Маргарет обеими ногами стояла на земле, но ценила в Бойле его способность подняться над мирской суетой, а также то, что относился он к ней без высокомерия.

В МКО вряд ли нашелся бы второй такой удивительный человек, но Маргарет высоко ценила дружбу всех аристократов, которые были к ней расположены. Одним из них был граф Далкейт[1], еще один выпускник "Крайст-Черч", ставший в дальнейшем членом Парламента. Занимая высокое положение в МКО в 1947 году, он собрал наиболее авторитетных товарищей по партии и сказал: "У нас есть очень трудолюбивая девушка. Получив задание, она доезжает на велосипеде до железнодорожной станции Моррис-Коули раньше, чем Эдвард Бойл выходит из дома. В один прекрасный день ее выберут премьер-министром, но пока у нее совсем нет денег, а потому давайте создадим для нее фонд". Далкейт просил по 25 фунтов с человека, но через шестьдесят лет не смог вспомнить, собрал ли он нужную сумму и на что именно собирались средства[2]. По его словам, Маргарет "была лишена ложной гордости". Как она отнеслась к подарку, история умалчивает, но Джонни Далкейт навсегда остался в ее памяти "чудесным человеком".

1. Уолтер Джон Монтагю Дуглас Скотт (1923–2007), граф Далкейт, служил на королевском морском флоте с 1939-го по 1945 г.; член Парламента от консерваторов с 1960-го по 1973 г.
2. Один из друзей Далкейта, который присутствовал при сборе денег, припомнил, что деньги собирались на велосипед.

Удовольствие Маргарет от дружбы с высокородными членами МКО, а также от положения, которое она заслужила работой в этой, как ей представлялось, невероятно престижной организации, отчетливо просматривается в ее письмах к Мюриел. В письме, значительная часть которого посвящена докладу на заседании МКО в октябре 1946 года, Маргарет благодарит сестру за подарок на свой двадцать первый день рождения и спрашивает, может ли Мюриел одолжить жемчуг и черное вечернее платье, потому что ей предстоит побывать на двух устраиваемых Ассоциацией ужинах подряд. Также она сообщает сестре, что послала письмо с благодарностью за подарок соседке по Грантэму миссис Ниддс: "Конверт получился большим — я вложила туда карточку МКО, подумав, что ей будет приятно иметь такой сувенир". В мае следующего года, в преддверии дня рождения Мюриел, Маргарет написала сестре, что нашла для нее "модные чулки из чистого шелка — настоящие... не с черного рынка" плюс "флакон духов 'Большие надежды', созданных специально для актрисы Валери Хобсон". Она также упоминает, что побывала на ужине, устроенном консерваторами Кембриджа в клубе "Балфор", после которого "около полуночи мы отвязали лодку и отправились плавать по реке (слава Богу, на мне было не черное бархатное платье)".

В январе 1947 года Маргарет писала Мюриел, что "в дополнение к традиционному новогоднему ужину МКО" посетила еще два — в честь соратника Черчилля Л. С. Эмери и лорда Вултона, председателя консервативной партии. "Мое черное бархатное платье выглядело шикарно. Благодаря диагональному крою юбка сидит как влитая". Из писем следует, что имелись у Маргарет в МКО и менее официальные развлечения: "Нил и Роджер несколько раз заходили на чай. Дважды мы отправлялись 'покутить' и очень весело провели время".

Роджер — это Роджер Грей из колледжа "Квинс", обаятельный ветеран войны, который только что стал президентом Оксфордского союза и благодаря этому самым популярным студентом университета. Маргарет упоминает, что его "трудоемкие обязанности", скорее всего, помешают им и в дальнейшем встречаться так же часто. Нил Финдлей из Вустер-колледжа не увлекался политикой, но был лучшим другом и однополчанином Роджера Грея, разделявшим его любовь к вечеринкам и попойкам.

Оба молодых человека нравились Маргарет куда больше, чем она — им. Роджер, по всей видимости, находил девушку неприступной и иногда, выпив лишнего, даже тыкал пальцем ей в грудь со словами: "Это мрамор, Маргарет?" Нет, это был не мрамор. Маргарет тайно вздыхала по Нилу, который по-

дозревал, что она к нему неравнодушна. По его словам, Маргарет тянулась к всеобщим любимцам, ко всем, кто считался душой общества, но они, увы, не всегда отвечали на ее знаки внимания. Нилу было немного ее жаль.

Об увлечении Маргарет, которое, вероятно, зародилось ближе к концу 1946 года, свидетельствуют сохранившиеся письма к Мюриел, о своем увлечении Маргарет пишет не прямо, а намеками. "Встретилась с Нилом лишь однажды в этом триместре, – пишет она в мае 1947 года. – Это было в продуктовой лавке". В позднейшей переписке она, впрочем, более откровенна. В начале 1949 года, став кандидатом от Дартфорда, Маргарет сняла там квартиру и написала Мюриел о случайной встрече: "Видела Нила с женой на станции, когда возвращалась с воскресных политических курсов в Кентербери. Не знаю, заметили ли они меня, ведь Нил очень близорук, а я не подошла поздороваться. У него интересная жена. Темноволосая, с очень светлой кожей и типичным длинным носом, она похожа на еврейку. Я стояла на платформе с Дориком Боссомом (сыном А. Боссома, члена Парламента от Мэйденстоуна) и Йеном Харви, кандидатом от Ист-Харроу. Если Нил все-таки заметил меня, я страшно рада, что была не обделена мужским обществом. Ничто во мне не дрогнуло, когда я его увидела. Странно, что даже сильная влюбленность так поверхностна".

Несмотря на оптимистичный тон, письмо выдает нежелание Маргарет выглядеть неудачницей в истории с Нилом Финдлеем, не хотелось ей и попасться ему на глаза, когда она была в одиночестве, а он – с другой женщиной. Но она не покривила душой, сказав, что рана затянулась. В 50-е годы Финдлеи оказались соседями Тэтчеров по дому в Свон-корт, Челси, и они отлично поладили. Однако ясно, что в Оксфорде Маргарет тянулась к мужчинам, встречаться с которыми было престижно, и боялась быть ими отвергнутой. Карьера в МКО представлялась ей лучшим способом справиться с любыми комплексами. В письме к Мюриел незадолго до ее приезда в Оксфорд в мае 1947 года, Маргарет сообщила, какая программа ее ожидает. Она попросила Эдварда Бойла достать гостевые пропуска на дебаты Оксфордского союза – с возможным приглашением на прощальную вечеринку президента Союза. "А кроме того, Эдвард позовет нас пообедать – если, конечно, не забудет", – продолжала Маргарет, выражая надежду "заманить в гости Роджера и/или Нила". Проблема заключалась в том, что "мероприятия МКО заканчиваются пикником, и у меня больше не будет возможности позвать их к нам. Остается рассчитывать, что они заглянут сами, что случается крайне редко". После четырех лет, проведенных в университете, она

все еще находилась в положении слабой, безынициативной женщины, от которой ничего не зависит.

Очень маловероятно, чтобы у Маргарет были в Грантэме поклонники. Все, кто знал ее тогда, включая сестру, утверждали, что она ни с кем не встречалась. Однако Маргарет, несомненно, была элегантной молодой женщиной, которую многие считали привлекательной; она замечала внимание к себе, что не могло ее не радовать. Многим вспоминались ее розовые щечки и изящные ножки. На Кеннета Уоллеса из Грантэма произвела впечатление ее способность поддерживать непринужденную "умную" беседу. Когда, ближе к концу войны, Маргарет начала посещать вечеринки в родном городе, ее часто приглашали танцевать, некоторые военные ухаживали за ней довольно настойчиво. В августе 1944 года она вступила в теннисный клуб Грантэма (она жаловалась, что "прожгла теннисный костюм утюгом") и ходила на танцы в клубе. "Очень скоро... я нашла себе летчика лет, наверное, сорока!!! Точнее, это он меня нашел". Перед Новым годом Маргарет отправлялась на танцы в Корби неподалеку от Грантэма.

К моему ужасу, я узнала в одном из партнеров — лысом — того самого летчика, с которым летом провела весь вечер в теннисном клубе. Сердце упало, когда я увидела, что он идет через зал приглашать меня на первый танец... К счастью, его приятель уже приклеился ко мне, точно пиявка. Танцевал он отлично, так что я особенно не возражала. Насколько я поняла, он — довольно известный футбольный тренер, однажды судил даже финал Кубка Англии. Но избавиться от него оказалось делом совсем не простым. Он пригласил меня в кино, и я сразу же отговорилась, что должна на неделю съездить в Оксфорд, на курсы проведения предвыборных кампаний. В конце концов, он отстал, оставив мне свой номер телефона с просьбой позвонить, когда вернусь. У меня и в мыслях нет ему звонить, не хочу, чтобы меня видели с мужчиной его возраста. А когда я вскользь упомянула об этом дома, папа решительно сказал: "Об этом не может быть и речи!".

Остаток вечера она провела с тридцатилетним пилотом, который совершил в Германии несколько боевых вылетов. Написав в том же письме к Мюриел, что она держала кавалера на расстоянии вытянутой руки, Маргарет не сочла нужным упомянуть, что к тому времени у нее уже был бойфренд.

Единственное упоминание о мужчине в ее жизни содержалось в рассказе Маргарет Гудрич о первом — на ее памя-

ти — случае, когда ее подруга поделилась с ней своими политическими амбициями. Маргарет Гудрич отмечала свой двадцать первый день рождения в узком кругу в доме приходского священника в Корби-Глен 22 декабря 1944 года. Гостей собралось немало, и приехавшей из Оксфорда Маргарет Робертс пришлось ночевать в одной постели с Шейлой Браун, которая, когда Маргарет занимала пост премьера, стала главным инспектором школ. Обе Маргарет запомнили, правда по-разному, как сидели за кухонным столом и обсуждали планы на будущее. По словам Гудрич, ее мать спросила Маргарет, кем та хочет стать, и девушка без запинки, словно решение было давно принято, ответила: "Членом правительства". На самом деле она и до этого делилась своими планами о карьере политика, но в тот день Маргарет Гудрич запомнилось еще кое-что: подруга привезла с собой гвоздику, которая "судя по всему, была ей чрезвычайно дорога", и сказала, что это — подарок ее оксфордского приятеля. Маргарет боялась, что гвоздика завянет, поэтому миссис Гудрич поставила цветок в вазу с водой и аспирином. Звали бойфренда Тони Брэй.

Тони был кадетом, в Оксфорд он приехал в октябре 1944 года поступать в колледж "Брасенос", но из-за сложностей военного времени его поселили в корпус "Крайст-Черч". Он проходил специальный шестимесячный курс обучения, сочетавший армейскую подготовку с курсом лекций по "введению в науку". Выпускник Брайтонского колледжа, небольшой школы на юго-востоке, Тони происходил из солидной буржуазной семьи и до армии работал клерком-практикантом в юридической фирме. Небольшого роста, не красавец, Тони, по его собственным словам, которые он произнес шестьюдесятью годами позже, компенсировал свои физические недостатки на танцах. Родился он в 1926 году и был немного моложе Маргарет.

Вероятно познакомились они на круглом столе, организованном МКО в отеле "Рэндолф" осенью 1944 года. Маргарет показалась Тони "очень вдумчивой и интересной собеседницей. Наверное, этим она меня и привлекла. С ней можно было говорить на любую тему". Большое впечатление на него произвел и ее политический энтузиазм — "совсем необычный для девушки". Как и Тони, она была "настоящим консерватором старой школы". Не осталась незамеченной и ее внешность: "Симпатичная, пухленькая, но хорошо сложенная. Тогда никто не считал, что в этом есть что-то зазорное". Ему нравились ее "красиво уложенные темные волосы (Я бы сказал ей, что не люблю блондинок, если бы она подкрасила их в годы нашего общения)". Она "одевалась элегантно, но не по последней мо-

де". Еще он ощутил в ней "какую-то отчужденность", которая сыграла определенную роль в том, что они "сошлись".

В то время было не принято демонстрировать отношения, не делали этого и Маргарет с Тони. Ни у кого из университетских друзей не осталось в памяти, что они были близки. Сблизились они как-то исподволь, приглашали друг друга на чай, и Маргарет, оказавшаяся "отличной хозяйкой", сама пекла к чаю булочки. Тони считал ее чересчур серьезной, "немножко синим чулком", но ценил за начитанность и любовь к музыке. Она даже пригласила его на "Страсти по Матфею", где пела в хоре. "Она говорила, что думала", и эту ее прямоту Тони очень ценил. Примерно в то же время, когда он подарил ей гвоздику, в канун Рождества 1944 года, Маргарет преподнесла ему "Золотую сокровищницу" Пэлгрейва[1], с которой Тони не расставался, пока не потерял во время переезда сорок лет спустя. По тому, как Маргарет целовалась, он сделал вывод, что до него она не подпускала ни одного мужчину и на пушечный выстрел, но ласки доставляли ей удовольствие. Тем не менее молодые люди, следуя правилам того времени, дело до постели не довели.

Узнав Маргарет ближе, Тони — сын весьма состоятельных родителей — заметил, "каких трудов стоит оплачивать ее учебу в университете"; она "не стыдилась своего происхождения", но и "не упоминала о нем без необходимости". Помимо горячего желания преуспеть он обнаружил в ней кое-что еще: "Не будучи по характеру общительной, она любила находиться среди людей... Ее саму удивляло, как легко она чувствует себя в обществе". Им с Тони было весело вместе.

С первой любовью пришло и ощущение открывающихся перед ней возможностей. Маргарет с оптимизмом смотрела в будущее, что видно из ее тогдашних писем к Мюриел. Тон ее высказываний, обычно язвительный или будничный, поменялся. 25 марта 1945 года, собираясь в Грантэм на пасхальные каникулы, Маргарет в деталях описывала сестре все танцевальные вечера, на которых бывала. С войной прервалась традиция летних балов, но с предчувствием близкой победы у студентов вновь проснулось желание веселиться. В марте Маргарет побывала на пяти вечеринках. Бал в отеле "Рэндолф" был первой — и лучшей: "Мы чудесно провели время... Тони нанял машину, и мы поехали в Абингдон, в деревенскую

1. "Золотая сокровищница английской поэзии" — антология, составленная английским поэтом и критиком Фрэнсисом Тернером Пэлгрейвом в 1861 г.

гостиницу “Корона и Свисток”. Мне удалось одолжить восхитительную бархатную накидку, которая идеально подходила к синему платью”. Тони подарил ей букет из восьми гвоздик “присланных из Лондона. Джин и Мэри в один голос сказали, что с цветами в высокой прическе я выгляжу сногсшибательно. Я ощущала себя королевой мира, когда мы шли через зал ‘Короны и свистка’, и все на нас глазели”. С дотошностью человека, пережившего военные лишения, Маргарет подробно описала, что́ они ели и пили: “Перед ужином мы выпили в баре джина с грейпфрутовым соком. На ужин был чудесный, густой суп-пюре, а на сладкое — шоколадный десерт. Мы пили ‘Муссек’. Если ты не в курсе, это — шампанское”.

Когда в четверть девятого они добрались до отеля “Рэндолф”, “веселье было в самом разгаре... Великолепно украшенный бальный зал освещался с галерей огромными цветными лампами. Гостей собралось столько, что не то что танцевать — протиснуться было невозможно. Вскоре после нас приехала герцогиня Мальборо, она мне очень понравилась. Напитки подавали замечательные. Я бы сказала, что это самый роскошный бал, на котором мне довелось побывать”. Около шестидесяти лет спустя Тони не забыл, как покупал гвоздики у лондонского флориста Мойзеса Стивенса. Напоминание о синем платье Маргарет заставило его разрыдаться: “Да, это был особенный вечер”.

Следующим вечером на танцах в “Соммервилле” Маргарет была в том же наряде. (“Цветы еще не завяли”.) “Мы встретили еще две пары, и те и другие — консерваторы... и отлично провели время”. На следующей неделе последовали три вечеринки в колледжах: в “Вустере” “было очень весело”, в “Уодхэме” — “немного походило на балаган”, а на танцы в “Мертоне” Маргарет надела “зеленое креповое платье”.

По окончании триместра Тони пригласил ее поехать с ним на один день в Лондон. Они выпили кофе в кафе “Фуллерз” на Риджент-стрит, пообедали в “Дорчестере” (“отель, как выяснилось, далеко не идеальный”), побывали на утреннике “Ночь в Венеции” Штрауса в театре “Кембридж” и на танцах в отеле “Пикадилли”, после чего Маргарет села на поезд до Грантэма, а Тони вернулся в Оксфорд. Девушке, не привыкшей к развлечениям, этот день запомнился надолго.

А еще ей показалось, что этот лондонский день повлечет за собой какой-то серьезный шаг, хотя в своих письмах Маргарет редко описывала сестре свои чувства. В том же послании она пишет: “С головой ушла в подготовку к следующим выходным. Надеюсь, все пройдет хорошо”. Маргарет приглашает Тони погостить в квартире ее родителей над продукто-

вой лавкой. Этого бы не случилось, если бы Маргарет рассматривала отношения с Тони как несерьезные; она знала, что ее родители, люди строгие, не привыкшие к гостям и бдительно оберегавшие дочерей от случайных связей, усмотрят в визите Тони предвестие очень важного события.

Те же мысли посещали и Тони и по правде немного его тревожили. В старости он вспоминал, что они с Маргарет никогда не говорили о свадьбе. Опыт юриста научил его быть очень осторожным с такими разговорами из-за сохранившейся с времен королевы Виктории возможности попасть под суд за "нарушение брачного обещания". В представлении Тони они с Маргарет были всего лишь "юношей и девушкой, которым нравилось проводить время вместе". В таком отношении со стороны восемнадцатилетнего парня не было ничего удивительного, но Маргарет, вероятно, рассчитывала на нечто большее.

В любом случае, визит Тони в Грантэм прошел "вполне пристойно", но не более того. Альфред Робертс показался парню "суровым", "безупречно правильным", верующим человеком; Беатрис же отнеслась к молодому человеку "по-матерински". Лавку он назвал "очень скромным заведением". В воскресенье Тони вместе с Робертсами ходил на службу в методистскую церковь. Уик-энд получился не слишком запоминающимся.

Сразу после этого им пришлось расстаться. В апреле Тони закончил шестимесячный курс в Оксфорде и уехал в армию. Его направили на тренировочную базу Бовингтон в Дорсете. 19 апреля 1945 года, за неделю до дня рождения Гитлера в берлинском бункере, Маргарет написала Мюриел, как они с Тони переписывались: "Письмо обычно приходит утром во вторник... Он пишет, что на базе много странных людей, но, к счастью, его взвод сформирован из оксфордских кадетов". И добавляла, что Тони приходится много работать: "В субботу они свободны с двух часов дня, но на практике им нужно столько всего переделать, что это вряд ли можно назвать свободным временем. Воскресенье у них тоже якобы выходной: в прошлое воскресенье Тони провел все утро за чисткой картошки!" Война в Европе закончилась 8 мая 1945 года.

Месяц спустя Тони отправился из Бовингтона в другой тренировочный лагерь, после чего переезжал с одной военной базы на другую, время от времени возвращаясь в Бовингтон. Через год после зачисления в Пятый Королевский Драгунский полк он не получил назначение в Германию. В это время он присылает Маргарет свою фотографию в форме с

дарственной надписью, однако в течение следующего года стал писать нерегулярно, пока не перестал совсем. Отослав Тони несколько писем, в которых упрекает друга в молчании, Маргарет так встревожилась, что даже написала его матери, с которой не была знакома. Та ответила, что ничего страшного не произошло. Просто Тони решил дать отношениям "перевести дух", но сообщать об этом Маргарет его мать, естественно, не стала.

Мюриел считала, что за объяснением далеко ходить не надо. По мнению сестры, сноб Тони пришел к выводу, что ее семья недостаточно хороша для него. Сам же Тони, как нетрудно догадаться, придерживался другой версии. Он согласился, что родители Маргарет, их домашний уклад заставили его задуматься, но поводом для расставания стало вовсе не относительно скромное финансовое положение Робертсов. Его напугали царившие в доме строгие, аскетические нравы. Он жаждал веселья и развлечений, и он их нашел. Второе пришествие в Бовингтон ознаменовалось для Тони знакомством с местной девушкой по имени Пруденс, "жизнерадостной, общительной, хорошенькой". А после назначения в Германию он и вовсе потерял голову; еще бы — кавалерийский полк, зеленые бриджи, и все прочее. Двадцатилетний Тони не стремился связывать себя обязательствами.

А что же Маргарет? На все расспросы она отвечала, покривив, что естественно, душой, что ни с кем до Дениса Тэтчера не встречалась. Позже, в ответ на прямой вопрос о Тони, она подтвердила вышеизложенную историю, но в детали вдаваться не стала. После его исчезновения Маргарет не подозревала, что он возникнет в ее жизни еще раз, но это случилось уже после окончания Оксфорда. В последние два года учебы она могла похвастаться лишь отсутствующим бойфрендом, который отказывался с ней общаться, пока время не перевело его в категорию бывших. За год до окончания, когда Тони исчез окончательно, она увлеклась Нилом Финдлеем. В Оксфорде Маргарет добилась успеха, получила диплом, поднялась на самый верх местной консервативной политической иерархии и обзавелась знакомствами, чрезвычайно полезными для ее дальнейшей карьеры. Но когда летом 1947 года, закончив Оксфорд, Маргарет отправилась на поиски работы, она была ничуть не менее одинока, чем в день поступления в университет.

Олдос Хаксли

Фантазии на тему Эль Греко

Перевод с английского Ксении Атаровой

Удовольствие неведения по-своему не меньшее, чем удовольствие знания. Потому что хоть свет и благо, хоть способность расположить все окружающие нас предметы по категориям внутри упорядоченной и понятной системы приятна — не менее приятно иногда оказаться во тьме, приятно время от времени поразмышлять, в легком замешательстве, о мире, который неведение низвело до некоего количества совершенно не связанных друг с другом явлений, разбросанных, подобно множеству неизведанных фантастических островков, в огромном океане непостижимого. Для меня одна из величайших прелестей путешествия заключается в редчайшей возможности побаловать себя роскошью неведения. Я не из тех сознательных путешественников, которые, прежде чем посетить новую страну, будут неделями заниматься зубрежкой ее географии, экономики, искусства и литературы. Я предпочитаю, во всяком случае во время первых приездов, оставаться совершенно невежественным туристом. Только позднее, когда мое невежество теряет свою первозданную свежесть, начинаю я читать то, что разумный турист должен знать на зубок еще до покупки билетов. Я читаю — и сразу же мои разрозненные странные и таинственные впечатления начинают обретать смысл, мои путаные воспоминания складываются в гармоничный узор. Удовольствие неведения уступает место удовольствию познания.

В Испании я был только дважды — недостаточно, так сказать, чтобы устать от неведения. Я все еще получаю удовольствие от своих смутных представлений обо всем, что находится между Пиренеями и мысом Трафальгар. Еще два-три приезда, и я созрею для похода в Лондонскую библиотеку, чтобы найти слово “Испания” в предметном каталоге. В одной из многочисленных, пожалуй, слишком многочисленных, книг, представленных там, я, несомненно, найду объяснение одной маленькой тайны, которая занимает, а порой и мучит меня вот уже несколько лет, — с тех пор как однажды, на выставке в Бёрлингтон-хаусе, я впервые увидел одну из вариаций картины Эль Греко “Сон Филиппа II”.

Это любопытная многофигурная композиция: в центре,

© Aldous Huxley, 1931
© Ксения Атарова. Перевод, 2015

на переднем плане, король в костюме и перчатках, похожий на гробовщика в чернильно-черном, преклонил колени на пухлой подушке; слева, за ним, — толпа коленопреклоненных молящихся: и мирян, и церковников — все явно благочестивы, смотрят в небо, где толпятся вальсирующие ангелы, воплощения главных добродетелей и библейские персонажи — все столпились в центре вокруг распятия и светящейся монограммы Спасителя. С правой стороны — гигантский зевок огромного кита и целая толпа, судя по всему проклятых, спешит (несмотря на все, что мы с детства знаем об анатомии китов) в его алую глотку. Эта любопытная, повторяю, картина как произведение искусства не слишком хороша; у Эль Греко есть немало лучших работ даже в том же раннем периоде. Однако я питаю к ней особую слабость, несмотря на всю ее посредственность. Мне она нравится по, увы, еретической для нашего времени причине — меня интересует ее сюжет. А сюжет ее интересует меня, так как я не понимаю, что это за сюжет. Этот сон короля Филиппа — о чем он? Был ли он визуальным предчувствием Страшного суда? Или мистическим прозрением Небес? Или обнадеживающим видением расправы Всевышнего с еретиками? Я не знаю — и сейчас даже не желаю знать. Перед лицом столь буйной фантазии Эль Греко удовольствие неведения особенно остро. Глядя на таинственного кита, на короля-гробовщика, на парение бесплотных святых, на торопливость грешников, я даю свободу фантазии и явно упиваюсь удовольствием от недоуменного неведения.

Из всего, что приходит в голову, мне больше всего нравится такая фантазия: странная картина была написана как пророческая и символическая автобиография, она должна была в зашифрованной форме передать все дальнейшее развитие Эль Греко. Потому что кит на переднем плане в правом углу — этот прадедушка Моби Дика, с его мощным зевом, багровой глоткой и толпой грешников, спускающихся, как банковские служащие в метро в шесть часов, — этот кит, повторяю, — самая важная автобиографическая деталь во всем раннем творчестве Эль Греко. Ведь куда им суждено попасть, этим торопливым грешникам? “Вниз по красной тропинке”, как говорили наши няни, когда уговаривали нас проглотить несъедобную пищу детства. Вниз по красной тропинке в мрачный ад желудка. Вниз, короче говоря, в эту странную и довольно страшную вселенную, в которую дух Греко погружался с возрастом все полнее. Потому что в критских позднейших картинах каждый персонаж — это Иона. Да, именно каждый. И вот тут мы видим, что “Сон Филиппа II” — не столько пророческий, сколько ущербный символ. Ведь кит открывает свой зев лишь для грешников. Если б Эль Греко хотел рассказать всю правду о своем дальнейшем развитии, он послал бы и праведников туда же либо снабдил бы святых и анге-

лов их собственным монстром, небесным китом, плавающим в облаках вниз головой, с еще одной красной тропинкой, прямой и узкой, ведущей к проглоченным Небесам. Рай и Чистилище, Ад и даже земная жизнь — все это у Эль Греко в период его творческой зрелости, каждая частичка Вселенной, — располагалось в брюхе кита. Его Благовещения, Успения, Страсти, Преображения, Распятия, Мученичества и Стигматизация — все они, без исключения, связаны с нутром. Небо — всего лишь Черная дыра, и даже сам Господь Бог проглочен китом.

Критики пытались объяснить патологическую боязнь открытого пространства в творчестве Эль Греко обучением, полученным на Крите еще в молодости. Они уверяют нас, что в его картинах нет пространства, потому что типичное византийское искусство, на котором духовно вырос Эль Греко, — мозаика — не знает глубины. Объяснение благовидное, единственным его недостатком является то, что оно совершенно неверное. Начать с того, что неправильно утверждать, будто в византийской мозаике совсем нет глубины. В потрясающих мозаиках Омейядской мечети Дамаска, к примеру, не меньше пространства и воздуха, чем в пейзажах импрессионистов. Они, правда, — исключение в этом виде искусства. Но даже обычные мозаики с замкнутым пространством не имеют ничего общего с картинами Эль Греко, потому что византийские святые и монархи заключены или, точнее, плоско инкрустированы в двумерные абстракции — в чисто эвклидовы геометрические золотые либо голубые небеса. Их универсум ни в малейшей степени не напоминает утробу кита, где каждый из персонажей Эль Греко предстает ужасным мистическим существом. Мир Эль Греко нельзя назвать плоским; в нем есть глубина — просто ее очень мало. Именно это делает его таким тревожным миром. В своих двумерных абстракциях персонажи византийских мозаик чувствуют себя, как дома; они привыкли к своему окружению. Но объемные, трехмерные, предназначенные для просторного универсума люди Эль Греко заперты в мире, где хватит места разве что для кошки. Они в темнице, хуже того, они — в темнице желудка. Ведь все, что их окружает — животного, органического происхождения. Тучи, скалы, драпировки мистическим образом превращаются в слизь, кожу, мускулы, брюшину. Небеса, к которым восходит граф Оргаз, подобны космической операционной, где вырезают аппендикс. Мадридское "Воскресение" — это воскресение в пищеварительном тракте. А от более поздних картин остается грустное впечатление, будто все персонажи, земные и небесные, подвергаются процессу пищеварения и постепенно поглощаются своим висцеральным окружением. Даже в мадридском "Воскресении" в форме и текстуре обнаженной плоти есть что-то от внутренностей. В случае с обнаженными телами в "Лаокооне" и в "Снятии седьмой печати" (обе картины позднего периода) этот процесс поглощения

зашел значительно дальше. Обнаружив, что драпировки и окружающий их ландшафт постепенно гидролизуются и трансформируются, бедные Ионы из Толедо с ужасом видят, что и сами они подвергаются процессу переваривания. Их тела, их руки, ноги, лица, пальцы теряют свой человеческий облик и становятся — процесс медленный, но неумолимый — частью внутренней работы чрева кита. Им еще повезло, что Эль Греко вскоре умер. Еще двадцать лет — и Троица, и весь синклит святых, и все человечество оказалось бы низведено до еле различимого нароста на гигантских внутренностях. Наиболее удачливые могли бы в лучшем случае оказаться ленточными червями или глистами-сосальщиками.

Что касается меня, я очень сожалею, что Эль Греко не дожил до возраста Тициана. В восемьдесят или девяносто лет он создавал бы почти абстрактные картины — кубизм без кубов, органический, исключительно желудочный. Какие бы это были полотна! Великолепные, волнующие и глубоко отвратительные. Ведь отвратительны и картины, которые он создавал в среднем возрасте, несмотря на свою исключительную мощь и красоту. Эта проглоченная вселенная, которую он нам представляет, — одно из самых тревожащих созданий человеческого ума. И одно из самых загадочных. Ведь по какой причине Эль Греко отправляет все человечество вниз по красной тропинке? Что заставляет его низвергнуть Бога с его бескрайних небес и засадить во чрево кита? Можно только гадать. Я уверен лишь в том, что для появления кита были более глубокие и важные причины, чем память о мозаиках — совсем не утробных мозаиках, — которые он мог видеть в детстве на Крите или в юности в Венеции и Риме. И дело тут не в болезни глаз, как утверждают некоторые, не это определило его странное художественное развитие. Болезнь должна стать уж очень тяжелой, прежде чем полностью слиться со своей жертвой. Что на людей влияют болезни, это совершенно очевидно; но очевидно и то, что, если только люди не доведены до крайности, они не исчерпываются суммой своих недугов. Достоевский не был просто воплощением эпилепсии. Китс не исчерпывается туберкулезом легких. Люди пользуются своими болезнями ничуть не меньше, чем болезни пользуются людьми. Вполне возможно, что у Эль Греко было не все в порядке с глазами. Однако и у других бывает подобное, но они не пишут такие картины, как "Лаокоон" или "Снятие седьмой печати". Глупо говорить, что у Эль Греко были просто дефекты зрения; он был человеком, который воспользовался дефектами зрения.

Воспользовался, а с какой целью? Какое странное восприятие мира выразить, какую мистическую философию? Трудно сказать. Ведь Эль Греко принадлежит к метафизикам (любой значительный художник — метафизик, предлагающий свои принципы красоты и теории формы) хорошо известной нам

школы. Самое большее, что можно сказать в плане классификации, — это что, подобно большинству художников эпохи барокко, он верил в истинность экстаза, в иррациональное, в сверхчувственный опыт, из которого, как из сырого материала, разум лепит богов или многочисленные атрибуты Бога. Но экстатический опыт, художественно выраженный и пережитый Эль Греко, был совсем иным, чем опыт, описанный и символически "рационализированный" в живописи, скульптуре и архитектуре великих барочных художников seicento. Эти создатели "массовой" духовности, иезуиты, довели до совершенства немудреную технику фабрикации ортодоксального экстаза. Они удешевили этот опыт, который до того был доступен только духовно здоровым людям, и сделали его всеобщим достоянием. То, что итальянские художники seicento воспроизвели в таком изобилии и с таким блеском, и был этот удешевленный опыт и метафизика в терминах, которые было возможно рационализировать. "Святая Тереза для всех", "Иоанн Креститель в каждый дом". Такими были, или могли бы быть, их лозунги. Так неужели удивительно, что их возвышенность — несколько театральна, их нежность приторна, их духовная интуиция банальна и вульгарна? Даже величайшие из барочных художников не отличались особой духовной утонченностью.

Со всеми этими легковесными экстазами и ортодоксальной контрреформистской теологией, в терминах которой они могут быть истолкованы, Эль Греко не имеет ничего общего. Яркие утешительные Небеса, улыбающиеся или слезливые, но всегда чересчур человекоподобные божества, ходульная безмерность и ходульная таинственность — все эти шаблоны seicentisti, отсутствуют в его картинах. В них есть экстаз и пламенная устремленность, но это экстаз и устремленность, как мы видели, внутри чрева кита. Кажется, что Эль Греко все время говорит о физиологических корнях экстаза, а не о его духовных цветках; об изначальных материальных факторах сверхчувственного опыта, а не об их ментальных производных. Как бы они ни были банальны, барочные художники были сосредоточены на цветке, а не на корне, на производном и его теологическом объяснении, а не на грубых фактах непосредственного физического опыта. Не то чтобы они не подозревали о физиологической природе этих первичных факторов. Удивительная "Святая Тереза" Бернини демонстрирует это самым недвусмысленным образом; и интересно отметить, что в этой скульптуре (в той же мере, как и в не менее удивительной "Людовике Альбертони" в церкви Сан-Франческо-а-Рипа[1]) он придает драпировкам какую-то, я бы сказал, органическую живость и сладостность форм. У Эль Греко слегка смягченная, приглаженная

1. Речь идет об алтаре (1672–1674) работы Лоренцо Бернини, посвященном Блаженной Людовике Альбертони в церкви Сан-Франческо-а-Рипа в Риме.

и упрощенная роба великой святой стала бы неотличимой от окружающего проглоченного пейзажа во чреве кита. Бернини спасает ситуацию (с контрреформаторской точки зрения), включив в композицию фигуру замахнувшегося дротиком ангела. Это юное небесное создание — обитатель непроглоченных небес. Он несет в себе допущение бесконечного пространства. Очаровательно и немножко нелепо (в руке, держащей дротик, мизинец изящно отогнут, как у претенциозной девицы, приподнимающей чашку чаю) ангел символизирует духовный цветок экстаза, физиологическим корнем которого является святая Тереза в своей перитонитной робе. Бернини, в духовном плане, был plein-airiste[1].

Не таков Эль Греко. Для него нет ничего, существующего вне кита. Первичный физиологический факт религиозного опыта является для него и конечным фактом. Он последовательно остается на уровне этого утробного сознания, которое мы так решительно игнорируем, но которое столь многое определяло в чувствах и мыслях наших предков (чему свидетель их язык). “Где ревность Твоя и могущество Твое? Благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны”, “Повернулось во Мне сердце Мое; возгорелась вся жалость Моя”, “Благодарю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя”, “Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей”, “Не дорогой ли у Меня сын Ефрем?.. внутренность Моя возмущается за него”. В Библии много таких фраз — фраз, которые задевают современного читателя как странные, грубые, даже отталкивающие. Мы привыкли считать, что думаем исключительно головой. Ошибочно, как показали физиологи. Потому что то, что мы думаем, чувствуем и чем мы являемся, в значительной степени определяется состоянием наших желез внутренней секреции и нашей брюшной полости. Псалмопевец прислушивающийся к совету своих чресел, апостол с его томлением плоти — в полной мере находятся на уровне течений современной физиологии.

Эль Греко жил в те времена, когда реальность первичного утробного сознания все же была признаваема, когда сердце и печень, селезенка и почки влияли на все восприятие человека и четыре гумора крови, флегмы, желтой и черной желчи определяли его характер и отвечали за смену его настроений. Признавалось, что даже высочайший опыт изначально физиологичен. Тереза познала Бога через утонченную боль в сердце, в боку, в желудке. Но в то время как Тереза, а вместе с нею и большинство человечества, считала естественным переместиться из области физиологии в область духа — вон из чрева кита, под бескрайнее небо, — Эль Греко упрямо настаивал на пребывании в проглоченном состоя-

1. Художник, работающий не в мастерской, а на открытом воздухе, при естественном освещении.

нии. Все его размышления были связаны с религиозным опытом и экстазом — но религиозный опыт был всегда чисто физиологическим, а экстаз — всегда первичным, непосредственным, утробным. Он выражал свои размышления в христианских символах — символах, которые обычно используются для описания состояний, весьма отличных от изначально физиологических, в которых он привык пребывать. Этот контраст между символами в их современном значении и их особым, личным использованием, как это делал Эль Греко, — именно этот странный контраст и придает картинам Эль Греко особый тревожный характер. Ведь христианские символы напоминают нам обо всем просторе духовного пространства — пространства альтруистических чувств, отвлеченных мыслей, свободно парящего духовного экстаза. А Эль Греко заточил их, замкнул во внутренностях рыбы. Символы открытого духовного пространства принуждены служить языком, которым он говорит о близости непосредственно утробного познания, об экстазе, уничтожающем индивидуальную душу не тем, что приобщает ее ко вселенской бескрайности, а тем, что тянет ее вниз, топит в теплой, пульсирующей, дрожащей телесной тьме.

Что ж, я далеко ушел в своих фантазиях от короля-гробовщика и его загадочных ночных кошмаров про китов и Ион. Но блуждание воображения — это привилегия невежд. Когда не знаешь, ты свободен сочинять. Я воспользовался предоставленной возможностью. В один прекрасный день я могу узнать, о чем эта картина, и, когда это произойдет, я уже не буду вправе навязывать собственные интерпретации. Критика, опирающаяся на воображение, — это по большей части искусство неведения. Только потому, что мы не знаем, что́ писатель или художник хотел сказать, мы вправе состряпать собственное объяснение. Если бы Эль Греко четко сказал, что́ он хотел выразить, рисуя черные дыры и слизистые выделения, я не смог бы сейчас рассуждать об этом. Но, к счастью, он ничего об этом не сказал; и я вправе дать разгуляться своей фантазии.

Ксения Атарова

Фантазии на тему Олдоса Хаксли

"Если бы Эль Греко четко сказал, что́ он хотел выразить, рисуя черные дыры и слизистые выделения, я не смог бы сейчас рассуждать об этом. Но, к счастью, он ничего об этом не сказал; и я вправе дать разгуляться своей фантазии".

А сейчас мне хочется дать разгуляться *моей* фантазии (ведь я никогда не изучала всерьез творчества Олдоса Хаксли!) и пофантазировать о писателе, который такими увидел картины Эль Греко.

Один из персонажей романа "Контрапункт", писатель Филип Куорлз, не alter ego автора, но все же наиболее близкий ему из персонажей этого многофигурного романа, про который можно сказать словами Теккерея – "роман без героя", – сделал в своем дневнике такую запись: "...мой романист будет зоологом-любителем. Или лучше зоологом-профессионалом, который в свободное время пишет роман. Он подходит ко всему строго биологически. Он постоянно переходит от муравейника к гостиной и фабрике и обратно. Для иллюстрации человеческих пороков он находит аналоги у муравьев, которые забрасывают своих детенышей ради того, чтобы опьяняться выделениями тлей, забирающихся в муравейник. Его герой и героиня проводят медовый месяц у озера, где утки и гагары иллюстрируют все фазы ухаживания и брачной жизни. Наблюдая за привычным и почти священным 'порядком клевания', установившимся на птичнике, <...> политический деятель размышляет о католической иерархии и фашизме. Клубок совокупляющихся змей напоминает развратнику о его оргиях[1]".

Но и у самого Хаксли текла в жилах кровь его деда – знаменитого биолога Томаса Гексли.

Он увидел в Эль Греко то, что в виде навязчивых образов пребывало в его собственном сознании, точнее подсознании, образов, к которым он возвращался в связи с разными персонажами романа "Контрапункт".

Это он пишет про Марджори Карлинг: "Через шесть месяцев у нее родится ребенок. То, что было отдельной клет-

1. Отрывки из романа цитируются по изданию: Олдос Хаксли. Контрапункт / Перевод И. Романовича. – М.: Радуга, 2000. – (Серия: Мастера современной прозы).

© Ксения Атарова, 2015

кой, группой клеток, кусочком тканей, чем-то вроде червя, потенциальной рыбой с жабрами, шевелилось внутри ее и готовилось стать человеком — взрослым человеком, страдающим и наслаждающимся, любящим и ненавидящим, мыслящим, знающим. То, что было студенистым комком внутри ее тела, придумает себе бога и будет поклоняться ему; то, что было чем-то вроде рыбы, будет творить и, сотворив, станет полем брани между добром и злом; то, что жило в ней бессознательной жизнью паразитического червя, будет смотреть на звезды, будет слушать музыку, будет читать стихи. Вещь станет индивидом, крошечный комок материи станет человеческим телом с человеческим сознанием. Поразительный процесс созидания происходил внутри ее; но Марджори ощущала только тошноту и усталость". И позднее: "Клетка размножилась и стала червем, червь стал рыбой, рыба постепенно превращалась в зародыш млекопитающего. Марджори чувствовала тошноту и усталость. Через пятнадцать лет мальчик пойдет на конфирмацию. Огромный в своем облачении, как судно в полной оснастке, епископ скажет: 'Повторяешь ли ты здесь, в присутствии Бога и собравшихся людей, торжественное обещание, данное от твоего имени при твоем крещении?' И бывшая рыба ответит со страстным убеждением: 'Да'"

А это про совсем далекого от нее персонажа, лорда Эдварда Тентемаунта: "'Жизнь животного есть лишь частица общей жизни вселенной'. <...> Кусочки животных и растений становятся человеческими существами. То, что было некогда задней ногой барана и листьями шпината, станет частью руки, которая написала, частью мозга, который задумал медленные ритмы симфонии 'Юпитер'. А потом настал день, когда тридцать шесть лет удовольствий, страданий, голода, любви, мыслей, музыки вместе с бесчисленными неосуществленными возможностями мелодии и гармонии удобрили неведомый уголок венского кладбища, чтобы превратиться в траву и одуванчики, которые в свою очередь превратятся в баранов, чьи тела в свою очередь... Все это очень просто, но для лорда Эдварда это было откровением. <...>

'Может быть, когда я был в Вене в прошлом году, я поглотил часть субстанции Моцарта. Может быть, со шницелем по-венски, или с сосиской, или даже со стаканом пива. Приобщение, физическое приобщение. Или тогда, на замечательном исполнении 'Волшебной флейты', — тоже приобщение, другого рода, а может быть, на самом деле такое же. Пресуществление, каннибализм, химия. В конце концов все сводится к химии. Бараньи ноги и шпинат... все это химия'".

А это размышления Элинор Куорлз о ее маленьком сыне Филе: "Перед ней ее ребенок, но в то же время в нем Филип, в нем она сама, в нем Уолтер, ее отец, ее мать, а теперь, когда он поднял подбородок, в нем неожиданно проступил жалкий мистер Куорлз. В нем могут быть сотни других лю-

дей. Могут быть? Они есть в нем. В нем тетки и двоюродные сестры, с которыми она почти никогда не виделась; деды и бабки, которых она знала в детстве, а теперь совершенно забыла; предки, умершие давным-давно, и так до начала времен. Целая толпа чужих людей населяла и формировала это маленькое тело, жила в этом мозгу и управляла его желаниями, диктовала ему мысли — и еще будет диктовать, и еще будет управлять. Фил, маленький Фил — это имя было абстракцией, условным обозначением, вроде имени 'Франция' или 'Англия', именем целого коллектива, вечно меняющегося, состоящего из бесконечного количества людей, рождавшихся, живших и умиравших внутри его, как рождаются и умирают жители страны, составляющие одно целое — народ, к которому они принадлежат. Она посмотрела на ребенка с каким-то ужасом".

Во всех трех описаниях есть нечто, сближающее их не только друг с другом, но и с эссе Хаксли об Эль Греко. В представлении Хаксли испанский живописец смотрел на мир примерно, как лорд Эдвард Тентемаунт.

Персонажи Хаксли в большинстве своем, люди искусства: писатели, музыканты, художники. В "Контрапункте" даже два художника. Руссоист Марк Рэмпион, ненавистник современной машинной цивилизации, прославляет здоровую чувственность "естественного человека". Критики полагают, что прототипом этого образа послужил друг Хаксли, писатель Дэвид Лоуренс, создатель скандального "Любовника леди Чаттерлей". Хаксли вводит в текст романа подробные описания его рисунков. "Рисунок изображал Иисуса с повязкой на бедрах, как в день казни, и хирурга в халате со скальпелем в руке; они стояли по бокам операционного стола, на котором ногами к зрителю был распят вскрытый мужчина. Из отвратительной раны в его животе свисал клубок внутренностей, которые, падая на землю, переплетались с внутренностями лежащей на переднем плане женщины и аллегорически превращались в целый выводок змей. На заднем плане тянулись гряды холмов, покрытых черным пунктиром угольных шахт и фабричных труб. В одном углу рисунка, позади фигуры Иисуса, два ангела — духовный продукт стараний вивисекторов — пытались подняться на распростертых крыльях. Тщетно: их ноги запутались в клубке змей. Несмотря на все свои усилия, они не могли оторваться от земли".

Другой рисунок того же автора: "Он вынул один из рисунков. — Это я называю 'Ископаемые прошлого и ископаемые будущего'. — Он протянул Барлепу рисунок, исполненный тушью и акварелью, исключительно острый и живой. Сверху вниз по диагонали двигалась в виде буквы S причудливая процессия чудовищ. Динозавры, птеродактили, титанотерии, диплодоки, ихтиозавры шли, плыли, летели в арьергарде процессии; авангард состоял из человекообразных чудовищ, большеголовых тварей без туловищ, кото-

рые ползли, как слизняки, на бесформенных, расплывчатых отростках, выходивших из подбородка и шеи. У них были лица знаменитых современников. <...>

— Ящеры погибли оттого, что у них были слишком большие тела и слишком маленькие головы, — пояснил Рэмпион. — Так по крайней мере утверждают ученые. Чрезмерный рост тела мешает правильному развитию. Ну а чрезмерный рост интеллекта? Эти дураки, видимо, забывают, что они так же непропорциональны, неуклюжи и уродливы, как любой диплодок. Они жертвуют физической и эмоциональной жизнью ради умственной. Интересно, к чему это, по их мнению, приведет?"

Такие рисунки достойны не то что Эль Греко, каким его видит Хаксли, но и Сальвадора Дали.

И как-то неубедительно, что этот интуитивист и жизнелюб избирает такие чисто головные сюжеты. Его прототип Лоуренс тоже увлекся живописью к концу жизни, но его сочные, яркие холсты совсем не похожи на графику Рэмпиона, *ителлектуально* борющегося с интеллектуальностью современного искусства. Эти рисунки — порождения фантазий Хаксли, идущие вразрез с логикой художественного образа.

Но в романе есть и другой художник — старик Джон Бидлэйк. По неоднократному упоминанию в романе его знаменитых картин серии "Купальщицы" можно предположить, что он близок импрессионистам или постимрессионистам. ("Это была веселая и радостная картина, светлая по тонам, чистая и яркая по колориту. Восемь полных купальщиц с жемчужной кожей расположились в воде и на берегах речки, образуя телами нечто вроде гирлянды, замыкавшейся сверху листвой дерева. Внутри этого кольца перламутровой плоти (потому что их лица были только смеющейся плотью: никакой намек на духовность не мешал созерцать гармонию красивых форм) виднелся бледно-яркий пейзаж — нежно-круглые холмы и облака".) По композиции это Сезанн, но по настроению и колориту — явный Ренуар. Однако в старости Бидлэйк претерпевает ту же эволюцию, которую Хаксли пророчил Эль Греко, если б тот дожил до преклонных лет. ("Что касается меня, я очень сожалею, что Эль Греко не дожил до возраста Тициана. В восемьдесят или девяносто лет он создавал бы почти абстрактные картины — кубизм без кубов, органический, исключительно желудочный. Какие бы это были полотна!") И "нежно-круглые холмы и облака" ранней картины Джона Бидлэйка превращаются на задуманном стариком предсмертном полотне в нечто, напоминающее творчество Сони Дэлоне. "Пейзаж состоял весь из бугров, изгибов и закруглений, как человеческое тело. Орбизм, ну конечно же, орбизм! Облака — это херувимские задницы, а вон тот пологий холм — гладкий живот нереиды; а Гаттенденская Пуншевая Чаша — огромный пупок; а эти вязы между передним планом и задним — большие пузатые силены, сошед-

шие прямо с картин Йорданса; а нелепые круглые кусты вечнозеленых растений на переднем плане — бесчисленные зеленые груди Дианы Эфесской. Целый урок анатомии в этих листьях, облаках и неровностях земли. Чудесно! И, черт подери, какую из этого можно сделать картину. Эти серафические ягодицы будут небесным отражением грудей Дианы; орбическая тема с вариациями; ягодицы, начинающиеся из глубины полотна, идущие вкось, к поверхности; груди, начинающиеся на поверхности, уходящие вглубь. А гладкий живот, идущий поперек полотна, по горизонтали, будет уравновешивать обе эти движущиеся диагонали; а впереди — большие силены, расположившиеся зигзагами. А на переднем плане, слева, будет силуэт края веллингтонии, мысленно перенесенной сюда нарочно для того, чтобы остановить движение, не дать ему вырваться за пределы картины; а справа поместится каменный грифон; композиция должна быть замкнутой: маленькая вселенная, за пределы которой не смеет удаляться воображение. Взгляд будет смотреть словно сквозь воображаемый туннель, он не сможет удалится от фокуса картины — от центра огромного пупка Гаттенденской Пуншевой Чаши, вокруг которой гармонично расположатся все части божественного тела. 'Черт побери! — сказал Джон Бидлэйк самому себе, выражая этим ругательством подъем духа, — черт побери!' И он принялся писать в каком-то исступлении".

Возможно, по задумке автора, предсмертная картина Бидлэйка представляет собой контрапункт к рисункам Марка Рэмпиона. Возможно. Но мне видится — и это уже *моя* фантазия — нечто глубинно общее в восприятии мира персонажами "Контрапункта" и персонажем эссе об Эль Греко, причем это глубинно общее определяется фокусом зрения самого Олдоса Хаксли.

Александр Мелихов
Демократия и мертвецы

Матей Вишнек (р. 1956) — румынский писатель, чей роман "Господин К. на воле" ("ИЛ", 2009, № 4), по словам автора, не только эхо Кафки ("Процесс" начинается с того, что Йозефа К. арестовывают, а у Вишнека Козефа Й., наоборот, выпускают из тюрьмы), но и вариации на тему его собственного шока, пережитого в 1987 году по приезде в Париж. Увы, даже в "свободном мире" невозможно освободиться от необходимости есть, пить, одеваться и согреваться. Не только телом, но и — самое сложное — душой.

Одиночество, мизерность в миру переживается так мучительно потому, что она открывает нам глаза на нашу мизерность в мироздании. От осознания которой люди и стремятся укрыться в коллективные сказки, метафизические и политические, ибо сказки индивидуальные способны защитить лишь редких счастливчиков, одержимых не черным, но светлым безумием.

Козеф Й. человек нормальный — его озадачило и оскорбило, когда пожилые охранники провезли мимо него тележку с завтраками, даже не задержавшись. Зато потом они заглянули к нему в камеру и, вместо того чтобы профилактически отметелить, принялись угощать его куревом и по-приятельски болтать о том о сем. И — "Козеф Й. не припоминал, чтобы когда-либо чувствовал такую *защищенность*. Ему хотелось умереть, чтобы остановить это мгновение навсегда".

Но — бега мгновений не остановить, хоть говори им, хоть не говори, что они прекрасны. Пока Козеф Й. отсыпается в незапертой камере, остальные отправляются работать на тюремном огороде, где им обычно удается подзаправиться горохом и фасолью. Козеф Й. чувствует себя обойденным, но выйти не решается, зовет охрану; не дозвавшись, отправляется на поиски и в лифте вдруг чувствует, что его вот-вот вырвет, однако в последний миг приятель-охранник тащит его — в клозет для охраны! Так что даже когда его выворачивает над привилегированным унитазом, узник продолжает ощущать гордость — таков был момент, когда он узнал, что уже с утра свободен.

После этого ему удается справиться с соблазном отмотать про запас побольше туалетной бумаги — сейчас "он был выше этого". Зато теперь

© Александр Мелихов, 2015

он должен был от кого-то получить инструкцию, что он должен делать, может быть, он сам должен этого потребовать, *поставить вопрос ребром,* как это водится у свободных людей. Однако поскольку ставить вопрос было не перед кем, простаки-охранники и сами в столь сложных материях явно не разбирались, свободный гражданин, пока суд да дело, решил сходить на огород, хотя смешаться с несвободными даже ради гороха все же постеснялся, так и просидел с дружками-охранниками, лузгая семечки.

Зато когда мимо его незапертой камеры во второй раз пронесли поднос с едой, он просто рассвирепел. Но тут уж и друзья ничем не могли помочь при всем сочувствии: "Вас *вычеркнули*". К счастью, в отличие от мира Кафки, в мире Вишнека государственную машину можно и обойти: на теплой кухне добродушная кухарка Розетта от пуза наливает ему какого-то комковатого варева. Хлеб без ограничений, а хлёбова можно и добавить.

На следующий день, отоспавшись в незапертой камере, Козеф Й. снова завтракает на кухне уже вполне обыденно, а затем дружки-охранники напоминают ему, чтобы он сходил на склад сменить тюремную робу на городскую "одежу" (перевод с румынского Анастасии Старостиной). Склад в воскресенье закрыт? Тоже не беда, можно пока помочь доброй кухарке с мытьем посуды ("Толстушка, но хороша"). Перед сном Козеф Й. решил побродить по территории и с негодованием обнаружил, что ворота не заперты — он почувствовал себя *ответственным*: нужно *оповестить* охрану!

Тем не менее он выглянул *наружу* и не увидел там ничего особенного: проселочная дорога, какой-то сад... Все же он не без удовольствия повалялся на карликовой травке, полюбовался хиленькой звездочкой над зданием кухни, на горизонте разглядел что-то вроде города, затем откусил от яблока, не решившись его сорвать, и засмеялся. Собственная смешливость его смутила — уж не сделался ли он дурачком?

И тут в его сердце толкнулась тревога — что-то слишком далеко он забрел, да еще в робе, что подумают люди! А могут и пристрелить...

"Когда Козеф Й. добежал до ворот и увидел, что их между тем заперли, он чуть ли не взвыл от ярости.

Разъярен он был в первую очередь на себя — за то, что дал себя *завлечь*. Слово *завлечь* показалось ему недостаточно сильным. Он дал себя просто-напросто *уволочь* самому низменному инстинкту, ребяческой иллюзии, химере. Он поставил на кон свое новое *положение,* все, что только начало наклевываться в его новом качестве свежеосвобожденного человека. Как он оправдается перед двумя старыми охранниками? Какими глазами они будут смотреть на него? Сможет ли он теперь умываться над их раковиной и есть на кухне? А Розетта — примет ли она теперь его помощь в мытье посуды?"

Возвращаясь к напечатанному

В отчаянии он бредет вдоль бесконечной стены, и, когда наконец наталкивается в темноте на сынишку Розетты, играющего с ежиком (*свой,* значит как-то можно перебраться за стену), его охватывает чувство *спасения души.*

Вишнек знает, о чем говорит: не о брюхе идет речь — о душе.

Есть такая высокопарная пошлость: либерал ценит свободу выше безопасности. Поскольку слово "либерал" абсолютно безразмерное, то можно, конечно, допустить, что кто-то из подобных титанов духа и впрямь считает себя либералом, а следовательно, таковым и является, ибо я не знаю иных критериев либеральности, кроме самоощущения. Однако римлянин, бросающийся на меч, дабы не пережить погибающей республики, спартанец, бросающийся с башни, дабы не оставаться в рабстве, — их породили общества, очень невысоко ценившие человеческую личность в сравнении с коллективными целями: именно это и воспитало в личности готовность с такой легкостью жертвовать собой. Идеология же, превыше всего ставящая индивида, не может указать ему более высокую цель, не отменив себя самое.

Ни либерал, ни консерватор, ни коммунист, ни фашист не могут прожить без защищенности экзистенциальной — без ощущения причастности к чему-то великому и бессмертному. Поэтому те "либералы", кто экзистенциально защищен своей миссией посланников цивилизации в варварской стране, кто презирает "быдло", дорожащее своим государством, уподобляются домовладельцам, презирающим бездомных, слишком уж рвущихся под крышу. Вишнек же никого не презирает: охранник, казавшийся садистом, оказывается трусом, избивавшим заключенных от страха перед ними, а толстячок-кладовщик — прямо-таки мучеником долга, изнывающим душой оттого, что порученная ему цивильная одежда зэков гниет из-за сырости, а никому до этого нет никакого дела. Тем не менее толстячок изо всех сил старается обеспечить Козефа Й. приличным костюмом, чтоб было не стыдно показаться на люди.

Козеф Й. вполне входит в проблемы тюремного персонала и даже начинает удивляться покорности заключенных: неужели любому из них можно дать по уху, и тот никак не ответит? Он решается на эксперимент, и заключенный, его преемник по пятидесятой камере, действительно никак не реагирует. Однако же, встретив в заброшенном тюремном дворе беглеца, из-за которого вся охрана давно стоит на ушах, Козеф Й. входит и в его положение: оказывается, в городе не спрячешься, а в тюрьме никто искать не станет. В итоге Козеф Й. помогает беглецу рыться в мусорном кургане, где находит массу ценных вещей: стеклянную банку, почерневшую вилку, колпачок от авторучки, рукоятку ножа и даже, с перерывом, две половинки аккордеона. "Они прекратили раскопки, когда наткнулись на труп собаки". Зато в дальнейшем

Козеф Й. взял для беглеца у Розетты черствую буханку, а также выбил у толстячка пару башмаков — получилось, в тюрьме он задержался не зря.

После чего обнаружилось, что и у беглеца имеются свои радости: где-то в подвале он разыскал бочки из-под вина и коньяка, после которых и горбушка начинает пахнуть выпивкой, если ее хорошенько потереть о внутреннюю стенку.

У охраны Козеф Й. тоже пользуется все большим доверием: охранник-садист, оказавшийся милейшим старичком, предлагает ему на пару съездить на лошади в город по делам. Сначала ему неловко за свою робу, но вскоре он обнаруживает, что она вызывает у вольняшек лишь дополнительное уважение: ишь ты, зэк, а как сумел себя *поставить*! И его мать тоже явно гордилась таким сыном, вследствие чего он начал опасаться, как бы охранники не проболтались, что он уже свободен, и перестал заходить к складскому толстячку, чтобы тот как-нибудь не навязал ему цивильный костюм.

Зато он помог прячущимся на территории тюрьмы внутренним беглецам (их оказалось много) обзавестись кайлом, лопатой и мотком веревки. После чего перед выездом в город он начал бриться похуже и поменьше спать, чтобы выглядеть "благородным, героическим и в то же время усталым и изможденным. Он был заключенный-*победитель*, а таковому негоже являться на люди с двойным подбородком и румянцем на щеках.

Он позаботился и о своей робе. Он больше не стирал ее, как раньше, и старался, чтобы она пусть и не расползлась совсем, но была откровенно рваной. Заношенное и рваное платье дополняло его образ достойного борца, который не стыдится своей боевой одежды".

А беглецы тем временем ценой лихорадочных таинственных усилий до наступления зимы пробиваются в какую-то заброшенную *Зону*, куда открывают путь и Козефу Й. "Вот вы и вступили в *свободный мир*", — однако вольноопределяющийся зэк видит "одни только развалины, ржавые рельсы, сложенные штабелями шпалы, бездействующие семафоры и следы больших бензиновых пятен". А под каким-то укрывшимся в земле бетонным куполом он находит и обитателей этого мира, человек сто, "выбравших свободу".

"От этих людей кошмарно пахло, и они были в плачевном физическом состоянии. В первую минуту Козеф Й. видел одни только головы, как бы сложенные штабелями на полках. Ушедшие вглубь орбит глаза, впалые щеки, отросшие бороды. Беззубые рты, растрескавшиеся губы, ноздри, чудовищно раздутые, как от кислородного голодания".

Старик, седой как лунь, устраивает ему экзамен, чтобы убедиться, что он действительно сидел в пятидесятой камере, и, удостоверившись, предлагает его казнить: "Человек, освобожденный *тамошними*, может быть только человеком, целиком подчиненным *тамошним*". Кто-то пытается напомнить, что Козеф Й. купил им

лопату, кайло и моток веревки, но его прерывает исступленный вопль: “К черту моток веревки!”. “Ты знаешь, что мы тут все дохнем с голоду?” — в затылок Козефу Й. кричит другой. А он когда-нибудь пытался бежать? Пусть докажет! И почему он не пришел прямо сюда, а сотрудничал с режимом?

И все-таки большинство решает принять Козефа Й. в это избранное общество! “Ошеломляющее чувство счастья проникло ему в сердце, согревая все его существо”, — отверженность повсюду трудно переносима.

Зато после вступления в сообщество обитателей “свободного мира” его начинает грызть чувство вины перед охранниками, перед толстячком, перед Розеттой...

И тем не менее в одно прекрасное утро его приглашает на прием аж сам Полковник — директор тюрьмы. Так что низший персонал уже начинает просить его замолвить и за них словцо, поведать и об их трудностях. Однако и сам Полковник нуждается в сочувствии “настоящего человека”: “Нам нет места в этом мире, господин Козеф”. Только в оранжерее, среди цветов он отдыхает душой. Хотя и там очень легко приходит в раздражение: “Никогда никому нельзя доверять. Тебе кажется, что ты гуляешь по райскому саду, а *они* отравляют воздух”.

На свете счастья нет, покоя нет, ни воли. Но в “свободном мире” еще более горячо обсуждается вопрос, до каких пределов должно доходить равенство. Да, отбросы с мусорных тачек должны делиться поровну, но окурки-то могут оставаться и в частном владении! Достаточно каждому добросовестно декларировать, *что* он подобрал и в каком количестве.

Но с усилением холодов, когда повеселевшим заключенным начинают выдавать зимнюю экипировку, независимый мыслитель “свободного мира” пророчески поднимает палец: “Зима есть самая большая трагедия нищей демократии”. Зато мы сохранили ДЕМОКРАТИЮ, нервно возражает изголодавшийся и перемерзший хранитель принципов, на что сохранивший хладнокровие прагматик предлагает взять продуктовый склад.

— Это ни в коем случае. Насилие разрушает демократию.

И вдруг главными врагами демократии сделались мертвецы, для которых после ночных заморозков приходилось долбить мерзлый грунт.

“Голоса зароптали. Зачем надо закапывать мертвых? Что, нельзя просто побросать их в пустой бассейн или в помойную яму? Нет, был ответ. Мертвых нельзя бросать. Демократия заботится о своих мертвых”.

Так родилась новая экономическая политика. “Надо было сохранить демократию. Надо было — временно — вернуться в камеры”. Но в камерах свободных мест не было. Значит, нужно было захватить несколько зэков, а на их место вернуть людей свободных (кого именно — вопрос отдельный) — охрана ничего не заметит, она различает только номера.

“Самые светлые умы приготовили веревки и кляпы для

тех, кого предстояло освободить. Для них отвели один из заброшенных подвалов. Организовали караульную службу на ту неделю, в течение которой, как сочли светлые умы, будет продолжаться *ассимиляция*.

Испытующие глаза начали терять терпение. Умы думали быстрее и быстрее. Голоса озлоблялись донельзя. 'Накопили жирку-то', — говорили голоса, когда испытующие глаза мерили взглядом зэков, ведомых на работу. 'Во щекастые', — говорили голоса. 'Во мордатые, а ручки-то нежные, розовые. А башмаки, а спецовки', — шушукались голоса. 'В какую скотину превратились, от сна прямо опухли, ни о чем думать не надо', — не унимались голоса. Голоса же самые разумные добавляли: 'С ними будет трудно, они не примут вот так, сразу, свободу, не поймут. Где им'. И говорили еще: 'Хорошо им промыли мозги, это же насекомые, это же автоматы для потребления хлеба, мы не должны знать жалости'".

И все-таки борцы за демократию обходятся с быдлом сравнительно гуманно: из десяти освобожденных только один умер, "задохнувшись от страха и от кляпа, через несколько минут после того, как был брошен в подвал, туда, где его сознанию предстояло освободиться".

Зато Козеф Й. оказался одним из тех счастливчиков, кому было дозволено ради спасения демократии временно вернуться в свою бывшую камеру.

"А при скрипе тележки, на которой, он *знал*, развозили подносы с завтраком, Козефа Й. заполонило чувство признательности. Да, есть еще гуманность на этом свете, еще возможна надежда". У Козефа Й. "дух занялся", когда настал миг встретиться глазами с дружками-охранниками. "Но их взгляды прошли сквозь него, как сквозь прозрачный предмет, отчего Козеф Й. облегченно перевел дух. Он вспомнил, что люди могут быть *номерами* и только, и это полностью его успокоило".

Роман может быть прочитан как злобный пасквиль на демократическое движение, в котором наследник Ионеско успел прилично повариться в родной Румынии; в романе можно усмотреть и обличение человеческой покорности, готовой обменять свободу на чечевичную похлебку, но в нем, возможно и бессознательно, автор сформулировал истину до крайности очевидную, однако слишком обидную, чтобы о ней помнить: чтобы служить каким бы то ни было высшим ценностям, необходимо выжить. Физически и психологически.

Необходимость есть, пить, одеваться и справляться с ужасом одиночества и бессилия перед мировым хаосом и порождает деспотизм: чем напряженнее борьба за выживание, тем большей концентрации сил она требует, а концентрация сил неизбежно приводит и к концентрации власти. Было бы слишком хорошо, если бы угнетение порождали только угнетатели, — тогда можно было бы еще надеяться, что с их уничтожением исчезнет и гнет, — но увы, борьба людей с природой и друг с другом будет неизменно поро-

ждать и подчинение, тем более жестокое, чем более жестокой будет борьба.

Если даже воля к власти и заложена в природе человека (есть, однако, народности, у которых она никак не проявляется), то уж воли к подчинению точно не существует. Зато еще более точно существует воля к выживанию, и то, что светлые умы называют бегством от свободы, есть на самом деле бегство от гибели и отчаяния (которое, впрочем, тоже лишь один из самых мучительных путей к гибели). От этой постоянно надвигающейся пропасти человечество будет бежать до самого своего конца. Тем самым, возможно, его и приближая.

Скучно на этом свете, господа...

Глеб Шульпяков
Немецкий дневник

Этот очерк возник из дневниковых записей, которые я вел в Германии в ноябре этого года. Мой маршрут пролегал с Востока на Запад — из Лейпцига в Бонн. Как сложилась жизнь тех, кто переехал в эти города из России в 90-х; чем живет город, в чем его историческая память; восточные немцы, иммигранты — как живут в эпоху "после мультикультурализма"; как воспринимают российскую политику; какой видится современная и историческая Германия глазами того, кто, как я, готов возвращаться сюда снова и снова. Дневник, фиксируя незначительные бытовые события и вещи, в своей форме пытается ответить на эти вопросы.

I. *Восток*

24.10. Москва-Лейпциг

В аэропорту прочитал письмо из издательства. "Хорошо, ты не хочешь менять название романа на коммерческое, тогда давай назовем через 'или' – 'Книга Синана, или Когда ты разбила мне сердце'". Но это невозможно, это и пошлость, и новое название. "Тогда отложим переиздание на год, может, что-то изменится". Что? Мне менять нечего.

Скорость и удобство пересадок, вообще транспорта в Германии. Каждый раз привыкаешь заново. Только что пробка в Химках, и уже Берлин, вокзал. Лейпциг. Старый полувыселенный дом с деревянными лестницами. Витражи. Незнакомая русская компания: вино, спагетти, сигареты. Разговоры ни о чем, кто-то бренчит на гитаре. На экране "Дортмунд" проигрывает "Ганноверу". Ощущение, что попал в провинцию или в студенческое общежитие. Вышел, а через 20 лет вернулся. Но никакой трагедии, всем хорошо.

Я: "Ладно, поеду. Еще ничего не видел".

"Ближайший трамвай через семь минут" (хозяин с "островской" фамилией Бородулин). Самые пунктуальные — те, кому спешить некуда, известно.

© Глеб Шульпяков, 2015

С. приехал на велосипеде. До этого общались по интернету, но через пять минут ощущение, как будто сто лет знакомы. Пристегивает велик у кафе, в подъезде, у магазина. Мой район (улица Eisenbahnstraße) считается “неблагополучным”, “Азербайджанштрассе”. В магазине, действительно, азиатские люди в спортивных костюмах (это мы уже после “бородулинских”). Едем в старый город — С. на велосипеде, я на трамвае. На Аугустус-плац приезжаем одновременно. Вечером Опера светится как волшебный ящик. Гевандхаус, Университет. Памятник Гёте, напротив пивная (где сцена из “Фауста” со студентами), теперь скучный ресторан. Рядом жутковатый памятник тоталитарным режимам, безголовый лунатик. Ратушая площадь пуста, но в дальнем углу улица; там не протолкнуться.

Пробка в Химках, как давно было.

На этой улице жил доктор Цимбалист, лечивший Леверкюна от “французской болезни”.

...Ночью мой “неблагополучный” район совершенно вымерший. Сетка улиц напоминает линии Васильевского острова; заброшенные дома с заложенными окнами; из-под асфальта брусчатка; силуэт кирхи и засыпанные листьями скамейки; обаяние упадка, заброшенность и запущенность; хотя в домах что-то празднуют; из окон смех и крики; суббота.

25.10. Лейпциг, “Остров мертвых”

“Новой архитектурой они хотят вытравить саму память о ГДР” (С. о новом здании университета). Стилизация под кирху, которая здесь стояла, стандартный хай-тек.

“Ты просто не видел наши новоделы”, — говорю ему.

Музей изобразительных искусств тоже в “новой” архитектуре. Это стеклянный куб, втиснутый в старый квартал. Три этажа, широкие деревянные лестницы. Пожилые смотрительницы в мешковато сидящей музейной форме. По-английски не говорят. “Битте, лучше снять куртку и перекинуть через руку” (жестами). “Битте, куртку лучше набросить на плечи” (этажом выше). “Битте — вот сюда, здесь” (заметила, что я ищу табличку). “Битте!”

Мягко, но настойчиво.

Во-первых, “Остров мертвых” Бёклина, эта икона русского символизма. Пятый, кажется, номер (была настолько популярной, что написал несколько). В 90-х моим литературным

кумиром был Андрей Белый. Я собирал всё, что переиздавали. Купил “Весы” в букинисте, разорился (номер за 1909-й, кажется). Там была репродукция этой картины и рисунки Бенуа и Бакста (заставки). Брюсов, Волошин, Балтрушайтис. Новое искусство. Но потом как-то забылось, стерлось. Обаяние запрещенной эпохи. Многие из них потом замечательно вписались в советскую жизнь. Хотя считались *русскими европейцами.*

“Битте, найн!” (*Хотел снять “Остров” на телефон.*)
“Битте, надо спуститься и купить билет для съемки”.
С тоской смотрю на бесконечную лестницу.
“У нас есть лифт, битте!” (*Улыбается.*)
Деревянные панели раздвигаются.
“Данке, найн”.

...Значит, “Остров мертвых”. Во-вторых, Каспар Фридрих и его “Три возраста”. Вертикаль мачт в вечернем небе, они уплывают, мы остаемся. Пейзаж моего отрочества. Подоконник, открытое окно, закат. Тягостный скрежет, подростковая музыка (Роберт Фрипп). “Тоска”, “предчувствие”. Я могу пережить это ощущение, надо только включить музыку. Но слова? Спросить в Бонне Леона (это мой однокашник, переехал 20 лет назад). В немецком языке таких оттенков масса (душевных состояний). А вот интересно, откуда в доме взялся Фридрих. В-третьих, бытовая немецкая и голландская живопись. “Занятие в классе”, “Школа для девочек-сирот”, “Кухарки” шинкуют капусту. Зимний холод комнат с высокими потолками. Крошечный, с пачку сигарет, Брейгель. Вижкерслут, Ян ван — впервые слышу это имя. Автопортрет и тут же в углу картины еще портрет, изрезанный и скрученный в ленту; они обожали аллегории. Порок, добродетель. Художников была целая армия; соперничали, грызлись.

Deutsche Spezialitäten. Удивительно, как эта брутальная кухня сочетается с тончайшими немецкими винами. Это разные *цивилизации.*

В кирхе Святого Фомы (Томас-кирхе) Бах служил кантором. Памятник с вывернутым карманом стоит перед входом, о бедствовании гения говорят все экскурсоводы. Группы через одну русскоговорящие. В кирхе устраивал диспуты Лютер, рассказывает гид. Захоронение в алтарной части. Но что? Просто собрали кости, разметанные после бомбежки. Один из черепов признали Баховским (был похож на портреты); торжественно перезахоронили. Вот и все, на что мы можем рассчитывать.

Или носатый мясник в парике, гравюрка в антикварном (25 евро). “По природе своей он был гармонизатором, и только гармонизатором” (Томас Манн о Бахе). “Гармонически осмысленная полифония”. Великий гуманист о великом лютеранине. Чего-то не хватает в этой фразе. Какое-то умаление. Ничего этого в юности я не знал и не понимал. Но дома была коробка пластинок “Страсти по Матфею”. Это были старые отцовские пластинки. Когда он умер, я стал их слушать. Его музыку. Темно, лежишь с открытыми глазами. В наушниках Бах. В этой музыке сама музыка исчезала. Ничего, чтобы понять этот “немузыкальный” язык, не надо было, просто слушать.

Слушать музыку как тогда, как я хотел бы.

...С. говорит, что восточные немцы ленивы и грубы. Так, во всяком случае, считают западные; не знаю; с кем я сталкивался, тех, особенно старшего поколения, расторопными не назовешь, это правда. Но и грубыми тоже. Не грубее, чем в московском метро.

25.10. Лейпциг. “Типичный немецкий абсурд”

Сначала полицейская машина с мигалкой, дальше собственно шествие. “Refugees welcome!” (плакаты); против “праворадикального насилия”. Три года назад неонацисты убили тут, у вокзала, одного иракца, юного совсем. Сегодня открывали памятный знак. “Помнить — значит действовать” (лозунг). Все это я вычитал в листовке, которые раздавала зевакам в кафе, где я пил кофе и курил, девушка. Шла в основном немецкая белая молодежь; коляски, велосипеды — семьями, тысячи полторы (представляю себе москвичей на митинге за гастарбайтера). При том, что Меркель объявила “конец эпохи мультикультурализма”. “Они (иммигранты) не ассимилируются, не учат язык”. Но, главное, “они не разделяют ‘европейские ценности’”. Ради чего тогда вышли эти молодые люди? Человеческое выше национального и государственного; это и есть “новый гуманизм”, когда идея совпадает с человеком; хотелось бы так думать. Писатель Имре Кёртес сказал в Нобелевской речи, что “после Освенцима не произошло ничего, что его опровергло бы”. Дрезденская галерея, Кёльнский собор, всё европейское Возрождение — обнуление. И вот эта попытка — найти, нащупать; абсурдная, конечно, какое может быть равенство, у людей даже о добре и зле представления разные; какие “ценности” (“Все современные войны — это войны между добром и злом”, — сказал Кёртес). Многие из иммигрантов сочувствуют идее Исламского государства. “Типичный германский абсурд”, — сказал бы С. Но и нет, не аб-

сурд. Есть во всем этом какая-то подлинность. Ярость. То, что не позволяет иронизировать. К тому же это Лейпциг. Мирная революция 1989 года начиналась здесь. В Николай-кирхе, где по понедельникам собирались лютеране-экологи. Со своего "химкинского леса", по сути; нельзя же протестовать "абстрактно"; а система не справлялась уже на уровне природопользования. "Штази" запрещало перестроечные газеты из СССР, эта нелепость агонии. Хотя Венгрия уже открыла границу с Австрией. Всей оппозиции в Лейпциге было несколько тысяч, люди знали друг друга в лицо; но выбирает не человек, а История. 9 октября на площадь выходят 70 тысяч. Полиция в панике. Кого? Лидеров, организаторов – нет; каждый человек – лидер, каждый – организатор. И в ноябре Стена падает. Круглая дата, 25 лет. Конец холодной войны. Некалендарный европейский "фин-де-сьекль". Ведь большую часть этого века они прожили в страхе. Фюрер, Сталин, потом советская бомба. "Век тревоги", – как сказал У. Х. Оден. Для немцев этот век начался в августе 1914-го. Было даже такое понятие "Augusterlebnis" ("Августовское переживание"). Объявление войны, патриотический подъем ("...сотни тысяч людей чувствовали то, что им надлежало бы чувствовать скорее в мирное время: что они составляют единое целое" – Цвейг). И Цвейг, и Томас Манн разделяли его. 75 лет (1914–1989), воевали почти весь век. В Европе, в Германии. Ее поражение, ее унизительные разделы; жизнь в Империи Зла, все это цена за "Augusterlebnis". Пока Империя не рухнула. Россия, Европа, Америка – против СССР. Теперь многие называют это поражением; и новый "Augusterlebnis", только российский; реванш этих людей мне более-менее понятен; он интернациональный; Империя покрывала тенью полмира. Этим летом во Франкфурте меня подвозил таксист-алжирец. "Из Москвы? Я тоже против Европы, я против Америки. Советский Союз хорошо!" При том, что работа, страховка, жилье, детский сад... И ненавидит Германию. "А что делать таким, как я? Кто не против? – спрашиваю. – Посоветуй, брат". – "Э-э-э..." – качает головой.

Томас Манн. Великой державой мы были уже слишком долго. Это состояние стало привычным и нас не осчастливило. Срочно понадобился новый прорыв, на сей раз к мировому господству, которого, конечно, нельзя было достигнуть никакой высокоморальной деятельностью на родной ниве. Стало быть – война, и, если придется, – война против всех; великий час Германии наконец пробил. Эта мысль завладела нашими умами вместе с убеждением, что война нам навязана, что лишь священная необходимость заста-

вила нас взяться за оружие. Что из того, что другие народы считали нас правонарушителями, забияками, несносными врагами жизни, — у нас имелись средства, чтобы бить мир по голове до тех пор, пока он не переменит своего о нас мнения, не восхитится нами, не полюбит нас. Да не подумает кто-нибудь, что я потешаюсь.

25.10. Лейпциг, старые фотографии

Покупал на вокзале телефонную карточку. "Вы можете по-русски" (продавец увидел мой паспорт). Из Украины.

Созвонился, наконец, с Андреем. Вот тоже удивительная история. Он, как и я, правнук о. Сергия, батюшки из Самети — по линии Николая, самого старшего из поповских детей. Живет в Германии с 90-х. Я ничего не знал о нем, пока не случилось то, что объявился другой батюшка, о. Роман; служит в том же храме сейчас; нашел меня по интернету, прочитал мою "Саметь" в "Новом мире"; списались, договорились о встрече. Сам уральский, матушка местная, костромская. Хотят попечительский совет, деньги на реставрацию; прадеда местночтимым святым (был репрессирован, новомученик). "Как нам выйти на Михалкова?"

Наивные люди.

А потом обнаружил в телефоне старые фотографии. Довоенная Грузия, довоенный Киев. Рим, Венеция, Стамбул. Наш Петя, каким он был два года назад. Как я скучаю по нему, каким он был тогда. Каждые полгода он разный. А мы все те же. Как по-разному идет время.

26.10. Дрезденская галерея

В кассах Лейпцигского вокзала не говорят по-английски. Это удивительно, в Западной Германии такое невозможно. "Кайне дойч, битте, инглиш!" Продолжает говорить, только громче. "Не понимаю" — значит, "не слышу". В электричке с испанскими студентами, большая компания; громкая, через кресла, трескотня; за час это может свести с ума; чистый шум; пересесть некуда, вагон полный.

...Дрезден с моста, панорама над рекой — шпили, башни, мост. Можно представить впечатление путешественника, который видел эту панораму над огородами; хотя сам город унылый: серый, пустотный какой-то; продувной. Только черные зубья башен; такие недовыбитые зубы.

В первом зале справа да Мессина и св. Себастьян. Акриловое, "цвета морской волны", небо. Кричащее. Оно почти никогда не воспроизводилось на репродукциях точно. Казнь состоя-

лась, но болтают на галерее; этот вообще дрыхнет; сиеста. Альбом да Мессины был у меня в детстве, небо там было вообще серым.

Кранах и его ветхозаветный цикл, его "Вирсавия". Гольбейн; один Терборх и его девушка, моющая руки (мы подглядываем). Картины, как замочные скважины. На кого смотрят эти люди? Не на нас; на художника. Он вышел, а мы просто заняли его место; ощутить на себе этот взгляд.

Еще "кричащий" цвет, лимонно-желтая кофта "У сводни". Рядом честная девушка ("Письмо" Вермеера). Живут своей жизнью, никакой позы. В своих мыслях и письмах. На стене сначала была карта, но потом Вермеер убрал ее. Пустая стена, экран фантазий. Ведь что в письме, мы не знаем. Еще одна "Вирсавия", Рубенса. Еще одно письмо. У меня была эта марка. Как я школьником мерз у ларька "Союзпечати"! Это 80-е, мы жили тогда в научном городке под Москвой. За мутным от дыхания стеклом женщина в перчатках с отрезанными "пальцами" (слова "митенки" я не знал тогда) – распаковывает картонные коробочки. Я всматриваюсь, она качает головой. "Сегодня 'Искусство' не завезли".

...В галерее много русских групп. Я слышу какие-то семейные подробности, сколько лет было второй жене Рубенса, сколько зарабатывал Рембрандт и т. д. Потрясающие панорамы Дрездена Каналетто (племянник венецианского, ничего не знал о нем). Гордились, какое все хрупкое, воздушное. Хотелось рассказать всему миру. Какое утонченное – для того "грубого" времени. И каким чудом уцелело под бомбами в наше "утонченное". Как это вообще уместить в сознании, *это* – и Холокост, например. Это – и "когда я слышу слово 'культура', моя рука тянется к пистолету" (Геринг? Геббельс?). Если ответа нет, дальше просто бессмысленно.

"Ацис и Галатея" Лоррена, любимая картина Ставрогина, Достоевский называл ее "Золотым веком". "Венера" Джорджоне и дописанный Тицианом пейзажный фон. Обнаженное тело, когда на него никто не смотрит. Она спала на обложке альбома по Дрезденской галерее, книга тоже была у нас в доме. Спала, а я рос. Как важно, когда в детстве есть книги по искусству. А дальше широкие плоские женщины Пальмы Веккио, которые потом у Пикассо вдруг сорвались и побежали, размахивая руками (и малявинские бабы на другом конце света побежали тоже).

26.10. Лейпциг, иностранка

Вечером встретился с Л., меня ей "передал" С. (он вдруг уехал). Она перебралась сюда в 90-х по немецкой линии. Од-

на, родители остались в Казахстане. Моя ровесница. Пожаловался ей, что не знают английский.

Она: “Это типично саксонское — не знаю и не хочу знать”.

Снова разговор о переезде (не могу сказать “эмиграция”).

“В России мы были немцами, а здесь мы вдруг стали русские”.

Сама она из Семипалатинска.

“Но если немцы — они, то кто — мы?”

“Живу иностранкой”.

Спрашиваю о С.

“Он больше немец, он с детства увлекался Германией. Он даже пишет на немецком. Ему проще” (С. из Красноярска).

Л. преподает в университете, филология и славистика. До прожиточного минимума доплачивает государство плюс регистрация “свободным художником” (Freischaffender Künstler), там немного другое налогообложение. А она, действительно, рисует.

“Хотя можно работать в фирмах, — пожимает плечами. — Продавать технику... раньше с Россией много работали... но мы же филологи...”

Она улыбается. Книжечка, сборник “Бутерброд”. Их литературная компания, симпатично издан. С немцами. Сидели в кафе при старой крепости (Гевандхаус был изначально оркестр пошивочных мастерских). Она рассказывала о программе “возвращения” немцев, как это все “работает”. Я представил, как в Россию возвращаются старообрядцы из Аргентины, потомки иммигрантов из Китая, из Австралии, русские из Средней Азии, из Прибалтики... Завтра идем к монументу “Битва народов”.

27.10. Лейпциг. Карлы

Л. живет в тихом пятиэтажном районе в трех остановках от Оперы.

Застройка времен Гитлера.

“А это что?”

В квартирных дверях маленькие оконца.

“Это подглядывать”.

Мы смотрим друг на друга через амбразуру.

“Они тут все немного стукачи и доносчики”.

(“Немного” это 111 километров стеллажей с “бумажными” доносами и 47 километров с микрофильмами в архивах “Штази”.)

Зато как по-домашнему скрипят деревянные лестницы! Как светит в парке осеннее солнце; этот гвалт из детского сада. Ранний московский сентябрь — по звуку, по свету.

“Старшее поколение иммигрантов обожает жить в этих районах”.

“Это напоминает им СССР”.

А может быть, это просто от того, что мы с Л. говорим на одном языке; редкость в наше время.

По дороге она расспрашивает о литературе. Как, что там у нас? Кто? Здесь, в Германии – даже вспоминать об этом не хочется.

Как? Рассказываю об издательстве; что требуют поменять названия романов на коммерческие; что, если бы я вовремя не заметил, мой “Музей имени Данте” вышел бы с голыми задницами на обложке.

“Или давать патриотизм, тогда и тиражи, и премии”.

“Живу иностранцем”.

Смеемся, но как-то невесело выходит.

Лейпциг, “Битва народов” – для меня это всегда Батюшков. Это началось, наверное, с лекции Бабаева – еще в университете. Он читал, словно Николай Константинович сейчас войдет или только что вышел. “Ах, хил Батюшков!” И вот огромная гранитная тумба размером с космический корабль. Лифт в главный мемориальный зал. Валгалла со скорбящими фигурами. Серый зернистый гранит. Винтовая лестница на крышу. Лейпциг плоский город, вокруг лесистая равнина, поля. Только на горизонте холмы, идеальное место сражения. Бескомпромиссное. Небо в розовых облаках-перьях. Разноцветный осенний лес. Безветренный вечер. И: “Заваленное трупами людей, коней, разбитыми ящиками и проч.” Представить это сейчас невозможно, конечно. Это даже не Бородинское поле, где хотя бы рельеф – сохранился. А тут черта города. По полю битвы ходят трамваи.

Кирха, которую искал Батюшков. Где она? Там погиб его друг Петин. Упоминает деревеньку Роте и Госса. Но в каком это районе, на какой улице? Батюшков, уезжая, умолял пастора присматривать за могилой. Я эту просьбу, мне кажется, слышу. И битва, и вообще “12-й год”, они, конечно, перевернули его сознание. Пожар Москвы что-то в нем навсегда уничтожил. Выжег. Пепелище. Он и Боратынский (“разуверенье” – его слово). Но Боратынский сумел рассказать это в стихах. Успел. А Батюшков нет. Вернее, только тем, что спятил. Тем, что вернул билет. Так или иначе, но́ я очень хорошо чувствую этот надлом и перелом. Даже через двести лет, через оглохший язык и нечитаемые образы. Каким-то непостижимым образом это рифмуется со мной. С нашим временем. С его грубым “наползанием”, “подмятием”. Хотя бывает

ли по-другому? “Разочарование”. Когда я думаю о нем. О стране, о людях. О современной литературе. Этот момент неизбежен, когда то, что было близко, исчезло или уничтожено. А то, что осталось, безразлично. Ничего, кроме языка, и не держит почти. С ужасом и восторгом это понимаешь. Какие-то лоскуты, обрывки. Какое странное это новое ощущение. Сперва не знаешь, что с этим делать. Что это? Такая “воздушная яма”. И эта его лошадь без седока, которую он рисовал уже в Вологде. Лошадь и Лейпцигскую кирху, где могила. Финал. Притом что почти всю юность при войне. Пруссия, Швеция, компания 1812 года. “Ахилл Батюшков!” Но История свершалась на его глазах, и переписывали ее тоже при нём. “Из меня сделали римлянина, – говорил ему Раевский между сражениями, – из Милорадовича – великого человека, из Витгенштейна – спасителя отечества, из Кутузова – Фабия. Я не римлянин, но и эти господа не великие птицы. Провидение спасло Отечество”.

“Сколько небылиц напечатали эти карлы!”

27.10. Лейпциг. “Зачем ты приезжаешь сюда?”

Петя попросил привезти из Германии настоящую губную гармошку. Вроде бы само собой. Но где? В витринах нет. Встретил на улице одного из “бородулинских” (Лейпциг маленький город). Вчера на улице, он пристегивал велосипед. Он музыкант. Дал адрес магазина, проинструктировал: “Заходишь и говоришь: “Мунд хармоника, битте’. Продавец задаст вопрос. Не важно какой. На него надо ответить одним словом: ‘С’”.

И вот мы с Л. в магазине. Я произношу мантру.

“Так ты знаешь немецкий!” (Л. смеется).

“Я знаю пароль”.

Петька будет счастлив.

Шли на трамвай. Последний вечер, но нет завершения. В воздухе пауза.

Л.: “Толя!”

Человек с гитарой оборачивается. На остановке (Лейпциг – маленький город). Знакомимся. Поэт, бард и тоже из “Бутерброда”. Записывался у друзей в домашней студии. Сперва настороженно, отмалчивается. Потом, когда разговорились, признался:

“Сейчас из Москвы люди разные приезжают”.

“А мы тут изнежены демократией...”

Тут же, недалеко от вокзала, нашли бар. В гэдээровском стиле (“Мы принимаем дойче-марки!”). И курить можно, что вообще невероятно. За стойкой тетка – каменная улыбка,

крупнокалиберный бюст. Пожилые ковбои, молча глядя в точку, сидят перед кружками, как манекены. Ретро-плакаты; цены копеечные. По типу нашей рюмочной.

Л.: "Даже не знала, что в Лейпциге остались такие заведения".

...Совсем вечером, в сквере. Флаконы "Егермейстера". Тепло, ночь. Разговоры. Почему подобные возвращения (на лавочку в юность) невозможны дома? Хотя и лавочки те, и бульвары. И ты. А что тогда? А воздух другой. И люди другие. Друзья моей юности, где вы? Нет, нет и нет. А здесь это возможно, нейтральная территория. И это странно, и хорошо. Мои новые знакомые, а ощущение старых-престарых. С которыми просто давно не виделся. И так жалко, что завтра ехать.

"Цвай рислинг, битте!"

Потом, уже у себя, в "районном баре", представляю себе: Л. вдруг спрашивает меня.

"Зачем ты приезжаешь сюда?"

А зачем в самом деле. "Здесь мне в голову приходят интересные мысли... Что-то неожиданное пишется, что потом дает толчок... Старые мастера, для меня это часть жизни, хотя я не думал... Потом, у себя — я живу этим, буквально. Это меня держит. И новые знакомые, тоже ведь роскошь. Общение. А как еще? Чем спасаться?"

Мы ведь близнецы, так мне хочется думать. И Л., и С., и Т. По возрасту я мог быть на их месте. Я пробую представить это. Что, если бы... Но нет, на пятнадцать лет назад не вернешься. Выходит, шансами 90-х я не воспользовался. Москва? Да. Из Семипалатинска или Красноярска проще было переехать в Германию.

"А что ты делал в это время?"

Что делал... Стоял в очереди за портвейном. Наша университетская библиотека, конечно. Круглый читальный зал. Летом с рюкзаком по Крыму. В августе 1991-го забрался на Мегаком, даже не знал, что происходит, радио не было. А когда добрался до Москвы, все было кончено. Потом работал в книжной лавке в Калашном, когда шли танки. Что-то начинал писать. И театр, Маяковка. Они (и Крым) и спасли меня. Не знаю, куда бы я тогда вляпался. Потом первые публикации, и начинаешь понимать, кто ты и зачем. Газета. Первая Европа, Прага. "Невыносимая легкость бытия", которую уже никогда не забудешь. Ожившие почтовые марки из моего кляссера. Кошмарные лестницы Кафки, и гуси на Влтаве. Старое еврейское кладбище. Это был язык, который я чувствовал. Он не требовал перевода. А потом была Италия, и мир еще раз перевернулся.

II. З*апад*

28 октября. Лейпциг—Дюссельдорф—Бонн

Если не записывать сразу, через день — это не дневник, а литература. Срок хранения сутки; точнее, ночь. Дальше мы имеем дело с памятью, а она играет по своим правилам. Одна реальность вытесняет другую на твоих глазах. И ты ничего не можешь с этим поделать. Не можешь сопротивляться, остановить. Только зафиксировать.

Все, что я пишу сейчас, я пишу уже в Бонне. То есть вспоминаю. Как утром на вокзале в Лейпциге было солнце, но через сорок минут поезд погрузился в туман. Как из его молока опускались стволы деревьев и опоры ветряков; как вплыл в окно и растворился Брауншвейг; еще города и еще молоко. Но уже за Дортмундом солнце; небо высокое, такого я давно не видел (это следы от самолетов "поднимают" его). Крупные некрасивые города. Между ними пейзажи, какими законченными они выглядят. Это природа, какой ее представляет человек. Функция и красота, красота этой функции. Пространство, в котором они свершаются. Тогда что такое бурелом в моей тверской деревне? Где никакой красоты и функции, только одна незавершенность? Одно хаотичное движение из прошлого в будущее? Это Время.

В Дюссельдорфе холодный и ясный вечер. Пять часов дороги, тротуар под ногами качается. Сообщение от Фриша, он как всегда опаздывает. Предлагает подождать в кафе. Но ждать после поезда невыносимо и я беру такси.

В окне холодный и длинный город; вечер, но еще не темно; в холодных витринах догорает закат. Жесткий холодный город. Хотя я помню парки; какие тут прекрасные парки; как прошлой осенью мы в них бродили, я, Фриш, Лео и Зоя.

Пустая улица. "Химчистка", "Турагентство" и русский книжный. "Литера". Крошечный, размером с коробку из-под холодильника. Звоночек на двери.

Всё такие же смешливые дамы.

"Замерзли? Двести километров до Северного моря". (*Ха-ха-ха.*)

"Хотите чай?" (*Ха-ха-ха.*)

"Его гипертрофированное эго в наш магазин не вмещалось". (*Ха-ха-ха.*)

Это о В., который читал тут недавно.

Комнатка постепенно наполнилась. Тесно, хотя всех — человек десять. Зажгли настольную лампу. Старушка с полубезумным немигающим взглядом, я помню ее по прошлому ра-

зу. Еще пять-шесть пенсионеров. Какой-то студент: зашел, послушал, бесшумно вышел. Из Кёльна приехал Ч. Фриш и с ним черниговская парочка (а у Леона лекция). Всё.

“Подпишите, пожалуйста”.

“Кому?”

Он назвался.

Я: “Андрей — это вы?”

Смешно и странно: мы правнуки одного и того же человека. А кто мы друг другу? С чего начать? Не с чего; посторонние. И времени на знакомство нет, после вечера мне в Бонн. Значит, в следующий раз, весной. Он совсем по виду немец: седые охотничьи усики и бородка, не хватает ружья и тирольской шапки. Что-то от прадеда, нос картошкой. Плотный. Привез ему журнал с “Саметью”, он достал фотографии. Церковь в деревьях, дом еще не разделен и не обшит и тоже в зелени; снимку пятнадцать лет (когда он приезжал туда).

Я: “Сейчас там все голое”.

Рассказал Андрею про отца Романа. Он улыбался, разглядывал меня. Волнуется, но не показывает. Мне это волнение передалось. Читал и посматривал на него.

29 октября. Бонн—Вуппераль

Проснулся от стука в номер. Щелчок, дверь открывается. Уборка.

Вы еще спите? Извинилась, вышла. Посмотрел на часы, 8 утра.

Моя гостиница через дорогу от квартирки Леона. После завтрака идем гулять в Ботанический сад. Это лучшее место в Бонне. Ягоды гинко пахнут старыми шпалами; гигантские лопухи, как в мультиках. Пруды. Тыквы. Тыквы! Значит, я был здесь ровно год назад; на Хэллоуин. Тыкву тогда нацепили на голову памятнику. Жгли в саду костры, а Оранжерея была допоздна открыта. Бродили в зарослях в душной темноте. Старики, играющие в петанг.

У Леона только одна новость, они с Фришем разругались; какие-то картины, интриги. Причем все из лучших побуждений, разумеется. Фриш хотел помочь пристроить картины (Леон с юности рисует мрачные абстракции). “Вы с ума посходили” (говорю ему). Для их крошечного круга это невозможно. К тому же я в нелепом положении.

Фриш в своем стиле. Всем от него что-то нужно; всем он что-то устраивает; обеспечивает; помогает; встречает-провожает-отвозит (Мюнхен—Франкфурт—Дюссельдорф); этот неиссякаемый поток с Украины. Дома жена и трое детей;

младшая родилась прошлым летом, когда мы ехали из аэропорта; Фриш принимал роды по телефону, буквально; жена его умоляла не спешить (Фриш бывший гонщик и много раз "бился"). Хочу расспросить его про письма счастья; это готовая новелла для "Красной планеты". "Сначала то, что предложил Вадик, показалось мне нереальным. Но поскольку мой водочный бизнес..." Водочный бизнес на Украине, страшно представить. Но "письма счастья" — это гениальная авантюра. Разбрасывали по подъездам как бы не нашедшие адресата письма из-за границы. И тот, кто их подбирал, вскрывал и читал, попадал в ловушку. Кто читает чужие письма? Статья в газете так и называлась "Робин Гуды из Чернигова". Охватили Украину, вышли на Россию. Концессия (по типу "детей лейтенанта Шмидта"). Потом, когда пик миновал, иммигрировал. Хотя я думаю, им просто заинтересовались органы. Когда рассказывал, просил не печатать, пока. "Пара семей еще живет с этого..." Сказал ему, что после разрыва с издательством новый роман отодвигается в необозримую даль, так что... Почему-то меня тянет к авантюристам. Я "пропустил" свои 90-е. А Леон уехал, не дожидаясь развязки; прозорливый Леон; "дитя" челябинской промзоны (уехал по еврейской линии). Сколько? 20 лет. И все это время ничего толком не знали друг о друге. Потом он организовал фестиваль и пригласил меня. Поэтический, в Бонне. Леон и фестиваль? Невозможно, в университете он не мог организовать себе завтрак. А тут немцы, поляки. Консул. Это было три года назад, но с тех пор я стал приезжать в Германию регулярно. Из всех стран здесь я меньше всего чувствую себя иностранцем. При том, что никакой ностальгии. Встретились с Леоном, как будто вчера расстались. Без прошлого. А вот то, что сейчас, интересно невероятно. Как, в чем время проявляет себя. ("Этот странный дух времени" — Леон.) Мне этого не хватает, таких разговоров. Спокойно и заинтересованно. Взгляд сверху или сбоку (со стороны) — когда все равно ничего изменить невозможно. Как оркестр, который играл на "Титанике", когда тот плыл и когда тонул. И это счастье, что Леон прежний. Каждый живет с тем, что увозит. На первом курсе мы точно так же "философствовали". О чем, я пытаюсь вспомнить. Как студенты из "Доктора Фаустуса" на сеновале. Нам было по 18 лет. И когда я приехал к нему в Бонн, мне показалось, что мы возобновили прерванный разговор. Мир не просто изменился, а поменялся на новый. А мы прежние. Сознавать это и неожиданно, и хорошо. Значит, мы путешествуем во Времени. "Титаник" плывет, оркестр играет. Мы разговариваем.

В квартире у Леона всегда холод; он настолько привык экономить, что холода не чувствует; бедная Зоя. Еще Леон помешан на экологических продуктах. Он пристрастил меня к соевому молоку (это вкусно). Для испорченного промзоной желудка Леон употребляет в пищу редкие немецкие земли (тут их продают как пищевую добавку). В этом смысле Германия стала его родной почвой. ("А на какой почве он спятил?" — "Да на нашей, на датской, милорд".) В специальных магазинах все это (и даже экологические бананы) продается. По его совету я купил семена какого-то индейского растения, которое не запомнил, а упаковку выбросил; похожи на маковые; Леон сказал, что это хорошо добавлять утром в кашу; а я ем кашу. Зоя младше его на пятнадцать лет, украинская красотка-студентка; а первая жена (с которой он уезжал) и дочка давно живут с баптистами, то есть сами по себе. То, что с ним Зоя, это аргумент; я абсолютно доверяю женскому чутью. Она приехала в сад на велосипеде после занятий; фотографировались на лужайке перед университетом: "Поэт в гостях у Философа" (для блога). Потом обедали в "супном" кафе, сегодня там марокканская похлебка. Овощи и баранина, хотелось бы варить такие дома. Потом она снова на уроки, а мы обратно в Поппельсдорф. Это район, где живет Леон.

Пора ехать в Вуппераль, через два часа вечер. Но Фриша нет и нет. Вечная история. Наконец звонок, оказывается, он едет из Кёльна, "а тут пробки", "садись на поезд, чтобы мне не въезжать в город, подхвачу тебя". Этот Вуппераль по кёльнской дороге, оказывается.

На вокзале час пик, толчея; поезда идут каждую минуту, объявлений не слышно; адский трафик. Хорошо, что меня провожал Леон, сам я бы растерялся. А Леон все быстро и четко сделал. Это меня поразило, в университете он везде опаздывал и все терял. Что делает Германия. Хотя мне все равно кажется, что он живет немного античным философом. Одним днем и одними мыслями. Которыми он готов делиться в обмен на... чашку капучино, например. Так мне хотелось бы думать. Фриша, кстати, это невероятно бесит. То, что труд бывает умственным и без практического применения (без "писем счастья") — не укладывается у него в голове и вызывает желание помочь, а потом, когда помощь оказывается бесполезной, досаду.

Челябинск—Чернигов.

Встретились на станции "Роденкирхе", дальше по автобану; от суеты и нервов такое ощущение, что опоздали на несколь-

ко часов; я даже на часы боюсь смотреть; но нет, всего на сорок минут.

Зал при кирхе большой и высокий. Человек 30; "сообщество", то есть минимальная организация. Хотя в основном пенсионного возраста, и эта правда безутешна, скоро мы будем читать на кладбищах. Читал бакинское (которое Афанасию), я почему-то никогда не читал его раньше; потом короткие и "Саметь"; по-театральному. Ну а кто ты здесь? Персонаж.

После вечера В., организатор, вручил конвертик. Купюры и даже монетки (гонорар). Отправились пропивать это дело в Старый город. В. старше и "глава" литературного сообщества; родом из Донецка; мягкий и обаятельный дядька, с ним легко. Познакомились летом в Бонне на вечере в консульстве; тогда он предложил Вуппертaль. Я не знал, что здесь центр русской бардовской песни. Но "просто стихи" они тоже слушают.

"То есть все эти люди на вечере — барды?"

В кафе Фриш постоянно "цеплялся" к В. с "майданом" (Фриш, само собой, "западенец"). Тот отшучивался, но это было на грани, я чувствовал. Была еще Н., но она хранила нейтралитет. Знакомая Фриша (у него везде знакомые). Ждал от меня поддержки, но я отмахивался.

"Единственный митинг, на который я выхожу с чистым сердцем, это за мир во всем мире". Но вообще страсти тут кипят нешуточные, конечно.

30 октября. Бонн

"Леон, что значит "Поппельсдорф"?"

"Козявка из носа, а 'дорф' — это деревня".

"Козулька!"

(Мама моя по дороге в Красноярск присылала нам с Петей смешные названия станций; Козулька была последней.)

Не знаю, насколько это пространство "боннское", но в других городах я подобного не встречал (хотя нет, вру — Померанцев показывал что-то похожее в Лондоне). Как любое "смешанное" пространство, оно обладает магией. "Магия" возникает, когда теряешь чувство времени. Улица, застроенная городскими домиками, тянется вверх и незаметно переходит в парк, затем в лесок, который нарезан на огородики. Дальше луг и снова лес, над лесом игла кирхи — и шумит невидимый автобан. Совершенно не городские запахи: сырых досок, грядок и компоста. Мокрые шезлонги.

Гулял и вспоминал мамин огородик за городом, нашу “козульку”. Сарай, который мы с отцом сколотили из досок от старого институтского забора. Ларь для картошки. Этот огородик потом спас нас, буквально — когда на балконах кур разводили. А у нас была своя картошка, кабачки и т. д. Сходить на заснеженный балкон и набрать ледяной квашеной капусты, этот ритуал я хорошо помню, даже сок на пальцах. Когда отец умер, мама стала подрабатывать. Я ей помогал. Мыли по очереди полы, я выгуливал чужих собак (как Незнайка на Луне). На мой английский и зарабатывали. Но с тех пор эту огородную жизнь я не очень люблю. Хотя все умею. В деревне у меня земля до леса, но в бурьяне. Маме это не дает покоя (“*своя* земля и пропадает!”). А мне все равно.

...Значит, Козулька. И это при том, что центр города; Зоя гуляет тут перед завтраком. Дальше кладбище; плакальщицы из черного мрамора. Кирха в ельнике. Если бы не трактор, ощущение, что попал в поэму Новалиса. На могилах копошатся женщины в больших резиновых перчатках и фартуках. То же, что и у всех на кладбищах — спокойное, неспешное делание того, что должно.

“Вы готовы?”

Незнакомый женский голос в трубке.

“Я приехала, как договаривались”.

Это Н. со вчерашнего вечера. Обещала повозить, показать окрестности Бонна. А я решил, что просто пьяный треп и все забыто. Но нет, через полчаса едем в замок Дракона.

...Погода влажная и теплая, апрельская. Бонн в дымке. Голубой Рейн лежит между утесами, вагнерианская картина.

Идем на гору пешком, “так романтичнее” (говорит Н.).

Она из Свердловска, профессия — журналист. Переехала десять лет назад.

Живет с сыном.

Замок на утесе, как на картинке. Как в сказке. Хотя меня никогда не трогала эта замковая романтика. Да и Замок не замок, а конец XIX века; романтика романтики. Вид на Рейн потрясающий: голубая лента исчезает в холмах; высокое светло-голубое небо; лес и черные камни. Торжественная музыка, Вагнер просто нашел этому нотные знаки. И так хорошо, что пусто, что будний день; никого.

Поснимал на телефон; вышлю Замок Пете. Сделать в стиле “старой открытки”. Немецкий романтизм и “немецкий романтизм”.

Вечером звоню Леону.

“У меня нет интернета, я буду в кафе”.

Леон: “Найн! В кафе нет интернета!”

“Как это?”

“Они боятся сайтов с педофилией, найн! Лучше приходи к нам!”

Рассказал, как утром в номер пришла уборщица.

Леон: “Немцы здесь встают рано и считают, что все должны вставать рано”.

Предложил для нашего блога новую тему: “Порнография” (“Я бы мог написать отличный порнороман”). Сошлись на названии “Основной инстинкт”. Эротические приключения Леона с германскими нимфетками, кто бы мог подумать. А на картошке он пересказывал фильмы ужасов.

Рассказал ему о Н., с которой ездили в Замок. Рассказал о Л. из Лейпцига. Как это, в сущности, и неожиданно, и точно. Обе приехали по немецкой линии из провинции. В Германии десять лет. Но с Л. мы на одном языке, а у Н. жуткая риторика. “Я против американской гегемонии в мире”, “Почему они нам указывают”, “Правильно наши делают...” Кто “наши”? Началось в Замке, эти разговоры. Хотя ей неловко говорить об этом. Но как сдержать себя. Я тоже не могу. Как попадает этот вирус? Что должно произойти? Травма и унижение, не сомневаюсь. Униженный унизит и т. д. И беспомощность, и бессилие. Виноват кто угодно, только не ты. Откуда? Первый самостоятельный опыт, неудачный — на дворе 90-е. Жизнь складывается не так, как ты представлял. А ты не способен ничего изменить. Но как признаться себе в этом? И тогда заговор, враг. “Философия” человека из подполья. Мы продолжаем жить в этом подполье. К тому же это убийственно для женского обаяния. Все-таки форма каблука и длина юбки важнее.

“А Л. из Лейпцига?” — спрашивает Леон.

“Она Зина Мерц”.

Проницательная, легкая. Щепетильная. Все понимает, обаяние этой печали. Одинока. Набоковский тип русской девушки, живущей в Германии. Русской иностранки. Как все повторяется!

...Вечером Леон и Зоя уехали в Вену, у него защитился ученик, и они празднуют. Последний вечер в Бонне — с Фришем. Завтра в Цюрих, дальше Рим. Нашли французский киоск на главной площади. Вроде пиццы — под молодой коньяк (и чай с молоком). Улица, можно курить. Лучшие декорации (ратуша, ночь). Хотелось только смотреть, выпи-

вать, курить, кусать пиццу. Но нет, тема не отпускала. Рядом выпивал немец. Услышал, что мы говорим по-русски. Мы (они) разговорились, Фриш перевел.

Смотрит в рюмку голубыми остекленевшими глазами:

“Я одобряю российскую политику”.

Фриш переводит.

Чего я сейчас не хочу, это дискуссий.

“Из-за этой политики я больше не смогу приезжать к друзьям в Германию”.

Немец (выслушав перевод, удивленно):

“Почему?”

“Эта политика очень дорого нам обходится”.

Единственный аргумент, который на них действует.

Томас Манн. ...когда я думаю <...> о народном возрождении, заявившем о себе десять лет назад, об этом чуть ли не священном экстазе, к которому, правда, в знак его ложности, примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти растлевать, мучить, унижать <...> — у меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, исторической экзальтации оборачивается ныне беспримерным банкротством. Нет, не скажу, что я этого желал, хотя должен был желать. И знаю, что желал и желаю сейчас, что буду это приветствовать: из ненависти к преступному пренебрежению разумом, к греховному бунту против правды, к разнузданно-пошлому культу дряхлого мифа, к порочной путанице, подменяющей ценное обесцененным, к грубому злоупотреблению, к жалкой спекуляции старинным, заветным, исконно немецким — всем, из чего глупцы и лжецы гнали для нас свое ядовитое зелье. За хмель, которым мы жадно упивались долгие годы обманчивого кутежа и в котором напропалую бесчинствовали, надо платить.

Фриш спрашивает про Леона. Ему эта ссора неприятна. “Он всегда такой был?” (В смысле — 20 лет назад.) — “Да”. В том смысле, что “дитя промзоны” любую помощь принимает как должное. Чтобы отвлечь его, рассказываю историю. Я вспомнил ее в прошлый приезд, когда мы с Лео гуляли по ночному Рейну. Он что-то рассказывал, и его вкрадчивый голос (при том, что самого собеседника в темноте не видно) вытащил из моей памяти то, о чем я забыл. Эта история случилась, когда мы были на картошке, на первом курсе. Мы с Леоном держались тогда вместе, два очкарика. Вели глубокомысленные разговоры, а остальные изображали из себя героев-любовников. Женского-то общества не было. И вот однажды вечером Леон сообщил по секрету, что в соседнюю

деревню приехали девушки с философского факультета. Тоже на картошку. И что мы можем тайком “от этих” сходить к ним. Сказал, что случайно услышал разговор начальства или что-то в этом духе. Я ему поверил, потому что он сам в это верил. Мы даже бутылку портвейна где-то раздобыли. И вот там, на ночной дороге, в бородинских полях, он точно так же что-то рассказывал. Дорога, лес, красная осенняя луна. И его голос. Пересказывал фильмы, наверное.

На эту дорогу я и перенесся в тот момент.

А Леон — нет, не помнил этой истории.

Кстати, до девушек мы так и не дошли. Пустились на огоньки через ночное поле, а там был овраг. Потом ползали, искали на ощупь. Я очки, он ботинок. Там же, на дне, распили портвейн. Вернулись совсем ночью, а утром дали всем понять, что приключение удалось. Хотя никаких девушек, скорее всего, не было, Леон просто нафантазировал. Сам выдумал, сам поверил (и меня убедил).

Но мы хотя бы попробовали.

Лейпциг–Бонн–Москва,
октябрь-декабрь 2014

Лариса Васильева
Авторы "ИЛ" – писатели рисующие

Итоги конкурса

Сердечно благодарим всех, кто решил принять участие в нашем очередном конкурсе. Как мы поняли, "экзамен по изобразительному искусству" заинтересовал читателей. Правда, кому-то пришлось и порядочно потрудиться, прежде чем удалось назвать имена тех, чьи произведения экспонировались в семи залах нашей картинной галереи.

"Почти два месяца я была поглощена поиском ответов на ваше задание. Я узнала много нового, соприкасалась с работами прекрасных авторов, была оторвана от действительности — от войны на Украине, от кризисов в головах и в экономике", — пишет нам В. И. Мурзинцева из Новосибирска.

"Сколько пыли вдохнули, пока искали ответы, — признается И. Ю. Кононенко из города Шахты и помещает рядом смайлик. — Сколько лет, десятилетий прошелестело".

Наше непростое задание осложнялось еще и тем, что многие замечательные полотна не так легко узнаваемы в черно-белом варианте, магия красок в этом случае лишь глухо о себе напоминает. Но читатели "ИЛ" и это преодолели.

Надо сказать, что поэты, писатели, прекрасно владеющие не только пером, но и кистью, давно привлекали к себе наше внимание. Обложки журнала "ИЛ" нередко украшали живописные работы У. Блейка, Г. Гессе, Х. К. Андерсена, других признанных мастеров слова, а в самом журнале печатались материалы, исследующие новые, неожиданные, грани их таланта.

Что подвигло литераторов, сочинителей, взяться за кисть и карандаш, как бы — не за свое дело? "Написанное и нарисованное, по существу, одно, — считал А. М. Ремизов, известный русский прозаик и одновременно талантливый график. — Каждый писатель может сделаться рисовальщиком, а рисовальщик непременно писец... В каждом писателе таится зуд к рисованию".

© Лариса Васильева, 2015

Возможно, так оно и есть. Льюис Кэрролл, к примеру, сам делал иллюстрации для "Алисы в Стране чудес". Курт Воннегут иллюстрировал свои книги "Бойня № 5" и "Завтрак для чемпионов". Редьярд Киплинг вспоминал: " Когда я работал над книгой для детей, мой гений подсказал мне – сам сделай к ней рисунки". Автор "Тропика Рака", Генри Миллер, – еще и автор более 2000 акварелей. Нельзя не упомянуть в этой связи и Федерико Гарсиа Лорку, который прекрасно рисовал, сочинял музыку для спектаклей, создавал костюмы и декорации для этих постановок, и Гюнтера Грасса, он был поэтом и прозаиком, но еще и первоклассным художником-графиком, талантливым скульптором.

Впрочем, не только сочинители неожиданно становились художниками, случалось движение и в обратном направлении.

Пабло Пикассо, великий художник, скульптор, график, керамист и дизайнер, в возрасте 55 лет начал писать стихи, которые до тех пор, по его словам, "дремали в нем". Как в живописи, так и в своих поэтических опытах, Пикассо не только не шел проторенными путями, но решительно отклонялся от них.

Сальвадор Дали, знаменитейший художник XX века, писал и стихи, и прозу, мемуары и манифесты. Вот как он объяснял свое увлечение словесными жанрами: "Настоящие художники, такие, как Веласкес, все, что хотят сказать, говорят кистью. Мы же то, чего не умеем сказать живописью, договариваем прозой и стихами".

"Договаривал прозой" и Бруно Шульц, польский писатель, начинавший как художник. "Граница рисунка у́же границ прозы. Поэтому, мне думается, в прозе я высказался откровеннее", – сообщал он в письме к Станиславу Игнацию Виткевичу, тоже писателю и художнику.

Причины, по которым мастера слова приходят в изобразительное искусство, а художники – в литературу, очень разные и порой – весьма прозаические.

Для поэта Эдварда Лира "топографические пейзажи", которые он делал, путешествуя по Италии, Греции, Албании, Ионическим островам, несколько лет были почти единственным источником дохода.

Немецкий прозаик и поэт Герман Гессе начал писать красками в разгар Первой мировой войны, чтобы как-то выжить в это страшное время, усугубленное еще и личной катастрофой. "Работа с пером и кистью, – признавался он, – для меня хмельное вино, которое обогревает и скрашивает жизнь до такой степени, что ее уже можно выдержать". Серьезные занятия рисованием, живописью помогли Гессе не только преодолеть депрессию, но и оказали огромное влия-

ние на его прозу и стихи. “Как писатель я добился бы в литературе гораздо меньшего, если бы не рисовал”, – считал он.

“В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине”, – рассказывает в своей автобиографической книге “Путник по вселенным” Максимилиан Волошин. Из-за этой лекции перед М. Волошиным закрылись редакции периодических изданий, а книжные магазины объявили бойкот его книгам. Оказавшись в вынужденном коктебельском затворе, поэт и критик Волошин, никогда прежде не посещавший ни одной рисовальной школы, заставил себя учиться живописи с самых азов. Много лет спустя, готовясь к выставке своих картин, он напишет: “И вообще все неприятности и неудачи в области литературы сказывались в моей жизни успехами в области живописи...”

Ну а пока мы продолжали с увлечением изучать произведения “перебежчиков” из одного лагеря творцов в другой, неожиданно выяснилось, что интересуемся этим не только мы.

В 2013 году в Германии сначала в Ингельхайме, затем в Любеке с большим успехом прошла выставка работ писателей рисующих – И. В. Гёте, Ж. Санд, В. Гюго, В. Буша, Й. Рингельнаца. В основном здесь были представлены их живописные полотна и акварели. Экспонировались и картинки Х. К. Андерсена, знаменитого сказочника, но еще и художника, наделенного, по выражению Анри Матисса, “искусством рисовать ножницами”, а также кляксография поэта Юстинуса Кернера и работы нобелевского лауреата по литературе Герты Мюллер – коллажи из вырезанных газетных строчек, отдельных слов и журнальных картинок. Книга-альбом, посвященная этой выставке – с прекрасными иллюстрациями, – вышла в том же году в Ингельхайме (издательство “Хатье Канц”).

А в 2014 году московское издательство “Рослен” выпустило сразу две книги-альбома, обе исследующие тот же феномен, – poeta pingens, писатель рисующий. В первом томе представлены рисунки трех классиков русской словесности: Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского – счастливо сочетавших литературный дар с даром изобразительным, а также рассказы специалистов об этой стороне их таланта. В первом томе мы найдем обложку “Мертвых душ”, сделанную по эскизу Гоголя, им же начертанные три профильных портрета Пушкина, в которых удивительным образом, на грани метаморфозы, проступают и черты самого Гоголя, найдем здесь и его архитектурные зарисовки храмов, дорических колонн, решеток, изгородей, а также проект фасада для родительского дома в Васильевке, исполненный в готическом стиле, с цветными витражами. “Это нынче всеобщий вкус, и в деревне я нахожу, что это будет прелестно”, – комментирует Гоголь свой проект в письме к матери. Заметим, несколько отвлекшись от книги-

альбома, что позднее, в 1851 году, приехав в Васильевку, Гоголь реализовал-таки свой проект и перестроил имение. В разделе, посвященном И. С. Тургеневу, другому классику русской литературы, читатели найдут рисунки, орнаменты на полях рукописей, следы минутных отвлечений писателя от работы, рисунки в письмах к Фету, Герцену, Флоберу, П. Виардо, а также "игры в профили", запечатлевшие знаменитых современников, художников, музыкантов, участников артистических вечеров. А в разделе, посвященном Ф. М. Достоевскому, — карикатуры на преподавателей Главного инженерного училища, где будущий писатель учился, и россыпь портретных зарисовок его литературных героев — своеобразный "графический конвой", сопровождающий текст и творческий процесс.

Во втором томе (составитель Ксения Атарова, известный специалист по английской литературе) — работы британских авторов XVIII, XIX и начала XX столетия. Это живописные и поэтические произведения Уильяма Блейка, графика Льюиса Кэрролла, Томаса Харди, Редьярда Киплинга, Г. К. Честертона, иллюстрации У. М. Теккерея к своим произведениям, а также "топографические пейзажи" и "ботанические нонсенсы" Эдварда Лира, а еще — картины Д. Г. Лоуренса, которые было запрещено выставлять публично... Впрочем, о всей палитре талантов английских писателей, искусно представленных здесь Ксенией Атаровой, так сразу не расскажешь.

Главное, что эти два прекрасно иллюстрированных альбома — только начало большого издательского проекта, по всей видимости, обреченного на успех. Уже готовятся и следующие альбомы, посвященные отечественным и зарубежным писателям-художникам...

Ну а теперь обратимся к ответам читателей на наше задание.

Самым трудным оказался вопрос об авторстве работы под № 4. Да, на портрете — знаменитый венгерский поэт и публицист Эндре Ади. Только это не автопортрет, как посчитали некоторые читатели. У этой работы совершенно особая история. Изначально это была фотография, последняя прижизненная фотография Э. Ади, сделанная венгерским фотографом Эмилем Ишаком в конце 1918 года. Впоследствии другой замечательный венгерский поэт и художник Ласло Надь, к творчеству которого не раз обращалась "ИЛ", превратил фотографию Э. Ишака в живописный портрет. Мы, разумеется, понимаем, что точный ответ на этот вопрос могли дать только специалисты или те, кто всерьез увлечен венгерской литературой. Так что ответ — Эндре Ади — безусловно принимается.

В целом участники конкурса справились с заданием вполне успешно. Некоторые читатели даже вспомнили, что ко-

та — товарища и любимца Э. Лира, которого поэт запечатлел рядом с собой в автошарже, звали Фоссом. И, конечно, многие отметили, что на обложке декабрьского номера журнала за прошлый год, в котором и была размещена наша экспозиция, — картина Данте Габриэля Россетти, в равной степени художника и поэта, главы прерафаэлитского братства.

Разгадали участники конкурса и ироничный коллаж под № 29. "Похоже, в этом есть момент мистификации", — пишет нам о коллаже проницательный читатель В. Т. Маклаков из Екатеринбурга, но замысел наш, он, как и некоторые другие читатели, все же разгадал, вспомнив, что о "ветреном сеятеле" не раз писал в своих литовских стихах Иосиф Бродский. Кое-кто из читателей, включившись в игру-мистификацию, предположил, что вторая фигура, изображенная на коллаже, — поэтесса Саломея Нерис, супруга Б. Бучаса, автора скульптуры "Сеятель".

И нам очень дорого, что почти все угадали автора, чьи работы экспонировались в отдельном зале нашей галереи. Это — Тонино Гуэрра, замечательный киносценарист, поэт, художник, скульптор, давний автор журнала, "самый мирный человек по фамилии Война".

И, наконец, дорогие читатели, правильные ответы:

1. Мервин Пик. Автопортрет.
2. Пабло Пикассо. Автопортрет.
3. Данте Габриэль Россетти. Автопортрет.
4. Эндре Ади. Портрет работы Ласло Надя.
5. Станислав Игнаций Виткевич. Рисунок.
6. Уильям Фолкнер. Рисунок для журнала "Оул Мисс", 1916–1917 гг.
7. Уильям Блейк. "Лос, входящий в недра Альбиона". Гравюра на металле.
8. Федерико Гарсиа Лорка. Рисунок.
9. Артюр Рембо. "Воскресенье в маленьком городке". Рисунок Рембо в школьной тетради.
10. Сальвадор Дали. Нищие музыканты.
11. Льюис Кэрролл. Иллюстрация к "Приключениям Алисы под землей".
12. Марко Аугусто Кироа. Миниатюры.
13. Альфред Теннисон. Автопортреты.
14. Бруно Шульц. Автопортрет с собакой.
15. Вильгельм Клемм. Фронтовой автопортрет.
16. Эрик Хэбборн. Автопортрет.
17. Льюис Кэрролл. Автопортрет. Фото.
18. Поль Верлен. Автопортрет в форме солдата (1870–1871 гг.)

19. Эльза Ласкер-Шюлер. Автопортрет в образе принца Фиванского.

20. Станислав Игнаций Виткевич. Портрет Бруно Шульца.

21. Пабло Пикассо. Портрет Артюра Рембо.

22. Данте Габриэль Россетти. Портрет Уильяма Майкла Россетти.

23. Жан Кокто. Портрет Реймона Радиге.

24. Жан Кокто. Автошарж.

25. Гюнтер Грасс. Автошарж.

26. Милорад Павич. Автошарж.

27. Эдвард Лир. Автошарж.

28. Герман Гессе. Вид на Порлецца. Акварель.

29. morfai. Художник, дизайнер, поэт. Ироничный коллаж на основе скульптуры "Сеятель" Б. Бучаса.

30 и 31. Работы Тонино Гуэрры.

И наши поздравления победителям конкурса:

А. М. Баженов (г. Тула)
И. Д. Егорова (г. Улан-Удэ)
Л. Кевхишвили (г. Тбилиси)
И. Ю. Кононенко (г. Шахты)
И. М. Леонтьева (г. Тверь)
В. Т. Маклаков (г.Екатеринбург)
Н. И. Молчанова (г. Москва)
В. И. Мурзинцева (г. Новосибирск)
Н. И. Сумина (г. Нижний Тагил)
И. П. Яковлева (г. Чебоксары)

Еще раз благодарим всех за участие.
Оставайтесь с нами!

P. S.

Дорогие читатели! А еще мы спрашивали вас, какие публикации журнала за последние два года (2013–2014) вы считаете наиболее удачными? И вот ваши предпочтения:

По разделу "Романы, повести, пьесы":

Адам Торп "Затаив дыхание",

Пенелопа Фицджеральд "У Фредди".

По разделу "Документальная проза, эссе":

Фридрих Кельнер "Одураченные",

Джоби Уоррик "Тройной агент".

Авторы лучших рассказов – Элис Манро и Хулио Кортасар.

Лучшая подборка стихов – у Виславы Шимборской.

Александр Ливергант
Роман без героя

Джон Уильямс *Стоунер* / Пер. с англ. Л. Мотылева. — М.: АСТ: Corpus, 2015

Что ни говори, великая все-таки вещь литература! Герой забытого романа "Стоунер" американца Джона Уильямса (тоже, несмотря на Национальную книжную премию пятидесятилетней давности, порядком подзабытого) поступает на первый курс сельскохозяйственного колледжа в университете штата Миссури, дабы квалифицированно помогать родителям на ферме. Но стоит преподавателю английской литературы Арчеру Слоуну прочесть в аудитории 73-й сонет Шекспира, как потомственный фермер забывает про родителей, родительскую ферму, про сельское хозяйство и посвящает себя изучению и преподаванию мировой литературы. "Перед ним шествовали Тристан и Изольда, в пылающем мраке кружились Паола и Франческа. Он чувствовал, что находится вне времени!" Стоунеру, к слову, всю жизнь предстоит жить вне времени: обе мировые войны, экономический кризис, Гражданская война в Испании, Перл-Харбор, маккартизм находятся на периферии его сознания и, соответственно, сюжета романа.

Забывает и про отчизну. Пока студенческие друзья проливают кровь на полях Фландрии, прилежный, преданный делу Уильям Стоунер получает диплом бакалавра гуманитарных наук и начинает преподавать литературу. "Он представлял себе будущее, — пишет про своего героя извлеченный из мрака забвения культовой француженкой Анной Гавальда ("Стоунер — это я!") Джон Уильямс, — не потоком событий, перемен и возможностей, а огромной университетской библиотекой, территорией, ожидающей его исследовательского внимания".

И как в воду смотрел. Выпавшие на долю Стоунера "события, перемены и возможности" сравнения с потоком никак не выдерживают. Жизнь университетского профессора, дотошно описанная на 400-х страницах книги, заурядна и состоит из "тысяч изматывающих мелочей обыденщины". "Самая простая и обыкновенная и самая ужасная" (вспомним Толстого) жизнь. Ужасная своей неприметностью и предсказуемостью. Вот этапы этого поучительного и мало чем примечательного жизненного пути.

Первый этап академической карьеры: студент Стоунер в поте лица изучает латынь и греческий. На втором — закан-

чивает магистерскую диссертацию "Просодическое исследование 'Кентерберийских рассказов'". На третьем — пишет диссертацию докторскую: "Влияние античной традиции на средневековую лирику". Наконец, на четвертом — читает старшекурсникам обзорный курс среднеанглийской литературы.

Карьера сделана, и Стоунер влюбляется в девушку "из хорошей" — а главное, богатой — семьи. Светящаяся улыбка, изящные черты, глаза "немыслимой бледной голубизны". Эдит Элейн Бостуик музицирует, "проявляет художественную склонность". Влюбившись, Стоунер преисполняется "сознанием своей тупой неуклюжести" и становится еще больше похож на набоковского Пнина. Потом делает предложение, которое, несмотря на зыбкое социальное, тем более материальное положение жениха, скрепя сердце принимается. Потом, спустя всего месяц после свадьбы, как и Иван Ильич Головин, понимает, что брак неудачен. Потом, по прихоти еще любимой, но уже не любящей жены, становится отцом дочери, обделенной, особенно на первых порах, материнской лаской. Потом — опять же по прихоти жены — покупает дом, который, как он и предполагал, становится для него непосильной финансовой обузой. Потом хоронит стариков-родителей. А следом — банкира-свекра, пустившего себе пулю в лоб аккурат в Черный вторник 19 октября 1929 года.

Потом, наивный, прямодушный, слепо преданный делу, он увязает в факультетских интригах, наживает на кафедре коварного — не чета ему, — непримиримого врага. Потом убеждается (а читатель давно догадался), что жизнь не удалась: "Впереди он не видел ничего, что обещало бы радость, а позади почти ничего, памятью о чем он бы дорожил". А убедившись, задается старым как мир риторическим вопросом: "Имеет ли его жизнь сейчас какой-то значимый смысл?"

Оказывается, имеет. Стоунер заводит роман со своей аспиранткой, и внебрачная связь — обычное дело — оказывается счастливей "брачной", она возвращает его к жизни: "Ему мечталось о чем-то идеальном, о мирах, где они могли бы всегда быть вместе, и он наполовину верил в осуществление того, о чем ему мечталось..." И верил, увы, напрасно: заклятый факультетский враг распускает слухи об их связи и добивается того, что аспирантка подает заявление об уходе. Но спустя много лет — как тут не прослезиться! — Кэтрин Дрисколл посвятит Стоунеру свою первую книгу...

Потом Стоунер обнаруживает, что его семнадцатилетняя школьница-дочь беременна от второкурсника — и не по любви, а по недосмотру: новые времена, новые нравы. С щекотливой ситуацией родителей примиряет то, что отец ребенка — сын состоятельного сент-луисского брокера. Но вот начнется Вторая мировая, и сын брокера погибнет, дочь же, родив ребенка, запьет. И опять ничего необычного, из ряда вон: что Америка, что Россия, что Китай.

Предсказуемо и дальнейшее. Его, уже шестидесятипятилетнего профессора, выпроваживают на пенсию, после чего Стоунер довольно скоро (стресс?) заболевает раком. “Имеется затемнение, но это может не означать ничего серьезного”, — успокаивает его врач. Но нет, означает, и Стоунер перед смертью “бесстрастно, объективно вгляделся в свою жизнь, и она показалась ему неудачной во всем”.

Мы тоже — и еще более бесстрастно и объективно — вгляделись в его жизнь и едва ли согласимся с авторитетным мнением букеровского лауреата, маститого британского прозаика и философа Джулиана Барнса, объявившего “Стоунера” “бестселлером самой чистой пробы”. Ведь бестселлер потому и бестселлер, что читателя не изматывают “тысячи мелочей обыденщины”, да к тому же тривиальной, навязшей на зубах. Если “Стоунер” задуман бестселлером (а ведь законы увлекательного чтения всегда одни и те же — и пятьдесят, и сто пятьдесят лет назад), то роману, по-моему, очень не хватает динамики, неожиданных поворотов сюжета (в романе Уильямса они все “ожиданные”). Если же “Стоунер” задуман как “роман воспитания”, то где, спрашивается, “потерял” автор своего героя? Где в книге, в которой жизнь героя прослеживается от рождения до гробовой доски, сам Стоунер? Читатель, теперь и русскоязычный, почерпнет немало подробностей о жизни и судьбе Билли Стоунера — сам же Стоунер словно бы остается за кадром, он человек-невидимка. Что скажет о герое читатель, закрыв книгу? Что в молодости он был “высоким, худым, смуглым юношей”? Что, влюбившись, сознает свою “тупую неуклюжесть”? Что к старости ощутил безразличие, “онемение”? Что всю жизнь, как и большинство из нас, старался плыть по течению? Для романа воспитания маловато. Для бестселлера — тем более. А вот для телесериала, убаюкивающего, монотонного, — самый раз.

Отрицательная издательская аннотация — абсурд, оксюморон. Странно было бы, если бы авторы аннотации не выпячивали достоинств предлагаемой книги. И все же в том, что переизданный спустя полвека “Стоунер”, появившийся теперь благодаря “Corpus’y” в русском переводе (Леонид Мотылев), вызвал “колоссальный резонанс во многих странах”, что в XXI веке он “обрел новую жизнь”, хочется, как говаривал мой университетский приятель, “немножко посомневаться”. Если же это и в самом деле так — то искренне, от души удивиться.

Авторы номера

Патрик Модиано
Patrick Modiano
[р. 1945]. Французский писатель, сценарист, лауреат премии Роже-Нимье и Фенеона [1968], Большой премии Французской академии [1975], премий *Prix des libraires* [1975], Гонкуровской [1978] и Нобелевской по литературе [2014].

Автор около 30 романов, в их числе *Площадь Звезды* [*La Place de l'Étoile*, 1968], *Бульварное кольцо* [*Les Boulevards deceinture*, 1972], *Вилла Грусть* [*Villa Triste*, 1975], *Улица темных лавок* [*Rue des Boutiques obscures*, 1978], *Дора Брюдер* [*Dora Bruder*, 1997] и др., среди сценариев выделяется сценарий фильма Луи Маля *Лакомб Люсьен* [1974].
Перевод романа выполнен по изданию *Ночная трава* [*L'Herbe des nuits*. Gallimard, 2012].

Шинейд Моррисси
Sinéad Morrissey
Английский поэт, лауреат премий имени Патрика Каванаха [1990], имени Т. С. Элиота [2013], национальный поэт-лауреат Северной Ирландии.

Автор поэтических сборников *Пожар в Ванкувере* [*There Was Fire in Vancouver*, 1996], *Между "здесь" и "там"* [*Between Here and There*, 2002], *Страна тюрем* [*The State of the Prisons*, 2005], *Сквозь квадратное окно* [*Through the Square Window*, 2009] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Параллакс* [*Parallax*. Manchester: Carcanet Press Limited, 2013].

Лидия Александровна Хесед
Переводчик с английского, кандидат филологических наук, сотрудник отдела искусств Британского Совета в России.

Автор статей и рецензий, публиковавшихся в журналах *Октябрь* и *Вопросы литературы*. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны статья С. Дагдейл *Уильям Блейк в России. Опыт одного семинара* [2010, № 12], а также эссе Д. Этхилл, Н. Мейлера и М. Рихлера [2013, № 9].

Йозеф Рот
Joseph Roth
[1894–1939]. Австрийский писатель.

Автор романов *Отель Савой* [*Hotel Savoy*, 1924; рус. перев. 1925], *Бунт* [*Die Rebellion*, 1924; в рус. перев. *Мятеж*, 1925], *Циппер и его отец* [*Zipper und sein Vater*, 1927; в рус. перев. *Циппер и сын*, 1929], *Марш Радецкого* [*Radetzkymarsch*, 1932; рус. перев. 1939] и др. В *ИЛ* были опубликованы его романы *Иов* [1995, № 8] и *Склеп капуцинов* [2002, № 6], повесть *Легенда о святом пропойце* [1996, № 1], рассказ *Бюст императора* [1998, № 3] и *Берлинские очерки* [2013, № 1].
Перевод романа публикуется по изданию *Исповедь убийцы* [*Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht*. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2005].

Ян Якуб Твардовский
Jan Jakub Twardowski
[1915–2006]. Польский поэт, священник. Лауреат многих премий, в том числе имени Брата Альберта [1978], Пен-клуба имени Роберта Грейвза [1980], фонда Альфреда Южиковского [Нью-Йорк, 1985], польского Министерства культуры и искусства [1997], католических издателей *Феникс* [1999], *Икар-2000*, *Totus* [2001], обладатель медали имени Януша Корчака [1980], Командорского креста ордена Возрождения Польши [2006, посмертно], а также звания Кавалера Ордена улыбки [1996], присуждаемого международным детским жюри.

Автор стихотворных сборников, в том числе *Возвращение Андерсена* [*Powrót Andersena*, 1937], *Знаки доверия* [*Znaki ufności*, 1970], книг для детей *Тетрадь в клетку* [*Zeszyt w kratkę*] и *Палки и палочки* [*Patyki i patyczki*], а также книги *Пробуждать надежду: Букварь девяностолетнего* [*Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka*, 2005]. На русском языке его стихи были включены в антологии *Польская поэзия: XX век* [1993] и *Польские поэты XX века* [2000], а также вышли сборники *Размышления о пожеланиях Иисуса* [2005], *Стихи* [2006], *Спешите любить людей* [2009, двуязычное издание], *Просьба* [2010, двуязычное издание], *Исполнено всё Тобою* [2010], *Всем детям Божиим* [2013].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Доверился я дороге. Все стихотворения 1932–2006* [*Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-IR, 2007].

Игорь Владимирович Баранов
[р. 1961]. Поэт, переводчик, редактор. Как член редколлегии пятитомной *Католической энциклопедии* удостоен польской награды *За вклад в укрепление толерантности* [2014].

Автор стихотворного сборника *Верность* [2000], книги *Папа, скажи, почему...* [2015], а также многих статей, в том числе энциклопедических. Редактор более 100 книг. Переводчик и редактор первых русских изданий стихов Я. Твардовского и Р. Брандштеттера. Переводил также сонеты А. Мицкевича, стихи Ю. Тувима, Б. Лесьмяна и др. польских поэтов. В *ИЛ* в его переводе опубликованы рассказы Р. Брандштеттера [1991, № 4].

Чарльз Мур
Charles Moore
[р. 1956]. Журналист, редактор. Работал в *Дейли телеграф*, *Спектатор*, *Санди телеграф*. Председатель совета директоров аналитического центра *Policy Exchange*.

Перевод отрывков из биографии Маргарет Тэтчер выполнен по изданию *Margaret Thatcher: The Authorized Biography, Volume One* [Allen Lane, UK, 2013].

Олдос Хаксли
Aldous Huxley
[1894–1968]. Английский писатель. Литературную деятельность

Автор романов *Желтый Кром* [*Crome Yellow*, 1921; рус. перев. 1936], *Шутовской хоровод* [*Antic Hay*, 1923; рус. перев. 1936], *Контрапункт* [*Point Counter Point*, 1928; рус. перев. 1936], *Слепой в Газе* [*Eyeless in Gaza*, 1936], *Остров* [*Island*, 1962], сбор-

начинал как поэт, эссеист, был литературным и театральным критиком.

ников рассказов и эссе. В *ИЛ* напечатаны его романы *О дивный новый мир* [1998, № 4] и *Через много лет* [1993, № 4], повесть *Гений и богиня* [1991, № 5], эссе [2004, № 1].
Перевод текста выполнен по изданию *Музыка в ночи* [*Music at Night*. London: Chatto & Windus, 1931].

Ксения Николаевна Атарова
Литературовед, переводчик, филолог-англист.

Автор мемуарной прозы *Вчерашний день* и *Путеводителя по роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"* [в соавторстве с Г. А. Лесскисом]. В ее переводе опубликованы *Дневник Чумного Года* Д. Дефо, рассказы и эссе Г. К. Честертона, Дж. Б. Пристли, С Моэма, Г. Грина, О. Хаксли, В. Вулф, М. Брэдбери, стихи О. Уайльда, Р. Киплинга, Э. Лира, Э. Дженнингс, Ф. Макдоны, а также мемуары Г. Крэга *Указатель к летописи моих дней*. В *ИЛ* в ее переводе опубликована проповедь Л. Стерна *Описание Дома Плача и Дома Веселья* [2013, № 8].

Александр Мелихов
[р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Глеб Юрьевич Шульпяков
[р. 1971]. Поэт, переводчик, эссеист.

Автор поэтических сборников *Щелчок* [2001] и *Желудь* [2007], книги эссе и литературных очерков *Персона Grappa* [2002], романа *Книга Синана* [2005], книги путевых очерков *Дядюшкин сон и другие эссе* [2005]. Составитель и переводчик книг У. Х. Одена *Чтение и Письмо* [1998] и *Уистен Оден. Застольные беседы с Аланом Ансеном* [2003]. В его переводе публиковались стихи современных британских поэтов К. Смита, С. Хилл, Д. Константайна и др. В *ИЛ* в его переводе печатались стихи Р. Хасса [1999, № 6], Т. Хьюза [2000, № 6], Д. О. Кофер [2007, № 9], а также его статья *Живот архитектора* [2004, № 3].

Переводчики

Тимофей Петухов
Переводчик с французского, аспирант Литературного института имени А. М. Горького.

В его переводе опубликовано эссе А. Монье *Привратница* в сборнике *Французы, нарисованные ими самими. Парижанки* [2014]. Автор рубрики *ИЛ По материалам зарубежной прессы*.

Денис Дмитриевич Безносов
[р. 1988]. Поэт, критик, переводчик с английского и испанского языков, заведующий отделом культурных программ и проектной деятельности Российской государственной детской библиотеки.

Его стихи публиковались в альманахах *Опустошитель*, *Эстетоскоп*, в журналах *Транслит*, *Другое полушарие*, *Homo Legens*, *Воздух* и др. В его переводе с английского публиковались стихи Д. Гаскойна, М. Форда, П. Во и др. С испанского — стихи Ф. Аррабаля, В. Пиньеры, Т. М. Герреро и др. Стихи и рецензии публиковались в литературном приложении *Независимой газеты "ExLibris"*, в журналах *Новый мир*, *Волга* и *Литературная учеба*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Валерий Самуилович Черешня
[р. 1948]. Поэт, прозаик, переводчик с английского.

Его стихи и проза публиковались в *Новом мире*, *Октябре* и др. журналах. Переводил стихи Р. Фроста, Л. Глюк, Ш. Хини, Э. Паунда. В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи Л. Глюк [2004, № 4].

Евгения Витальевна Зимина
Переводчик с английского и.польского языков, преподаватель Костромского государственного университета.

Автор работ по английской литературе и методике преподавания английского языка. В ее переводе опубликованы стихи Ю. Тувима. В *ИЛ* публикуется впервые.

Алексей Николаевич Круглов
[р. 1959]. Поэт, переводчик, кандидат физ.-мат. наук. Член Союза писателей России. Лауреат премии *Зеркало* за лучший перевод фантастики [2007], премии князей Голицыных за перевод английской поэзии [2014], конкурсов Британского Совета по переводу британской поэзии [2005—2015].

Его стихи публиковались в издательствах *Снежный ком* и *Северо-Запад*, переводы — в антологиях англоязычной поэзии, переводил также романы У. Голдинга, П. Г. Вудхауза, Д. Керуака и др. В *ИЛ* в его переводе были опубликованы стихи У. Блейка [2011, № 3] и эссе Ч. Диккенса *Старые лампы вместо новых* [2013, № 5].

Екатерина Александровна Савельева
Переводчик с немецкого, английского, сербского и

Переводила стихи А. Теннисона, Д. Максимович, прозу М. Павича, М. Капора и др. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы стихи Д. Г. Россетти и У. Морриса [2013, № 5].

хорватского языков. Победитель конкурса Пушкинского Дома в номинации *Немецкая поэзия*.

Анна Игоревна Земляная
Переводчик с английского и испанского языков.

В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи в романе Ж. Э. Агуалузы *Продавец прошлого* [2013, № 2].

Мирабелла Сергеевна Озерова
Кинодраматург, студентка магистратуры дизайна и медиакоммуникаций НИУ-ВШЭ.

Ее стихи публиковались в *Литературной газете* и в сборнике *Я не мыслю себя без России*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Идрис Фокс
[р. 1967]. Поэт, врач. Живет в Калгари [Канада].

Его стихи публиковались в электронном издании *Lutteratura*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Анастасия Игоревна Строкина
Поэт, филолог, переводчик с английского, датского, французского и итальянского языков. Лауреат программы Центра поэзии Шеймаса Хини [Белфаст].

Ее переводы публиковались в журналах *Континент*, *Вопросы литературы*, *Нева*, *Октябрь* и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи З. Сассуна [2014, № 8], П. Тафдруп и К. Фредриксен [2014, № 11].

Александра Александровна Авдеева
Студентка САФУ, Институт филологии и межкультурной коммуникации.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Вера Менис
Музыкант, переводчик с немецкого.

В *ИЛ* в ее переводе опубликован фрагмент из книги *В ГУЛАГе* [2015, № 4].

Евгений Борисович Рашковский
[р. 1940]. Историк, философ, поэт. Переводчик с древнееврейского, английского, польского, французского, болгарского языков. Доктор историчёских наук.

Автор поэтических сборников *Странное знанье* [1998], *На сбивчивом языке: 101 зарисовка в пути* [2005], *По белу свету* [2007], *Полярная звезда* [2010] и книг *Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX—XX века* [1990] и *Смыслы в истории. Исследования по истории веры, познания, культуры* [2008]. Из польских поэтов переводил Л. Стаффа, В. Броневского, Я. Лехоня, К. Войтылу. В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Живова
Прозаик, журналист, переводчик с английского.

Ее проза публиковалась в литературных альманахах *Вавилон* и *Черновик*, переводы в издательстве Центрполиграф. В *ИЛ* публикуется впервые.

[10] 2015

РОМАН МЮРИЭЛ СПАРК “УТЕШИТЕЛИ” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД “НЕМЕЦКАЯ ЭССЕИСТИКА XXI ВЕКА” / “ПЁТРУСЬ” ЛЕО ЛИПСКОГО / “ТОТ САМЫЙ ВУДХАУЗ?” В РУБРИКЕ “НИЧЕГО СМЕШНОГО” / ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА: “ЭКСКУРСИЯ В АФРИКУ” СЕРГЕЯ ГАНДЛЕВСКОГО

В оформлении обложки использован фрагмент картины итальянского художника Серджио Чекотти [р. 1935].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. “Третьяковская”, “Новокузнецкая”);
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске “Москва” (ул. Арбат, д. 20);
в киоске “Лингвистика” (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске “Книжные мастерские” (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине “Книжные мастерские” (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине “Мы” (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине “В переплете” (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.8.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 9975.
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

denkmal, Москва

Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия

www.denkmal-moscow.com

14 - 16 октября 2015 г.

ВДНХ, павильон №75. Москва, Проспект Мира, 119

Основные разделы выставки:

- реставрация, консервация памятников истории и культуры;
- государственная и общественная деятельность по сохранению культурного наследия;
- материалы, оборудование, технологии и инструменты для реставрации, археологии, строительства;
- реставрация предметов искусства и дизайна;
- образование в сфере сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;
- популяризация исторического и культурного наследия (издательская деятельность, музейная и выставочная техника и технология, пр.);
- развитие туризма.

Выставка «denkmal, Москва» проводится под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы.

Партнеры выставки:
ВООПИиК, Союз московских архитекторов, компания Remmers

Организаторы выставки «denkmal, Москва»:
Leipziger Messe International GmbH,
АНО «Национальная Гильдия Хранителей Наследия»

Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству.
Контакты: denkmalmoscow@gmail.com, +7 966 157 61 11
Дополнительная информация: http://www.denkmal-moscow.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

denkmal, Москва

Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия

www.denkmal-moscow.com

14 - 16 октября 2015 г.

ВДНХ, павильон №75. Москва, Проспект Мира, 119

Основные разделы выставки:

- реставрация, консервация памятников истории и культуры;
- государственная и общественная деятельность по сохранению культурного наследия;
- материалы, оборудование, технологии и инструменты для реставрации, археологии, строительства;
- реставрация предметов искусства и дизайна;
- образование в сфере сохранения, реставрации и использования объектов культурного наследия;
- популяризация исторического и культурного наследия (издательская деятельность, музейная и выставочная техника и технология, пр.);
- развитие туризма.

Выставка «denkmal, Москва» проводится под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы.

Партнеры выставки:
ВООПИиК, Союз московских архитекторов, компания Remmers

Организаторы выставки «denkmal, Москва»:
Leipziger Messe International GmbH,
АНО «Национальная Гильдия Хранителей Наследия»

Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству.
Контакты: denkmalmoscow@gmail.com, +7 966 157 61 11
Дополнительная информация: http://www.denkmal-moscow.ru

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература” :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2015, №9, 1–288

15009
9 770130 654770